

1988 № 6 (18)
ИЮНЬ

РОДІННИК

ISSN 0235—1412

ПРОЗА,

ПОЕЗИЯ,

ПУБЛИЦИСТИКА,

КРИТИКА



РОДНИК

«АВОТС» («РОДНИК») ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ЛАТЫШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. ИЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ ЛАТВИИ И СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1987 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ, Г. РИГА.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЙВАРС КЛЯВИС
(главный редактор),
ЭДГАРС БАНС,
ВИЛНИС БИРИНЬШ,
(ответственный секретарь).
ИЛМАРС БЛУМБЕРГС,
ПАВЕЛ ВИШНЕВСКИЙ,
ГУНТАРС ГОДИНЬШ
(редактор отдела),
ИМАНТС ЗЕМЗАРИС,
РОСТИСЛАВ ЗУБКОВ,
ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ
(заместитель главного редактора),
СТАНИСЛАВА МАРСОНЕ,
МИЕРВАЛДИС МОЗЕРС,
МАРИС ОГА,
ЯНИС ПЕТЕРС,
ЯНИС РОКПЕЛНИС,
БАЙБА СТАШАНЕ,
АДОЛЬФ ШАПИРО.

РЕДАКТОРЫ:

РУДИТЕ КАЛПИНЯ,
АНДРЕЙ ЛЕВКИН,
ОЛЕГ МИХАЛЕВИЧ,
НОРМУНДС НАУМАНИС,
ЭВА РУБЕНЕ,
ТАТЬЯНА ФАСТ.
ПЕРЕВОДЧИК
ДАЛИЯ ТРУСКИНОВСКАЯ

КОРРЕКТОР

ОЛЕГ КРУГЛИКОВ.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

САРМИТЕ МАЛИНЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

ИНАРА ЮРЬЯНЕ.

Рукописи принимаются отпечатанными на машинке в двух экземплярах, не рецензируются и не возвращаются.

ЛИТЕРАТУРА

Гунтис Берелис. «Deus ex machina»,
«Спецхран» (1)
Борис Куняев. Стихи (7)
Янис Порукс. Стихи (9)
Албертс Бэлс. «Зеленый обманутый парус»
««Я сам» на просторе» (12)
Сергей Кольцов. Стихи (16)
Николай Клюев. Стихи (18)
Янис Балтвилкс. Стихи (21)
Осип Мандельштам. «Четвертая проза» (23)
Аркадий Бартов. «Игры с природой» (28)
Сергей Стратановский. Стихи (31)

КУЛЬТУРА

Иварс Викс. «Знаки на камнях» (32)
Хелена Демакова. «Все еще крупнейший
в мире смотр искусства» (34)
Михаил Брашинский. «Небо «Кодака»» (39)
Сергей Добротворский. «Под звуки
шестиструнной лиры...» (42)
Ингрида Земзаре. «Слово и музыка
в свете стиля и жанра» (46)
Артем Троицкий. «Rock in the USSR» (48)

ПУБЛИЦИСТИКА

Галина Беликова, Александр Шохин.
«Теневая экономика в промышленности
и в быту» (52)
Дайнис Лемешонокс. «Проклятие»
Янис Балтаусс. «6 или 9?» (55)
Вайра Страутниеце.
«Земля неизвестная» (61)
Манфредс Шнепс.
«Мятежный род Баллодов» (65)

ЛИТЕРАТУРА

Эдвард Эстлин Каммингс. Стихи (72)
Джордж Оруэлл. «Скотный Двор» (74)

ГУНТИС БЕРЕЛИС

DEUS EX MACHINA

РАССКАЗ

Твое тело аккуратно покидает постель, мысли на миг задерживаются около оставляемого тобой места возле жены: не звянула ли пружина слишком громко, не слишком ли пуста, возникшая рядом с ней, для нее пуста или вот уголок одеяла, брошенного на голову, не слишком ли возле лица? — вечер-то еще ранний, за окном шумят машины: может еще царпнуть ее, уколоть что-то недоделанное сегодня, поднять рывком из постели — спешить куда-то, что-то менять, доводить до конца. Но в комнате царят покой и расслабленность, ее дыхания почти и не услышать; просто знаешь, что она дышит — тихо-тихо: ты осторожно и старательно поправляешь одеяло, чтобы никакой сквозняк не дотронулся до разомлевшей плоти, перебираешься через нее и наблюдаешь за дрожанием ее ресниц, опасаясь пробудить ее своим взглядом, но все в порядке, в комнате царят покой и безмятежность, когда ты на цыпочках выходишь из комнаты, спрятанный в панцире напрягшихся мышц, споткнувшись, поэтому, об порог. В ванной комнате, под умывальником, под половой тряпкой ты, волнуясь, нащупываешь твердый, угловатый пакет — душа оживает; часов пять тому назад ты — еще до того, как снять шляпу, скинуть пальто, разуться, поцеловать жену в щеку — проскользнул в ванную и долго мусолил в руках кусок ароматного мыла — чтобы, выйдя на кухню и поцеловав жену в щеку, можно было, недовольно смахивая с рук остатки влаги, пробурчать: «Ну народец... так все загадить... прямо тошнит... ну вляпался...» По дороге домой, в автобусе твой ум педантично перебирал и оценивал слова, пришедшие в голову незадолго до обеда: отобрал их, окультурил, расставил по местам и, похоже, удачно — потому что жена даже и не пыталась поинтересоваться плотнее: ни где вля-

пался, ни чем замарался: вляпался и вляпался, полная ясность. Достав из-под влажной половой тряпки отсыревший сверток, ты несешь его на кухню, включаешь по дороге свет; расправляешь на окне шторы, отделяя себя от случайных, но весьма зорких взглядов прохожих; затем ты отыскиваешь в стенном шкафчике пирамидальную бутылочку чернил (у той — своя история: загадочным, не вспомнить уже каким именно образом она объявилась там пару лет назад, сиротливо прижилась, ненужная, возле праздничного сервиза, сделавшись со временем как бы частью шкафчика, живым наростом, потому что жена, разумеется, не могла заметить, как уровень чернил в той постепенно, миллиметр за миллиметром, понижается, а, иногда, вдруг внезапно повысится сантиметра на два-три: это ты принес в кармане кубическую бутылочку и перелил ее содержимое в бутылочку пирамидальную; дело кропотливое и нервное, но необходимое, потому что пирамидальных бутылочек давно не производят, а просто заменить ее кубической опасно: жене присуща чисто женская способность учуять малейшее изменение в квартире — будь это хоть немотивированное превращение пирамидального нароста на шкафчике в кубический — в ней это породит такие же смятение и ужас, как если бы у чашки выросла бы вторая ручка, а ты же не хочешь, чтобы на тебя пала пусть даже тень подозрения). Из-за пачек манки и перловки ты достаешь брусок пластилина; прихватываешь с края плиты коробок спичек и минут десять занимаешься налепливанием на кончики спичек небольших пластилиновых бульбочек; стелешь затем в несколько слоев газеты на полу, а потом — душевного спокойствия для — заглядываешь в комнату и вслушиваешься: все ли как было? Да, дыханья жены по-прежнему не расслышать, недо-

деланные дела не тревожат, все в полном порядке — и тебе разрешены эти несколько часов полнейшего счастья. Теперь ты можешь вскрыть пакет — сдернуть веревку, скокмак шершавую оберточную бумагу; можешь, скрестив ноги, сесть возле расстеленных газет и вывалить из купленных после обеда коробок на пол несчетное количество пластмассовых солдатиков: стоящих, вставших на одно колено и лежащих, вытянувших далеко вперед винтовочные стволы — солдатика, увы, не двух разных цветов, но это уж от тебя не зависит — с обстоятельствами приходится мириться. Пустые коробки ты давишь на колене, сминаешь, перекручиваешь веревкой — утром выкинешь в мусорник на автобусной остановке заодно с прочим хламом. После этого начало наслаждения оттягивается еще на четверть часа, поскольку солдатиков надо разделить точно поровну, на две совершенно идентичных кучки, так чтобы в каждой оказалось по равному числу стоящих, вставших на колено и лежащих, ибо борьба должна быть честной, око за око — что окажется возможным лишь если ты действуешь со сноровкой завязатого учетчика. Далее следует расставить воинство: боевые порядки армий различны, но, так как бой предусмотрен состояться в чистом поле на газетных листах, нюансы несущественны; ты совершенно нейтрален, и потому расстановка равно выгодна обеим сторонам — никаких засад и предательских нападений со спины, хотя как хочется иногда прийти на выручку любимцам. Борьба должна быть честной — честности прежде всего. Ты удовлетворенно озираешь свои труды; дыхание твое, между тем, участилось, в глазах темнеет, душа поет и ликует — Клаузевиц бы тебя похвалил, если бы ты только слышал это имя; Клаузевиц — кошмарно здорово звучит, и хорошо бы вести его некоторым дополнительным фактором, имея в виду рассчитывать на возможное поощрение с его стороны, но увы, Клаузевиц тебе неведом, скрыт глухим шумом минувшего века. Остается вот что: ты выбираешь двух самых могучих солдат — не беда, что они все одинаковые — налепляешь им на головы пластилиновые, высокие треуголки и нарекаешь одного Александром, а другого — Наполеоном (эти имена, ты помнишь, как-то связаны с давними кровопролитными сражениями — но сколь давними? сколь кровопролитными? надо бы выяснять как-нибудь). Чтобы случайное попадание не нарушило бы хода боевых действий, полководцев ты устраиваешь в стороне от их армий — все должно произойти логично и честно, лицом к лицу: полководцам положены плен и кара, а никак не смерть от шальной пули. После этого ты подбрасываешь пятак, орла отдавая Александру, решку — Наполеону: пусть решает сама судьба. Фортуна улыбается Наполеону: ты заряжаешь пушечку (к каждому комплекту солдатиков прилагается пружинно-стреляющее устройство), вдыхаешь — воздух задерживается в груди, распирая ребра — первый залп всегда самый волнующий, и шепотом командуешь: «Пли!». Воздух силпо вырывается из груди, и ты видишь, что войску противника нанесен ущерб в количестве двух рядовых — всего-то двух, потому что Александр мудро, как собственено и положено мудрому полководцу, расположил свои ряды. Ты аккуратно извлекаешь из рядов обоих лавших, одному из них ножом откирживаешь голову, другого разрозниешь на три части и возвращаешь их бранные останки на место взрыва; с помощью взятой из аптечного ящичка пипетки окропляешь каждого каплей красных чернил; чернила впитываются в бумагу и расплозаются кляксами, которые и в самом деле напоминают пятна крови — так думаешь ты, хотя ни разу не видел их в натуре. Теперь черед Александра — ты обходишь поле боя, заходишь с его стороны, почему-то говоришь: «Бруклин-Бородино», тщательно целишься и командуешь: «Пли!». Артиллеристам Александра везет — взрыв сметает с лица земли четырех солдат противника и среди них — одного лежащего, а это колоссальная удача, потому что каждый лежащий стоит по крайней мере пяти стоячих — ты их, поэтому, называешь «пулеметчиками» и, как правило, на уничтожение пулеметчика требуется выстрелов пять, — а теперь вот один испустил дух сразу после первого. Ты вздыхаешь: «Прямое попадание» и измельчаешь пулеметчика на щепочки, а остальным либо аннулируешь головы, либо рубишь пополам, щедро окропляя все это кровью. Дыхание твое стало тяжелым, глаза — глубокими и жгучими, губы побелели, сжавшись, в нижней части живота какое-то щекоущее возбуждение — тебе жаль, что нет рядом жены, ведь в ход военных действий всегда хорошо вписывается и насилие — а кого же сподручней насиловать, как не жену, и кто бы это, кроме тебя, мог сделать другой — уж не пластмассовые же солдатика? Ты бы это прямо тут, на полу, среди луж крови, пропитанный ароматом крови... Но ты усмиряешь долго копившееся возбуждение — войной во все времена занимались мужчины и не следует травлять сюда женщин — воевать, так воевать на высоком интеллектуальном уровне, без баб-с. Громяхают залпы, над полем брани стелются клубы табачного дыма, одна за другой катятся оторванные взрывом головы; хлещет кровь — некоторых ты милостиво оставляешь в живых, отрезая у них по руке или ноге, и транспортируешь увечных в госпитали, расположенные сбоку от армий, но тут вот пушка чуть скользнула

в дрожащих руках и выстрел уничтожает госпиталь Александра — и это не так плохо, не будут мучить угрызения совести, приканичая после боя раненых. Потом куда-то запропал нож, а времени разыскивать его нет, великие дела не терпят, поэтому с подбитыми ты начинаешь расправляться способом простым и вкусным, откусывая им головы, слепывая которые в пепельницу. Сатурн, поедаящий своих детей, вспоминаешь где-то слышанную фразу, но у тебя нет времени размышлять о Сатурне (м. б. так назвать в другой раз одного из полководцев?): спина взмокла, и ты вдруг опасаясь, что можешь простудиться, но ладно, не иди же в комнату искать рубашку или пижамную куртку, потому что сердце пляшет, душа ликует: лужи крови растут, расплозаются, сливаются одна с другой; чернила пятнают и живых — герои в крови своей и чужой; бредут в крови по колену в крови, и потому ты срочно отыскиваешь иглу и всаживаешь в свой палец и выдавливаешь капельку и своей крови, чтобы полнее ощутить острый привкус реальности — щекочет ноздри запах крови, огненный ад, жажда насилия: нет, может, в самом деле разбудить жену? Нет, нельзя — от удивления она, непривычная к подобному обхождению, будет сопротивляться, ты не сможешь ее осилить и останешься по-дурачки немощным в своих же глазах. Крупные потери пока несет Наполеон, но в конечном результате нельзя быть уверенным, потому что начинается самая ответственная фаза боя — обстрел одиночных солдат, когда лежащий стоит пятерых стоячих и когда твердая рука артиллериста и крупная удача могут неожиданно изменить весь ход сражения. Снова щелкают на зубах солдатика, и видно уже, что Наполеон в самом деле разгромлен — тебе жаль его и, чтобы проверить окончательно приговора фортуны, ты даешь ему возможность сделать несколько выстрелов вне очереди, но война есть война, войну кто-то должен проиграть, чтобы мог победить другой. Вот, гибнет последний солдат Наполеоновой гвардии, победители торжествуют, но твои руки-ноги уже устали, мысли несвязны и непослушны, сердце бьется медленней, душа прекращает ликовать, но дело надо довести до конца, иначе утром не будет настоящего удовлетворения, и на работу ты отправишься нервный и злой: надо закончить, хоть и устал, что поделать — на войне как на войне. Наполеон захватывается в плен, сковывается цепями — обматывается черной ниткой; ты отыскиваешь разделочную доску и зловещего вида кухонный топорик, оркестр грохочет барабанами, Наполеон помешается на эшафот — смерть тирану! и одним ударом топорика летит, отсеченная, в угол его голова; торжествует Александр, но не долго ему торжествовать, потому что близится и его час: ты, бывший ранее простым артиллеристом, послушным исполнителем воли Александра и Наполеона, ты, наконец, можешь позволить себе снять маску и явить свой божественный лик — лишь в твоей власти довести дело до законного конца. Ты поднимаешь зажатого в двух пальцах победителя, щелчком сбиваешь с него его треуголку, с усмешкой глядишь в его глаза, шипишь: «Ну что, допрыгался, а?» и зачитываешь приговор верховнейшего из судов: «За развязывание военных действий, за провоцирование насилия на земном шаре, за посылку солдат на верную погибель, за подлое убийство Наполеона — главнокомандующий Александр приговаривается к высшей мере наказания — смерти через откусывание головы!» В ужасе Александр сгибается, падает на колени и, воздев руки к небесам, молит о пощаде, но твой приговор обжалованию не подлежит — не существует инстанций над тобой. Ты запикиваешь Александра в рот головой и мгновение выжидаешь, дабы мог возникнуть глас народа — а народу мало задуманного гобой, поэтому ты сначала откусываешь Александру ноги и лишь затем — голову, которую выставляешь на всеобщее обозрение, прилепив к концу спички — в урок и назидание всем поджигателям войн, а тело его швыряешь в гору трупов — на поедание шакалам и воронам. Сон уже смежает твои очи, мысли вращаются все медленнее и ленивее, ты все же, спешно, не соблюдая уже никаких ритуалов, приводишь в исполнение смертные казни над остатками армии Александра — скучная, но необходимая процедура: пусть земля останется чиста, ты — единственный живой на ней: пейзаж после битвы. Ты приводишь в порядок поле битвы: собираешь в кулечек останки солдат и снаряды, сворачиваешь газеты — все это утром надо выкинуть в мусорник на автобусной остановке. Закручиваешь и ставишь на место бутылочку чернил. Вешаешь разделочные доску и топорик над газовой плитой. Моешь руки. Идешь в туалет, потом неприятно напоминает о себе укол иглой в палец — ты возвращаешься на кухню и прижигаешь красную точку перекисью водорода. Тушишь свет. Устраиваешься в постели рядом с женой, которая дышит все так же неслышно, обнимаешь ее и мгновенно засыпаешь: в эту ночь бессонница тебя мучить не будет, но вот до следующего раза, когда удастся, наконец, незаметно скопить пару-другую рублей на покупку солдатиков еще очень много долгих бессонных ночей.

СПЕЦХРАН

РАССКАЗ

О неприятном писать неприятно, тем более — если сам ты оказался зачинщиком события такого рода; даже если на самом деле это и не так — все равно, потому что ощущение вины сохраняется и не желает исчезнуть; утешаться можно лишь тем, что окажись на твоём месте кто-то другой, жертвой мог бы стать ты сам, причём для остальных бы это ничего не изменило, суть произошедшего осталась бы прежней. Сейчас-то мы более-менее уже успокоились, в наших разговорах, которые изредка все же возникают, произошедшее старательно обходится, и имя нашего исчезнувшего коллеги — которое я забыл, а, вернее, и не знал никогда — не упоминается; с тех пор мы его не видели, да и о судьбе его не знаем ничего: конечно, меня это радует, потому что никто не знает о той роли, которую я сыграл в его судьбе (а, может быть, и угадывает что-то, как знать); так или иначе, подобное положение дел меня устраивает, хотя я и понимаю, что напряжение лишь ослабло — не исчезло, и все продолжится тайным, скрытым образом, — хотя, конечно, каким уж таким скрытым, ведь каждый из нас знает то, что знают все, и, поэтому, о тайне, как раньше, не может уже идти речи: царящее между нами молчание суть умолчание, и это плохо, потому что молчание не вытекает более из существа предмета, но навязано ходом событий; да, в известной степени оно было навязанным и ранее, но именно — в известной степени, теперь же нам не остаётся ничего другого, как гадать: а кто из нас что именно знает? выбирая для успокоения наиприветливый вариант — все знают одно и то же, никто не знает ничего, ничего никому не известно. Если кто-либо из знакомых спросит меня о причинах произошедшего — что, впрочем, маловероятно, поскольку, во-первых, никто (не считая коллег) ни о чем не догадывается, а коллеги заниматься выяснениями не рискнут, и, во-вторых, просто потому, что у меня нет знакомых, — я мог бы изложить ему свою версию, доступно трактуя произошедшее, хотя, разумеется, никакой внезапный перелом не объясним в принципе, да, собственно говоря, — не было перелома, но долговременный процесс, сложный и мучительный, не связанный с чередованием рабочих дней — в ходе его протекания была невозможна каждодневная фиксация медленных, ступенчатых изменений; и то, что я решил писать все же о переломе, желая избежать опасности погрязнуть в рефлексии над самим процессом, и является, быть может, его конечным результатом, суммой всех изменений, проявленным действием: а тупик ли это, выход — не мне судить. Сейчас уже практически невозможно отыскать в прошлом новые факты и согласовать их с вероятностной кривой процесса — это ничего, что правильной было бы поступать наоборот: по фактам строить кривую; в конце концов, не столь важно реконструировать его поведение во времени, сколь обосновать саму его возможность, поскольку из моих наблюдений следует, что схожие процессы происходят или, по крайней мере, могут происходить с каждым из моих коллег, ведь если внешне все старательно маскируется, то крайне обостряется внутренняя несоотнесенность. Крайне важным было бы устранить саму возможность подобных изменений, либо найти им полезное применение, но на благоприятный исход надеяться, увы, трудно. Началась эта история, думаю, лет десять — двенадцать назад, когда иссякавший в силу объективных причин читательский поток иссяк окончательно, и когда были предприняты шаги по резкому увеличению числа штатных единиц Спецхрана. Здесь следует пояснить причины этого явления, а также специфику нашей работы в целом. Назначение Спецхрана библиотеки состоит вовсе не в распространении или рекламировании находящегося в нем фонда, но обратно — в охране содержащейся в фонде литературы от читателя; при этом, понятна, имеют место и отдельные исключения — по особым разрешениям, в которых указываются необходимая читателю книга, а также страницы — с какой по какой он имеет право читать. (У нас есть право потребовать разъяснений и даже прерывать процесс получения информации в случае, если обнаружится, что посетитель украдкой листает книгу или делает попытку углубиться в недозволенное ему место текста.) Само собой разумеется, разрешения подобного рода выдаются весьма редко, так что выпадают

дни, когда посетителей нет вообще; таким образом, большую часть рабочего времени мы занимаемся работой с фондами, регистрируя новые поступления и следя за порядком в имеющихся — потому что наша первоочередная задача состоит в сохранении литературы в полной неприкосновенности (возможно, это одна из причин создания Спецхрана: литературе присуща странная особенность — та же, что и картинам или художественно исполненным предметам бытового назначения — с течением времени те обретают дополнительную ценность, некий неуловимый ореол, подобно патине на серебре; здесь имеется в виду не только и не столько банальная библиографическая ценность изданий, но и некоторое их монументализирование: время преобразует текст в легенду, выделяя из него вневременную мудрость, не осознанную самим автором, и, потому, с тем, чтобы когда-нибудь в будущем резко поднять общий литературный уровень, книги, точь-в-точь как вино и хранятся на наших полках); когда же почти незаметный, но все же существовавший поток посетителей иссяк, наконец, полностью, — последним, кажется, пришел какой-то кинокритик (а, может, и не кинокритик), лет шесть назад, или восемь, или одиннадцать — кто теперь вспомнит, начальство неожиданно обнаружило наличие вопиющей беспечности в организации нашего труда, — которая ранее хотя и отмечалась, но была относима к второстепенностям — при полном забвении того, что в нашей работе второстепенных мелочей просто не может быть, тем более — связанных с беспечностью. Следя за соблюдением правил пользования Спецхраном посетителями, мы совершенно упустили из виду следить за соблюдением правил самими сотрудниками, поскольку и сотрудникам Спецхрана категорически запрещено читать или без конкретной цели снимать какую-либо из книг с полки; не существует никаких оснований доверять работникам библиотеки более, нежели посетителям, потому что всякий, вынужденный к тому случайным стечением обстоятельств, может полуосознанно осуществить нарушение, которого могло бы не произойти, если бы заблаговременно были ликвидированы возможные его предпосылки. Полу-члив строгое дисциплинарное взыскание, директор приступил к разработке теоретических основ плана дальнейшего функционирования Спецхрана; в основу была положена работа с человеческим фактором, то есть — присмотр, который вовсе не означал постоянное — наступая на пятки — слежение одного за другим или тайное подглядывание из-за угла — подобные формы работы вызвали бы развитие нездоровых эмоций и внутренних конфликтов, — но постоянное содержание коллег в поле зрения, не сопровождаемое при этом наличием каких-либо подозрений или выказыванием недоверия (следует добавить, что и к посетителям мы не имели права относиться как к потенциальным нарушителям). Уже в самом начале оказалось, что все это не просто: в нашем небольшом, распределенном между полок коллективе было практически невозможно постоянно удерживать в поле зрения каждого из коллег: в любой момент кто-либо, не вызвал никаких подозрений, мог выпасть из поля зрения коллег и молниеносно записать себе записку какой-нибудь томик, и, возможно, такие случаи и имели место; я вовсе не желаю бросать тень на свой коллектив и отмечаю поэтому — возможно, поступки подобного рода места не имели, но вероятность нарушения правил сохранялась чрезвычайно высокой, к ее уменьшению и приступил директор. Серия впервые началась с удвоения штата — мне не известны аргументы, использованные директором на переговорах с вышестоящими инстанциями, но они оказались убедительными. К сожалению, удвоение проблемы не решило — мы остались по-прежнему несистематизированно рассредоточенными по помещениям Спецхрана, лишь эпизодически сталкиваясь друг с другом; обнаружилось, однако, что удвоение числа работников — лишь первый шаг в стратегическом плане директора. Он последовательно и активно убеждал вышестоящие инстанции в необходимости непрерывного роста нашей численности, и вскоре мы достигли уровня, при котором каждый из нас постоянно держал в поле зрения одного или двух коллег. Вместе с этим, однако, повысилась вероятность того, что в столь многочисленном

коллективе рано или поздно отыщутся двое-трое, которые объединятся, войдут в преступный сговор и сообща осуществят нарушение — двоим, к тому же, его совершить проще: один берет книгу, другой стоит на страже или отвлекает внимание. Постепенно нам открывался замысел директора — увеличивать число библиотекарей до такого количества, когда в поле зрения каждого сотрудника будут постоянно находиться не менее восьми коллег (число «восемь» выбрано не случайно, но основываясь на психологических исследованиях: в микрогруппе, объединяемой стремлением к общей цели, могут состоять максимум семь человек; чем больше участников — тем неизбежнее разногласия и, соответственно, падает вероятность осуществления проступка). Всем сотрудникам, к тому же, следовало находиться в постоянном движении, подобно тому, как функционирует общественный транспорт, — каждому следовало перемещаться по своему замкнутому маршруту, держа при этом в порядке свою часть Спецхрана; движение при этом должно осуществляться по строгому графику — и так, чтобы в любой момент в любой точке маршрута в поле зрения каждого попадало бы не менее восьми коллег и, обратно, каждый бы постоянно находился под присмотром не менее чем восьми пар глаз — вот почему в идеале требовался график, удовлетворяющий требованиям уровня «восемь» (в междусобойных разговорах мы пришли к обозначению нашей конечной цели как «уровня «восемь»», таким образом фиксируя и промежуточные стадии развития Спецхрана: например, «уровень «шесть»» — когда в поле зрения каждого шесть коллег и т. д.). За пару лет план реализовать, разумеется, было невозможно в силу различных объективных и субъективных причин: не все вышестоящие инстанции сразу вникли в его суть и, поэтому, не только не способствовали его выполнению, но и, подчас, поступали противоположным образом; кроме того, подключение к нашей работе большого числа неопытных библиотекарей могло вызвать большое число осложнений, поэтому, как правило, более двух-трех сразу к нам не принимали, предоставляя новичкам для акклиматизации известное время, в течение которого опытные коллеги ознакамливали их со спецификой Спецхрана и ненавязчиво добивались осознания ими позитивных, не замечаемых сразу особенностей новой работы: раз и навсегда установленного ритма, постепенно создававшего в сотруднике чувство уверенности в своем положении; комфортности знания того, что будет завтра, послезавтра, через год; отсутствия непредсказуемостей — кто бы мог предположить, что таковые все же возникнут. Новых сотрудников принимали на работу крайне осмотрительно, при этом приходилось доказывать необходимость каждой новой штатной единицы, так что достижение уровня «восемь» оставалось делом далекого будущего, а в настоящий момент мы готовились перейти к уровню «пять». Легко понять, что выработка подобных графиков для большого количества сотрудников, число которых, к тому же, постоянно меняется (в силу отпусков, болезней и постоянного роста) одному человеку, к тому же без математического образования, не под силу, поэтому каждый раз перед очередным изменением директор сносился с вычислительным центром. Честно говоря, эти бесконечные перегруживания меня и, скорее всего, не меня одного, раздражали: нет ощущения четкости жизни, когда возможно со спокойной душой отдаться рабочему процессу, не получается раз и навсегда войти в резонанс с единообразным, железным ритмом работы — так как знаешь, что этот, уже привычный ритм может быть изменен в любой момент; никогда больше, поэтому, не ощутил нам то восхитительное чувство причастности к безупречно функционирующему, отрегулированному механизму — ощущение, родственное наркотическому, память о котором бережно храним мы, ветераны, но которое не суждено в полной мере ощутить нашим новичкам. К счастью, годы кажущегося однообразия и осознание цели взрастили в нас особое упорство, которое и позволяет нам выносить эту затянувшуюся, хотя и старательно организованную неразбериху. Но упорство, даже такое упорное, как наше, все же поколебимо, о чем свидетельствуют имевшие место во мне хаотические процессы, что — поскольку от других я не отличаюсь ничем — позволяет утверждать, что и с коллегами не все обстояло благополучно. Началось все, вероятно, с неожиданного всплеска коллективного самосознания в момент первого увеличения числа штатных единиц, когда период нашего замкнутого существования вдруг оказался изжитым, и мы неожиданно ощутились как бы на бесконечной беговой дорожке, а все предшествовавшее оказалось заключенным в пару резюмирующих фраз, сделавших крохотным, малозначительным — а что более расстраивает и обижает, как не то, что в результате плохого подбора слов ты становишься несущественным в своих же глазах: увы, выхода нет, потому что постоянные изменения ритма навязывают постоянное подведение итогов сделанного или не сделанного — даже если тебе это и не по душе. На протяжении долгих лет полки с книгами казались мне чем-то вроде штабелей кирпича, где всякий кирпич идентичен другому — отличаясь лишь совершенно уж микроскопическими нюансами; необходимую читателям литературу я отыскивал по шифрам,

не обращая внимания ни на фамилии авторов, ни на названия, из которых, увиденных ненароком, в памяти не сохранилось ничего — любопытство в те времена меня не искушало (конечно, и теперь я вполне свободен от этого недостатка). Однако вместе с началом бесконечных странствий между полок я, вовсе того не желая, стал как-то отмечать в памяти громады фолантов, однообразие собраний сочинений, ряды корешков энциклопедий, в памяти отпечатывались яркие обложки. Постепенно в расположении книг начал видеться какой-то особенный смысл, зафиксированный неким забытым языком, схожим с праязком орнаментов, и смысл этот словно требовал попыток расшифровки языка, что было бы, разумеется, совершенной глупостью и полной ерундой (но не могу утверждать, что кто-либо из коллег не поддался этой страсти). Я же, таким образом, лишился своей независимости от книг и между нами возникла как бы маскируемая безразличием связь: нет, не любопытство, не детское желание «раскрыть тайну», но сосущее, неясное беспокойство, обостряемое, к тому же, неуверенностью в завтрашнем дне. Это беспокойство можно было бы и перетерпеть, как малоопасную, хотя и затянувшуюся хворь — длись та месяц, год, ну, в крайнем случае, два — но теперь это переложилось уже все разумные пределы, да и конца не видать. Я продолжаю работать и выполнять свои обязанности уже почти лишь по инерции, не руководимый внутренней потребностью; нервность же постепенно развилась из легкого раздражения в тщательно скрываемую злость, подчас ненависть — обращенную против чего-то неопределенного, не обладающего обликом, безымянного, что, в свою очередь, рождает внутреннее напряжение, которое находит выход в желании поступить каким-то не свойственным мне, недостойным образом; укрощение же подобных порывов еще более усиливает напряженность. Возможно, что корректные, привычные отношения с коллегами, наша образцовая взаимосоотнесенность и помогли бы сохранить мое душевное спокойствие, но, к сожалению, нелепое происшествие (его и происшествием назвать трудно, столь незначительным показалось оно в первый момент) явилось каплей, переполнившей чашу, уничтожило остатки гармонии, одновременно раскрыв мне глаза: ранее я был занят лишь собой, забыв, что и мои коллеги суть нечто большее, нежели функционирующие сотрудники. Речь пойдет о нашем директоре, человеке, как все остальные, хотя — я все же не прав: существуют привычки, выделяющие его среди нас, например — со сведущим выражением на лице заметить в разговоре с малознакомым человеком: «Энциклопедии — моя слабость», причем, как правило, вне всякой связи с предметом разговора. Можно подумать — и большинство случайных знакомых, в основном — клиентов, на это ловятся и, если знакомство продолжения не имеет, то и остаются в убеждении, что директор является владельцем серьезной коллекции словарей и энциклопедий; я же однажды узнал, что коллекция эта чрезвычайно мала, да, собственно, ее как таковой и нет: принадлежавшее ему назвать коллекцией трудно — если представленные мне сведения верны — она образовалась в результате нескольких крупномасштабных, но случайных покупок и не обладает какой-либо непреходящей ценностью, будучи доступной, в принципе, всякому; а фраза «Энциклопедии — моя слабость» служит директору в качестве, похоже, своего рода убежища, на тот случай, если он вдруг почему-либо смутится, либо в случае, когда ситуация требует завязать разговор с малознакомым человеком, а слова не приходят. Но теперь о неприятном происшествии. Однажды, когда увеличение штатов уже разворачивалось вовсю, я, не помню, по какой именно надобности — вероятно, по самой незначительной, раз уж не могу вспомнить, вошел в директорский кабинет, но директора не застал. Логично предположив, что тот задержался либо в фонде, либо в туалете — куда же может отлучиться директор в рабочее время? (интересно, кстати, что я так и не узнал, куда именно и зачем он выходил), решил его подождать. Я остановился возле директорского стола, столешницу которого занимали расположенные в строгом геометрическом порядке папки с различными материалами, стопки чистых бланков, картотечные ящики, карандаши и фломастеры в пластмассовых стаканчиках и тому подобное. В левом углу столешницы — глядя со стороны директорского кресла — лежала стопка чистой бумаги; в правом — чуть меньшая, исписанная; в центре — несколько нарушающий строгую геометрию расположения остальных предметов, лежащий как-то криво лист с коротким, недоконченным абзацем, составленным из маленьких, округлых букв. Мой взгляд зацепился за эти строки и я, без особенного интереса, почти автоматически повернул лист к себе — помню, в первый момент меня поразило количество листов, исписанных от руки, и я не мог понять, почему директор не работает как обычно: на машинке — сломалась, та, что ли? Но это непонимание свелось к всплеску предположений, не оформившихся ни в какой вывод, потому что пальцы уже, непонятно почему, тянулись потрогать этот лист (главная причина, как это я понимаю теперь, заключалась в неправильном — по отношению к остальному педантичному порядку — расположении листа на столешнице: вот какие нюансы могут иной раз повлечь за собой

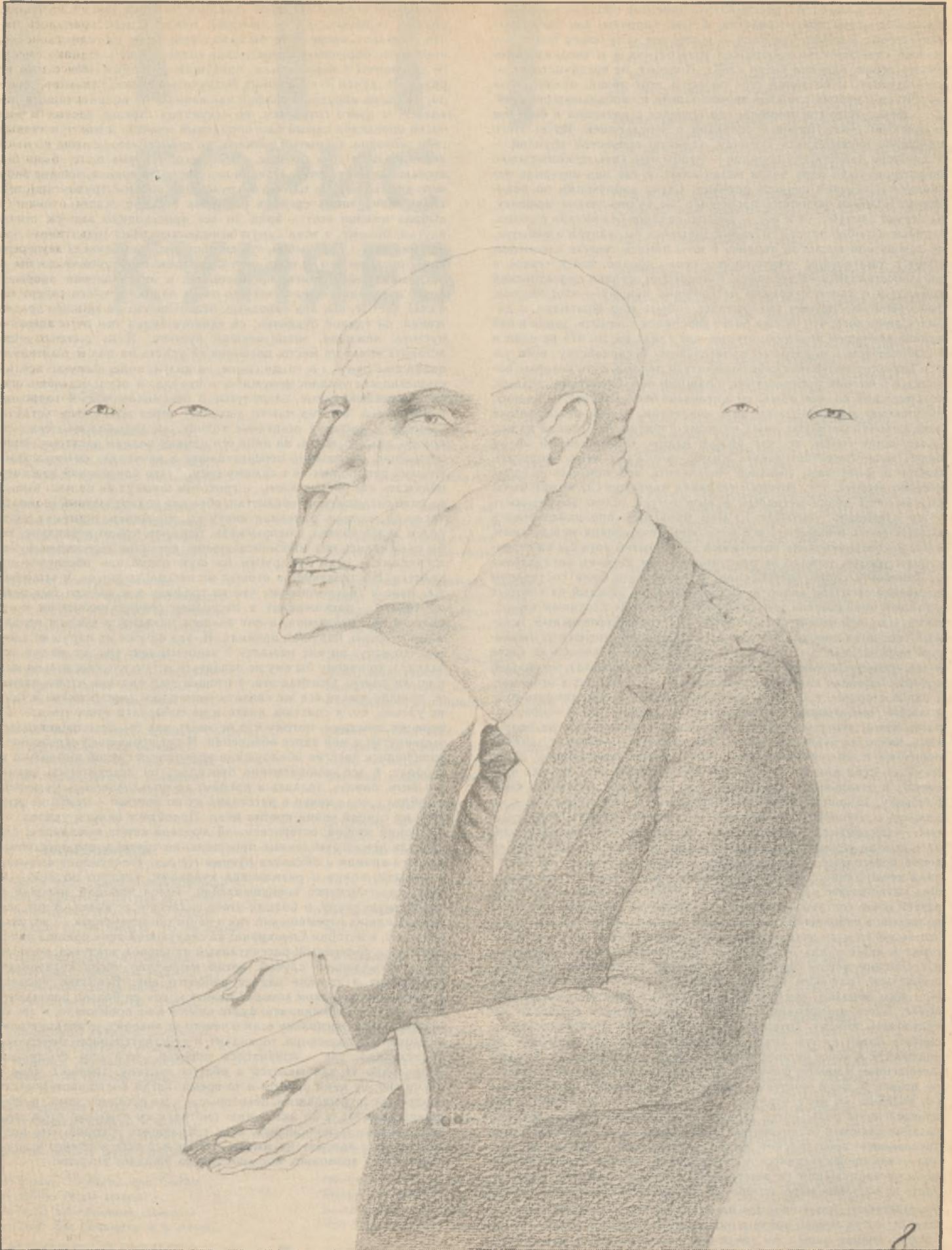


Рисунок ВИЛНИСА ЗАБЕРСА

трагедию); я, вероятно, рассудил, что директор продолжает разрабатывать планы переустройства, о чем, впрочем, как бы свидетельствовал и объем рукописи — в верхнем углу листа был с помощью транспортира изображен треугольник и в него, красным фломастером, вписано число «286». Поэтому, не предчувствуя ничего дурного, я позволил себе прочесть этот абзац, предполагая очутиться в дебрях сложной терминологии и глобальных понятий: «... дверь, Марта вспомнила, что кошелек с деньгами и билетом остался на кухне, рядом с солонкой и пепельницей. Из-за этого пришлось перетряхнуть сумочку, забитую всяческой ерундой — давно пора навести там порядок — чтобы отыскать легкомысленно брошенный туда пару часов назад ключ, и так она потеряла несколько мгновений ценного времени. Стуча каблучками по линолеуму, молодая женщина поспешила на кухню, взяла кошелек, на всякий случай...» И все — несколько строк без начала и конца, которые в любой другой ситуации забылись бы, канули в небытие, но теперь они кислотой вьелись в мою память, вместе с номером «286» в тщательном треугольнике: столь прочно, что и теперь я могу восстановить их дословно. Я поспешно оставил директорский кабинет и о своем открытии не сообщил никому — что, видимо, было ошибкой, потому что, пытаясь забыть этот фрагмент, я добился лишь того, что он еще более укрепился в памяти, заняв в ней крайне активную позицию, открыв мне глаза на то, что не один я в рабочее время подвержен мучительному беспокойству: если уж сам директор позволяет себе заниматься делами, суть которых находится в полном противоречии с нашими обязанностями, делами, которые сами по себе рождают в человеке беспокойство, — значит, напряжение охватило весь наш коллектив, и что соблюдаемый пока рабочий ритм уже лишь иллюзия порядка, что всякий из нас более занят собой, нежели общим делом. Неоконченный абзац начал свою самостоятельную жизнь, вынуждая меня напрягать мысли и фантазию, пытаюсь определить его контекст — единственно верный, тот, который создавал директор (а, может быть, он сам след абзац негодным и вычеркнул? такую возможность тоже следовало учитывать). Мне пришлось проанализировать каждое слово и выяснить все возможные отношения между ними, дабы реконструировать возможный ход событий хотя бы на структурном уровне, нисколько не рассчитывая при этом на определение особенностей словоупотребления. В результате были составлены несколько десятков аналогичных фрагментов, каждый из которых в той или иной степени допускал свое соединение с сотнями других, не обещая, что может быть найден единственный возможный, искомый способ их сцепки. Это и явилось причиной, почему детонатором взрыва стал я — строчки в директорской рукописи не были лишь предупреждением (как это я воспринял сначала), но искрой, которая перевела давно уже тлевший во мне конфликт в отчаяние: с одной стороны, еще была жива внутренняя необходимость продолжать выполнение обязанностей, с другой же — невозможность этого, что усугублялось ощущением: ничего уже не поправить, ничто не будет, как было. Так сказать, «в воздухе запахло порохом», и это чувствовали все мы (а, может, один лишь я, и это ощущая, стал мнительным, начал предполагать, что похоже чувствуют и остальные). Каждый из нас еще более забился в свою раковину, стараясь скрыть происходящие в нем процессы, продолжая с точностью до секунды соблюдать графики перемещений, — рассчитывая, возможно, на то, что строгая самодисциплина и полная служебная задействованность помогут справиться со всеми невзгодами. Развязка обязана была наступить — и наступила неожиданно. Город охватила эпидемия гриппа, и это оказалось катастрофой для Спецхрана: за неделю заболело до трех четвертей всего состава; меня напасть почему-то миновала, и я отделился лишь небольшой температурой и легкой слабостью. Понятно, что не могло идти речи не только об уровне «пять», но и «четыре», «три» и даже «два» — заболел и сам директор, и мы, будучи не в состоянии внести изменения в график, продолжали руководствоваться графиком пред-эпидемным — а что нам оставалось? И, таким образом, неизбежно выпадали из поля видимости друг друга. Здесь внутренний конфликт привел меня к решению: использовать момент, который может больше не представиться, — снять с полки любую книгу и посмотреть, что там написано. Не подумайте, я вовсе не намеревался выяснять причины, по которым помещенные в нашем фонде книги сделаны недоступными, излишне искать в моем поступке вспышку болезненного любопытства (я, конечно, не могу отрицать, что и любопытство играет здесь определенную роль, но не следует ее абсолютизировать: абсолютизация слишком бесхитростна, чтобы оказываться правдой). Мне требовалось преступление ради преступления; нарушение правил — как профилактическое мероприятие, которое освободило бы меня от напряжения (и вегетарианцу иной раз хочется мяса) и, пусть не в полной мере, позволило бы мне обрести прежние мир и спокойствие — что пошло бы на пользу всему коллективу, ведь я смог бы тогда заново войти в ритм наших будней и, возможно, на свежую голову нашел бы какое-либо противоядие и для коллег. Понятно, что ни одна душа об этом знать была не должна, ибо

преданный огласке поступок сделался бы банальным нарушением правил, перечеркнув все причины, меня на него толкнувшие, — что, вдобавок, превратило бы меня в грешника, на голову которого неминуемо обрушится негодование коллег — ведь люди более всего нетерпимы к недостаткам, присущим им самим. Мне было безразлично, какой именно томик выхватить с полки, главное — быстро, чтобы не нарушить график движения и не вызвать подозрения коллег; я долго готовился, по секундной стрелке взятых в руку часов определяя самый благоприятный момент: я мог чувствовать себя спокойно, закрытый полками, по крайней мере секунд десять — двенадцать, а то и больше, после чего, ускорив шаг, наверстать отставание от графика. Не единожды все проверив, я, в конце рабочего дня, из весьма плотно загруженной полки с трудом вытащил темно-синий томик средних размеров (трудно сказать, почему я выбрал именно этот — вряд ли все происходило так уж просто наугад; похоже, я взял самую невыделяющуюся среди тысяч прочих книжку — сам выбор, таким образом, был отчасти мотивирован), раскрыв его — меня окутал медицинский аромат доселе не раскрывавшейся книги, пролистал ее и от удивления оцепенел, будто внезапно лишился чего-то очень важного: книга содержала в себе чистые, как лед холодные, белые листы: ни единого предложения, ни единой буквочки, ни единого знака там не осталось — пустота, неживая, заиндевшая пустота. И не пытаясь даже вставить книгу на место, позволив ей упасть на пол, я выдернул с полки еще одну — и то же самое, за долгие годы выцвело все, все стусевалось: уехало, ненужное, в никуда, и остались лишь листы — глянцево-белые, нетронутые и бессмысленные. Я вздрогнул и обернулся, ощутив чье-то дыхание: через мое плечо, встав на цыпочки и вытянув по-птичь голову, заглядывал коллега — не помню, как его звали, на лице его царил полная растерянность и изумление, постепенно перераставшее в испуг. Он потянул книгу из моих рук, поднес ее к самому носу, будто близорукий или хотел обнюхать эти чистые листы, с грохотом швырнул ее на пол, вырвал из ряда следующую, перелистал, обрывая недорезанными уголками, застонал, заорал, разорвал книгу на половинки, швырнул их на пол и долго топтал, подпрыгивая, бормоча что-то невнятное, как бы свеживаясь под многочисленными, внезапно окружившими его взглядами — один за другим на шум подошли обеспокоенные коллеги. Инстинктивно я отошел на несколько шагов, и это, похоже, меня и спасло, потому что по графику я и должен был здесь проходить — расхождение в несколько секунд никого не могло навести на подозрения, а вот коллега находился здесь в непопозволенное время, нарушая правила. И, раз он уже их нарушил (помню, что испуг во мне мешался с недоумением: как же он тут оказался?), то почему бы ему не оказать и тем, кто своевольно взял с полки книгу? Осознав это, я отошел еще дальше, чтобы никому не пришла мысль все же связать меня с ним (чьего имени я так и не узнал), но, к счастью, никто и не собирался этого делать. Говорю «к счастью», потому что не знаю, как бы смог опровергнуть выдвинутые в мой адрес обвинения. И тут произошел взрыв: долго копившаяся энергия обнаружила возможный способ вырваться на свободу, и все одновременно бросились на преступника, начали его бить, пинать, толкать к дверям; воспользовавшись моментом, я собрал с пола книги и расставил их по местам — чтобы не осталось ни единой улики против меня. Подойдя к окну, я увидел, что пышущий злобой, остервеневший людской комок вывалился, распугивая немногочисленных прохожих, на тротуар, что преступный коллега хромая и обхватив руками голову, улепетывает по улице, а коллеги, крича и размахивая кулаками, следуют за ним — но уже без особенного воодушевления. Толпа пропала, свернув на поперечную улицу, и больше этого коллегу я не видел. В тот день график наших перемещений так и не был восстановлен — впервые, вероятно, в истории Спецхрана; на следующий день пришел директор и ввел временный, рассчитанный на период эпидемии распорядок, учитывающий случай, когда изменение числа сотрудников происходит в течение одного рабочего дня. Вспышка насилия, истинным виновником которой являюсь, как ни больно осознавать, я, ни разу не упоминалась, будто ничего и не произошло, и это самое разумное, поскольку если о чем-то не говорят, игнорируя даже возможность разговора, то, значит, в действительности ничего и не происходило, так — привиделся кошмар, чего сам стыдишься. Лишь одно не вписывается в общую картину, тревожа меня и, возможно, не меня одного: в то время, когда большинство коллег гналось за согревшими, некоторые все же остались здесь, в помещении (как я) и на экзекуцию смотрели со стороны, стоя возле окон, причем — поодиночке, а не собравшись группой. Это подозрительно и наводит на мысль, что не все еще кончено, и самое неприятное, возможно, нас еще только ожидает впереди.

1985

Перевел АНДРЕЙ ЛЕВКИН

БОРИС КУНЯЕВ

БОЛЬ

О Русь — лебединое горло.
Леса с перелесками ржавыми . . .
Нигде так не любят мертвых,
Да только живущих не жалуют.

Садов белопенных кипенье,
Равнины с колючей порошею . . .
Радищев, Шевченко, Есенин,
Что знали в жизни хорошего?!

Трубили эпоху горнисты,
Бросалась за Родину молодость . . .
Ах, сколько их было неистовых,
Что умерли в голоде, холоде.

Тоскует на горке рябина,
Петух с полинявшими перьями . . .
Рублев, Гумилев и Марина, —
Где их могилы затеряны?!

Прикажешь — вновь кровью согрею,
В атаку шагну, как бывало.
В петле задохнусь, как Рылеев,
Лишь ты бы жила и дышала!

1970

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Старик был худой и невзрачный —
Весь в шрамах, буграх и узлах.
В движениях рук что-то рачье.
В глазах то ли злость, то ли страх.

А лоб любомудра Сократа,
Лишь щеки свинцом налиты . . .
Больничная стыла палата,
На тумбочке фрукты, цветы.

Старик свой сухарик мусолил,
Беззвучно сидел в уголке.
И надпись лиловая «Коля»
Темнела на правой руке.

Как бережно брал он газету,
Постанывал, кричал и ныл . . .
Мне кто-то шепнул по секрету,
Что он девять душ загубил.

Не знаю, то были или байка,
Историю годы хранят . . .
Неужто за лишнюю пайку
Он мог бы пальнуть и в меня.

1967

БАБА ГИТЛЕР

То дров наколет за поллитра,
То подежурит в выходной . . .
Прозвали бабку — баба Гитлер
За то, что все жила войной.

За то, что к слову и не к слову
Все вспоминала про бои.
И показать была готова
Раненья страшные свои.

Случалось — подойдет хмелея,
Вдруг кофточку рванет рука.
Рубцы от пуля стянули шею,
И шрам под грудью от штыка.

Заголосит о силе вражьей.
Мол, наш народ стоял стеной . . .
Была уборщицей на пляже,
Рассыльной, мойщицей в пивной.

Права в райкомах не качала,
Трудясь на совесть, не за страх.
Кило сосисок, пайку сала,
Как все, ждала в очередях.

Ни мужа, ни детей, ни внуков.
В чужом краю нашла причал.
А ведь когда-то маршал Жуков
Ей лично сам медаль вручал.

Хоть на погоне только лычка.
На желтом фото групповом
Русоголовая сестричка —
До боли этот взгляд знаком.

На скольких свадьбах веселилась.
Порхала в вальсе — бравый вид . . .
А у самой вот не сложилось:
Друзья — кто умер, кто — убит.

Платок из выцветшего ситца.
Ремень затянут сарафан.
Все говорила — часто снится
Один чубатый капитан.

Мол, очень ею увлекался.
Мол, сколько раз шептал: «Женюсь!»
Навек под Веною остался.
И в сердце — каменная грусть.

Не унижалась лестью хитрой.
Белье стирала, пыль мела . . .
Была душевной баба Гитлер,
Что под забором умерла.

1987

ВЫСОТА

С каждым днем все туманнее были сводки,
Из-под ног уходила твердь . . .
А приказ, словно выстрел, сухой и короткий —
За отступление — смерть!

Взвод залег, задышался от гари горькой.
Третьи сутки без отдыха взвод . . .
Как на грех — мы внизу, а фашисты — на горке.
Точно в вилку нас взял миномет.

Под мою щекой стебелечек нарядный,
А сосед мой бормочет: — «Хана!
За спиною заградотряды,
Говорят, окопались с утра.

Слышишь «тигров» и «фердинандов» скрежет?
Вот и кончилась наша жисть!
Коль не немцы — свои нам в спину врежут,
Мол, ни шагу назад! Держись!

Отпоют нас, отплачут российские ветры . . .
На кой хрен мы здесь залегли?
Видно нынче дороже не люди, а метры
Этой ржавой болотной земли . . .»

Ну а мне вспоминался вишневым садик,
Руки мамыны, первый мой стих . . .
Заградительные отряды —
Ничего я не ведал о них.

Мой сосед все ворчал и ворчал сердито:
— Где начальнички? Так их, так!!!
А потом вдруг поднялся огромный; небритый,
И со связкой гранат под танк.

В небе солнечном жаворонки голосили.
Вся земля закричала: — Вперед!
Нет, не те отряды спасли Россию.
Спас сосед мой,
наш взвод,
весь народ!

1975

ФУНДАМЕНТ

ПОСЛЕ XX-го СЪЕЗДА ПАРТИИ
В ЛИСИЧАНСКЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ ХИМКОМБИНАТА ФУНДА-
МЕНТ БУТИЛИ БЮСТАМИ И. В. СТА-
ЛИНА

Те люди не казались грустными.
Чадила «Примою» бригада.
Фундамент засыпали бюстами,
Что оккупировали склады.
Приплясывали пятитонки,
Когда насупив лбы по-бычьи,
Валились идолы бетонные
Во всем божественном величье.
Ефрейтор в позе независимой
Вертел легко ломишка ржавый:
— Держи окоп, генералиссимус,
Как те, без звания, держали.
Рубахи потные дымились,
Багрянцем наливались шеи . . .
Валились идолы, валились —
Взирали хмуро из траншеи.
Они не мстили, парни русые,
За тех, кто не на фронте пали . . .
Фундаменты бутили бюстами,
Чтоб стены трещины не дали.

1962

Лисичанск

ЯНИС ПОРУКС



Фотография ЮРИСА КРИЕВИНЬША

В конце прошлого века в восточно-европейскую литературу пришли «надломленные гении», «проклятые поэты». Слишком они были чувствительны в этических проблемах, слишком тонкоорганизованны в духовном отношении, чтобы вынести бездуховность своего времени, ежедневную экспансию капиталистических отношений, стремительное крушение моральных норм и культурных ценностей старого, патриархального, цельного мира. Слишком велика была их жажда духовного совершенства и духовной красоты, слишком ничтожна реальность эпохи. И они не сумели смириться, пойти на компромисс, отречься от своих идеалов, предать их. Трагизм этой ситуации испытали на себе финн Киви, швед Фрединг, эстонец Лив. В латышской литературе — Янис Порукс (1871—1911). Этот писатель за недолгий срок, чуть более пятнадцати лет (приблизительно с 1891 по 1906) успел поработать во всех литературных жанрах и «от этого корня пошла современная латышская литература» (В. Эглитис). Его произведения составляют двадцать томов, из них два тома стихов.

Порукс был писателем «переходного периода» латышской культуры. Он принадлежал к тем выходцам из крестьянских латышских семей, которые первыми расширили круг национальных идей и ввели латышскую литературу в русло общечеловеческих, европейских традиций. Я. Порукс первым в латышской литературе исследовал философски жизнь и душу человека. В средоточии его художественных идей — трагическое ощущение угрозы, нависшей над такими человеческими ценностями, как любовь, сочувствие, нравственность, духовность, и одновременно отчаянные попытки сберечь мир этих человеческих свойств в то время, когда люди отказываются от нравственных и духовных ценностей прошлых поколений. Порукс поставил перед собой ту же цель, что и Метерлиник, Рильке, Гамсун, Чехов, Роллан, — вернуть человеку силу человечности.

В поэзии Порукс (как и во всем творчестве) мечется между сомнением, скепсисом, отчаянием — и верой в душу человеческую, оптимизмом, между предельным одиночеством и меланхолией — и безжалостным анализом человека своего времени (да и человека вообще!), раскрытием экзистенциальных и психологических противоречий эпохи. В основу трагизма Порукса легла реальность его времени, культивирующая насилие и духовную ограниченность, игнорирующая моральные и культурные ценности. В латышской литературе, а точнее сказать,

в латышском культурном сознании Порукс — наследник и пропагандист высоких идеалов просвещения и романтизма.

Он первый романтический поэт в Латвии. Это было так необычно в то время, что его первые публикации после возвращения из Дрездена, где он так и не завершил свое образование, критика, требовавшая соблюдения принципов критического реализма, а также часть читателей оценили как «философию хромого ягненка» (Янсонс-Браунс).

Порукс ввел в латышскую литературу такие понятия, как «мировая скорбь», романтическое томление, божественная любовь, романтический гигантизм, человек в ситуации выбора, воля человека и возможности ее реализации, но, что важнее всего, постоянно напоминал о тех нравственных и культурных ценностях, которые следовало бы унаследовать человеку его времени и всех будущих времен. В латышской культуре 90-х годов по размаху и глубине рядом с Поруксом можно поставить только Райниса, но если Райнис признавал приоритет социальных движений и социальной борьбы в деле преобразования общественного строя и человечества, то Порукс главным считал гуманизацию нравственной сущности человека. В отличие от социальной тенденции конца XIX века, Порукс рассматривает человека в экзистенциальном и этическом аспектах. И в его поэзии доминирует тоска по моральному совершенству, по интенсивности переживания, по божественному экстазу в любви, по приоритету духа над плотью. Поэзии Порукса частично свойственны философичность, философский взгляд на мир. Всю его лирику, как заметил Андрус Иохансонс, «... всегда пронизывает великий, беспокойный и загадочный дух — своего рода гонец из мира идей Платона... способный отразить увиденные им однажды благородные небесные картины». Вечным двигателем искусства Порукса, его *perpetuum mobile* стала поэтика контраста между реальным и идеальным в жизни. В основе его «мировой скорби» — трагически выстраданная неспособность принять моральную низость, ограниченность души, мелочность идеалов. Программными можно считать слова Порукса: «Будь целью нашей борьбы вечная интеллигентность» и «Лучшего мира не достичь без лучшего человека». Именно идею совершенствования личности этого человека, ощущение «мировой скорби» как силы, противодействующей дегуманизации общества, и не могли принять те, кто пытался оценивать литературу с вульгарно-социологических позиций, а также те, кому идеализм Порукса казался преувеличенным и «плодом большого воображения». При жизни Порукс оставался одиноким, многократно непонятым или понятым превратно, поскольку латышская интеллигенция и культура еще не созрели для восприятия его идей. Только следующее поколение латышских романтиков, заявившее о себе незадолго до революции 1905 года, отнеслось к Поруксу как к своему предшественнику и в то же время осознало, что он опередил литературно-эстетическую мысль своего века. Несколько лет спустя после смерти Порукса другой выдающийся латышский романтик Фрицис Барда (1880—1919) с горечью писал: «Порукс остался неизвестным мировой литературе в большой мере потому, что латышская духовная атмосфера не содействовала более основательной разработке его гениальной концепции». Да, Порукс смотрел на мир глазами гения. Он, как Фауст, желал, чтобы мир стал полем разнообразной духовной деятельности человека. Но ему не хватило таких систем в работе и веры в себя, какие полагаются гению. И которые имелись у Гете, бывшего, наряду с Р. Вагнером, величайшим авторитетом в искусстве для Порукса.

Около 1905 года появились первые признаки душевной болезни. Несколько оставшихся ему лет Порукс проводит то дома, то в больнице, продолжая работать, и наряду со спутанными и туманными рассуждениями он создает труды, в которых нет ни намека на его болезнь, зато по-прежнему силен талант. Но почти все лучшие свои произведения он, подобно Новалису, Лермонтову, Байрону, Шелли, написал до тридцати лет.

Немного можно объяснить в личности и искусстве Порукса, прибегая лишь к сухой логике, к ее аргументации и закономерностям. Любое объяснение, касается ли оно влияния герингтеров на формирование этического максимализма Порукса, или Дрездена, где он познакомился с традициями европейской культуры, не будет полным. Многие из того, чего разумом не охватишь, останется достоянием только тех, чья душа — с низким «болевым порогом», с особой чувствительностью, и вся устремлена ввысь... Порукс, невзирая на сомнения, отчаяние, одиночество, никогда не терял своей веры в возрождение человеческой души, в человеческую жажду совершенства. Девизом его творчества стали слова: «Для нас должно быть свято искусство возвышающее и исцеляющее».

Карлис Скалбе, вспоминая встречу с Поруксом в 1905 году, писал: «Были в нем (в Поруксе — В. В.) особенный покой и тихое внутреннее благородство. (...) Если я и был когда вблизи от истинного душевного покоя, так именно при посещении Порукса. Ибо он, никуда не торопясь, жил, как казалось, лишь в своей душе, полной до тихого пламени, то простой сердечности или глубокой увлеченности».

ЯНИС ПОРУКС

ПЕСЕНКА МАТЕРИ

За ту зыбку, над которой
Слезы я лила, — в награду
Хоть одним, но нежным-нежным
Взглядом мать свою порадуй.

За ту грудь, что есть давала,
Согревала среди ночи,
Хоть на миг, пусть краткий-краткий,
Помяни меня, сыночек,

За уста, что знали бога
И добру тебя учили,
Кустик белой-белой розы
Посади мне на могиле.

БЛУДНЫЙ СЫН

На земле дорог так много!
Как же разобраться тут?
«Ты куда? — гудит дорога. —
Разве здесь тебя поймут?»

Тот советует: «На этой
Не грозит тебе беда».
Тот свои дает советы:
«Поворачивай сюда!»

Так я шел и шел; так много
Я уже дорог прошел!
Подо мной опять дорога:
Ноют ноги, путь тяжел.

Вдруг, — не сон ли? — зов раздался:
«Сын мой, вот он, путь домой!..»
Звал я, звал и не дозволялся —
Ночь пришла, все скрыло тьмой...

НАД УВЯДШИМИ МЕРТВЫМИ РОЗАМИ...

Над увядшими мертвыми розами
Другие цветы расцветают;
Над моими тихими думами
Птицы в ветвях распевают.

Новых цветов цветение
Я встречаю стихами;
Над увядшими мертвыми розами
Лицо закрываю руками.

ВЕСНА ПРИШЛА

Весна пришла. Зеленеют поля,
Розы вокруг заалели.
Я весел, молод и знаю я
Дорогу, ведущую к цели.

Весна пришла. Невеста поет.
«Пойдем, — говорю я невесте, —
Дальше! Дорогу знаю я».
Идем. Нам весело вместе.

Весна пришла. Зеленеют поля,
Вокруг без конца и без краю
Цветущий простор; мы с нею стоим:
«Дороги я дальше не знаю...»

У БЕЛОЙ СТЕНЫ ЗА ЗЕЛЕНЫМИ ЛОЗАМИ ХМЕЛЯ

У белой стены
За зелеными лозами хмеля
Целовал я аленький ротик;
Об осени и о свадьбе
Шептались мы с нею долго.
Отец проходил
Мимо нас по садовой дорожке,
Нас не заметил;
Звала ее мать,
Девушка не отозвалась.
Желтая осень
Пришла
По нивам,
Плоды налились
И колосья.
«Сколько у тебя денег?» —
Спросил меня отец невесты...
И снился мне сон:
У белой стены
С зелеными лозами хмеля
Бледная
С мужем богатым
Моя невеста стояла.

ПУСТЬ И ЛИЛИИ РАСКРЫЛИСЬ

Пусть и лилии раскрылись,
Пусть и роза расцветает,
Что мне в том, я весь в работе —
Времени мне не хватает!
Пусть поет певунья в роще,
Пусть туман над лугом тает,
Сердце полнится печалью —
Времени мне не хватает.
Я сижу над книгой горя,
Лишь о ней моя забота.
Входит юная певунья:
«Кончена твоя работа?»
Ах, прекрасная певунья,
Нелегка моя дорога,
Слез и слов мне не хватает —
Подожди еще немного.

ЯНИС ПОРУКС

ЗИМНЕЙ НОЧЬЮ У ОКНА

Нет струн на лире,
Нет счастья в жизни,
Но песни старые звучат.
Мой дом — без милой,
Мой шаг — без цели,
Но жить, но жить еще я рад.

На небосводе,
Как в снежных скалах,
Из облаков встает луна.
В пустынной роще
Снега белеют.
Грудь странной болью стеснена!

Кто дал вам, звезды,
Свет вечный этот,
Что озаряет небосвод?
Мой светоч гаснет,
И темной ночью
Отрады сердце не найдет...

Блестит озерный
Лед, скован стужей,
И даль звенит, и льды трещат;
Но все же сердце
Застыть не смеет.
И жить, и жить еще я рад!

ПЕРЕВЕЛ ВАДИМ ШЕРШЕНЕВИЧ

Твоя душа полна неслышным, тихим счастьем,
Им на твое лицо наложена печать;
Прекрасное, оно на всех глядит с участьем,
Струя вокруг себя святую благодать.

Ах, а в моей груди живут слепые страсти,
Клубятся, как в аду опламененном дым,
Кошмарами встают... И прошлого во власти,
Я мертвенным лицом ужасен всем живым.

ПЕРЕВЕЛ ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

Рукою дрожащей
Он правду писал святую.
Душою болящей
Любовь порождал живую.

Но брань и побои
Были ему приветом;
Зачах он и умер...
Никто не узнал об этом!

ПЕРЕВЕЛ СЕРГЕЙ ШЕРВИНСКИЙ

ПУТНИК

С соловьиной трелью чистой
Гаснет запад серебристый,
Тихий лес вдали чернеет,
Тень упала — месяц вышел...
Я иду все тише, тише,
И дышать мне все труднее.

Где ж конец? Устали ноги,
Спит кладбище у дороги —
Место грустное, святое.
Тень чернее — месяц выше.
Я иду все тише, тише...
Ах, дождусь ли я покоя!

ПЕРЕВЕЛ ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Я ЗНАЮ

Я знаю, как розы цветут:
Тихо, тихо.
Алеют, сверкают они
Тихо, тихо.
Как блекнут и вянут они —
Не услышишь.
Осенний проносится вихрь:
Тише, тише...
Я знаю, как любят сердца:
Тихо, тихо.
Страдают и грезят они
Тихо, тихо.
Как, хрупкие, бьются они —
Не услышишь.
Плывет над могилами звон:
Тише, тише...

ТВОЕ ВЫСОКОЕ ОКОНЦЕ

Твое высокое оконце
До утренней зари белело.
Но вот зарделась занавеска,
Как бы любовь мою почуяв.

Сияет, полыхая, небо,
Роса на травах засверкала,
И вот уже в окне мерцает
Твой бледный образ, сон мой вечный.

ПЕРЕВЕЛ ЛЕОНИД ЧЕРЕВИЧНИК

АЛБЕРТС БЭЛС

Албертса Бэлса и Андриса Якубанса заметили сразу. Когда в середине шестидесятых годов в печати появились их первые рассказы, сразу стало видно, что в литературу входит новое поколение со своим особенным видением мира и отличным от прежнего художественным мышлением. На фоне латышской прозы того времени оба молодых писателя казались непозволительно «модерновыми», даже вызвали сомнение. Не напрасно Арвидс Григулис озглавил свою рецензию на первый роман А. Бэлса «Следователь» — «В шутку или всерьез?»

К тому же оба они, Бэлс и Якубанс, появились уже «готовенькими» прозаиками, у каждого имелся свой свежий опыт и свой сформировавшийся стиль (неловкие попытки начинающих до читателя, очевидно, не дошли, и слава богу). У них было, что сказать, и они твердо решили идти своим путем.

Албертс Бэлс пришел в литературу благодаря несчастному случаю (а хотелось бы сказать — счастливому). Во время учебы в Государственном цирковом училище в Москве (1955—1957) он на тренировке сломал ногу, и тем кончилась его акробатическая карьера. Остался лишь псевдоним — Бэлс (настоящее имя писателя — Янис Цирулис), происходящий от слова «белка», так его прозвали за ловкие кувырки однокурсники. Остались и цирковые мотивы в его творчестве. Осталось и кое-что в стиле писателя — мускулистая, полная внутренней энергии, лаконичная фраза.

После первого сборника рассказов «Игры с ножами» (1966) и первого романа «Следователь» (1967) наступил самый счастливый период в творчестве Албертса Бэлса — создается сборник рассказов ««Я сам» на просторе», роман «Клетка» (1972), «Голос зовущего» (1973) и первоначальный вариант романа «Бессонница». Когда читаешь эти произведения, возникает впечатление, что автор ликует от ощущения своей силы, от пьянящего сознания, что все ему по плечу. Это такой творческий подъем, такая насыщенность художественной энергии, такое ощущение полноты жизни, такая почти абсолютная свобода, когда радость доставляют самые сложные задания, которые даешь себе сам, потому что это не наложенная кем-то обязанность, а воистину достойная цель, в достижении которой проверяются силы. В самые счастливые мгновения все сливается в общей гармонии — духовные и физические силы человека, зрелое художественное мастерство, четкое осознание цели и уверенность, что все низменное действительно останется где-то далеко внизу. Это что-то вроде Болдинской осени Пушкина. Не каждому писателю, не каждому художнику она выпадает. У Албертса Бэлса был такой период в творчестве — на рубеже шестидесятых и семидесятых.

Но периоды ни у кого не бывают вечными (разве что, может, у тех счастливых гениев, которых называют бессмертными?). А потом? А потом было по-всякому. Пришли новый жизненный опыт и новая мудрость, обогатилось мастерство, творчество обрело новые ценности, но той прекрасной и высокой гармоничности больше нет...

В произведениях того периода Албертс Бэлс с концептуальной глубиной говорит о важнейших проблемах бытия современного человека («Клетка»), об историческом бытии народа («Голос зовущего») и в то же время с артистической радостью изображает вроде бы незначительные мелочи, с ощущением внутренней раскованности говорит о пустяках, но все под его пером обретает свой поэтический смысл и естественно вписывается в законченную картину жизни и мира. Подобно герою романа «Клетка» Эдмунду, автор может «бесконечно чудить и дурачиться» просто так, от полноты ощущения жизни: «Если ему в трамвае вдруг становилось скучно, он мог совершенно неожиданно и жутко завопить, как будто ему наступили на ногу. Он долго прыгал посреди вагона, дрыгая ногой и спрашивая стоящих рядом: «Это были не вы? Или вы? Кто же, в конце концов, виноват? Неслыханно!» (Кто другой без злости написал бы о переполненном трамвае?)

Иногда всего одним, внезапным, своевольным и все же художественно точным приемом писатель переводит изображаемое как бы в иное измерение. Совершенно обычным кажется рассказ «Бесконечный этюд» — о любви двух молодых людей, и только на самой последней странице, когда девушка впервые приходит к парню, оба героя неожиданно включаются в исторический опыт всего народа.

«Только теперь я заметил, что Линда остригла волосы. Я целую ее в шею под ухом. И вдруг мне кажется, время отскочило назад. В двадцатых годах нашего века женщины носили такие же прически. Дом, где я живу, построен в тысяча девятисотом году, в этой комнате жили до меня разные люди. Кажется, время остановилось, и я один из этих людей, и Линда моя девушка, и только двадцатые годы двадцатого века. И мне страшно. Потому что я чудовищно мудр. Я знаю, что придет тридцать третий год, и в Германии воцарится фашизм, я знаю, что придет тридцать четвертый год, и в Латвии воцарится фашизм, я знаю, что придет

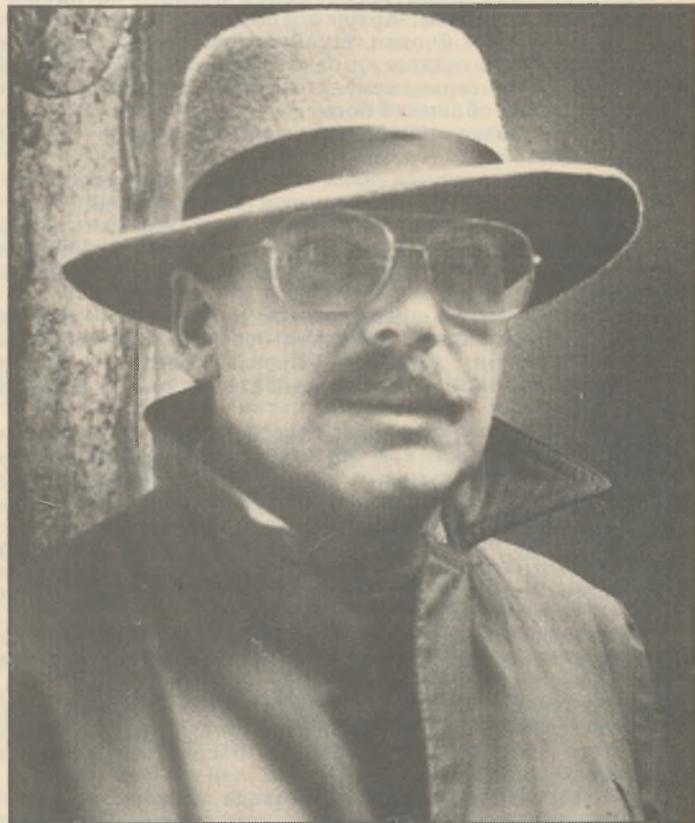


Фото ЮРИСА КРИЕВИНЬША

сороковой год, и начнется вторая мировая война, и пол-Европы будет изнемогать под игом... Я знаю все, что случится с миром. Я знаю все, что случится со мной, и поэтому страшно. Ибо удержат ход событий, изменить что-то я не могу. Двадцатые годы. Я единственный знаю, какие ужасы и несчастья обрушатся на человечество».

Это ощущение, будто живая история стоит за спиной прямо здесь, в маленькой комнатке старого дома, рождает беспокойство о будущем — о некоем дне второго тысячелетия, когда здесь будет жить другой парень: «Может, он в этой самой комнате обнимет свою девушку, и увидит ее прическу, какую женщины носили много лет назад, и ему на мгновение станет страшно. Потому что он будет знать все наперед».

Рассказы Албертса Бэлса как будто написаны на одном дыхании. Но в искусстве ничего не возникает ниоткуда, все является результатом сознательного и целенаправленного труда. Не веришь глазам, когда перед тобой рукописи Пушкина, перечерканные так и сяк, ведь все мы свято убеждены, что его стихи волюн и непременно стекали с кончика пера.

Размышляя о творчестве А. Бэлса, В. Лагздиньш писал: «Больше всего времени и усилий требовали от А. Бэлса те страницы, где воспроизводятся ассоциативные потоки, хотя, когда их читаешь, кажется, будто они написаны на едином дыхании, — «как на ум взбрело», — в действительности эти фразы существуют во множестве вариантов, и выбран самый подходящий. Так, например, рукопись рассказа «Зеленые паруса иллюзий» в десять раз толще готового сочинения».

Предлагаем вашему вниманию два рассказа из сборника ««Я сам» на просторе».

ХАРИЙС ХИРШ

АЛБЕРТС БЭЛС

ЗЕЛЕНЫЙ ОБМАНЧИВЫЙ ПАРУС

переводы С. ЦЕБАКОВСКОГО

На сухом суку сидел ворон, сойка паслась на рябине; возвращаясь с работы, Артур подобрал на орешнике спелые, ядреные орехи; один такой положишь на зуб — он легко расколется надвое, а язык защиплет от горькой корочки. Светло-серые семена тимофеевки, темно-бурые тминные семена облипали босые, в осенней росе намокшие ноги, по ним ползали муравьи — впрочем, Артуру до них не было дела.

И земле, наверно, до меня нет дела, подумалось ему. Но я вижу муравьев — так, может, и земля меня видит?

Как путь муравья коротка твоя жизнь, как путь ореха к острым зубам; срывай же орехи в сладком лесу, ершистые кисти, горькие ядра — земля следит за тобою глазами природы.

Слева и справа — в изголовье и в изножье — лежало по камню. Тускло-зеленые кольца бронзовели на пальцах женского скелета, янтарное ожерелье змеилось вокруг шеи. Беличьей кисточкой, чуть дыша, выметал он вековую пыль из глазниц...

Почти два месяца он не видел своей Анны; ему бы думать про то, как свидятся, как обнимутся, как любить станут друг друга, а он думал о том, что его Анныня была бы недурна и в желтых песках могильника по прошествии многих столетий, но весь вопрос: для кого?

Десятка два островных домишек разбрелись по берегу пресноводного озера у подошвы холма. Клонились к воде серебристые ивы, поодаль дрожали осины, вечернее солнце янтарем залило крытые дранкою крыши.

По колену забредя в озеро, умывалась женщина. У нее была прекрасная фигура, ни у кого на острове не было такой фигуры. Платье тесно облегало бедра. Женщина нагнулась, высоко загодилились крепкие точеные ноги.

Гибкие травы бабьего лета опутали шаги Артура, прямо в жар его бросило, так и хотелось обернуться, хотелось еще посмотреть.

На той стороне в зеркальной воде серебрились ивы. Таких ног не было ни у кого на острове. Таких ног не было даже у Анны. Анна, как тюльпан, вся стройная, удлиненная, а эта женщина — цветок клевера в пору цветения.

Да, заманчиво было бы сейчас услышать: «Артур, тебя в комнате ждет Анна, с вечерним паромом приехала!» Или: «Анна вышла тебе навстречу! Как это вы разминувшись?»

Войдя в комнату, Артур увидел незнакомого мужчину, тот разговаривал с Фрицисом, начальником археологической экспедиции. В промасленных пальцах незнакомец держал папиросу. Когда он чуть наклонился, пожимая руку, от него поваяло кожаным сиденьем. Водитель — высокий, сутуловатый, такими бывают шоферы, отсидевшие за рулем долгие годы.

Артур устроился у печки на липовой колоде. Люди путешествовали при жизни, деревья путешествуют только после смерти. Пока соки бродят в жилах, серебристые ивы ждут ветра у воды, осины — на проселке, липы — во дворе. Ветер, почтальон осенний, как желтые марки, клеит янтарные листья на хмурые лбы, одно мгновение — и золотая печать на лбу; люди путешествуют, как заказные письма, судьбой рассылаемые, а деревья-скромники вершат свое благое зеленое дело; ничего не сулят деревья, никого не обольщают, никому не морочат голову, — деревья ждут деревьев, корни тянутся к сокам земли, человек ждет человека, дорога острой пилой отсекает корни, на липовой колоде сидит путешественник, путешественник сидит на путешественнике.

Вошла та женщина, Артур поднялся. Коллега из Эстонии. Назвала свое имя, Артур толком не расслышал: в рукопожатии ощутил, как с кровью прихлынула та давнишняя, знакомая радость, а когда разжимались руки, их

пальцы на миг задержались, и чувство близости обожгло горячей волной.

До заката оставалось полчаса. Фрицис с коллегой подсади к столу, на нем было разложено множество материала, не сразу найдешь нужное. Склонившись над коллекциями, они увлеклись разговором, не спрашивая мнения Артура, не нуждаясь в его присутствии. Он решил прогуляться. Проходя мимо кухни, у плиты увидел жену Фрициса Илгу. Она сказала, что ужин поспеет через полчаса, не раньше.

Артур взобрался на холм. Восток укрывали сумерки, белесый туман стелился по низинам, солнце выкрасило охрой кусты на вершине холма.

Артур стоял, обласканный светом заходящего солнца, а к вискам его, казалось, льнет легковесная, нежная темень. «Анна!» — крикнул он. Внизу по дворам залаяли собаки. Артур поднял с земли камень. Камень был шероховатый, как и его ладонь. Артур не берег свои руки. Там, где было трудно подступиться лопатой, он разгребал землю руками, покуда не открылся женский скелет, тусклой зеленью на пальцах бронзовели кольца, ожерелье змеилось вокруг шеи; слева и справа, в изголовье и в изножье лежало по камню.

Дерева не похожи на людей, а люди похожи на деревья. Я одинокое смирное дерево. Меня заманили в простор. Молния меня опалила. Хочу научиться долготерпению дерева, крепости дерева, морозостойкости; огнеупорности, живучести, верности дерева и честности его, безмолвности дерева и вознесению его, когда огонь змеится по ветвям, когда пламя бронзовеет округ ствола и янтарные желтые листья полыхают смоляными факелами.

Не уезжай, той ночью упрасивала Анна, ты устроишься в городе. Ты же знаешь, у меня работа, я не смогу поехать с тобой, а место дальше, и навести тебя навряд ли выберусь. Ничего не поделаешь, Анне — оставаться, ему — уезжать. Одиночество? Сладкий призыв у слова, манящий и стойкий. Невыносимым становится одиночество, когда с ним столкнешься лицом к лицу: не одиночество пустыни, одиночество на людях. Когда недостает именно того человека. Одиночество сидит, ссутулившись, как шофер, отсидевший за рулем долгие годы; одиночество разводит людей, не спрашивая их, хотя они той дороги или нет; одиночество не считается с человеком, — жестокое, постылое одиночество, куда ты уводишь меня?

Незаметно стемнело. С вершины холма разглядел он хмурое облако, оно надвигалось к югу. Еще две недели я должен пробыть здесь, успел подумать Артур до того, как облако укрыло собою полнеба. Холодный ветер ворвался в ольшаник, над холмом взметнулся ворох желтых листьев. Странно. Деревья казались совсем зелеными.

Придет лето, дерево поднимет зеленый парус, человек поднимает парус надежд. В осенних ветрах каждая ветка на виду, каждый слом глаза колет, каждое дупло чернотой зияет, каждая ссадина различима; холодную долгую зиму деревья встречают нагими, какие есть на самом деле, корни глубоко зарылись в теплую землю, на сухом суку сидит ворон, сойка пасется на живой рябине, но придет время, человека отогревает солнце, и он отдается обману, а дерево отдается зеленому парусу.

Когда Артур вернулся домой, на столе дымился ужин. За окном накрапывал дождик. Ветер пригнал на остров темноту и сам разбушевался, дергал ставни, норовил перекрыть дымоходы. Временами свист его переходил в завывания, он то стонал и всхлипывал, будто при последнем издыхании, то кричал, словно пыжился взвалить на плечи непосильную ношу, то сбивался на рыдания, а то вдруг затевал возню с яблоками или гундосил, как назойливый нищий, пыхтел паровозом, рокотал водопадом. Ветер кружил по саду листья, швыркал их в оконные рамы, облепывал ими стекла, казалось, и сам прикипал к стеклу

своим рябим, зловещим ликом. Ветер менял направление — это означало, что дождь надолго.

Фрицис назвал эстонку Сильвой, показывая ей найденное в могильнике янтарное ожерелье. Сильва пожелала увидеть женский скелет, и Артур приоткрыл холст, которым был застелен ящик. Зарисованные, отснятые, пронумерованные, переписанные кости. Ветер швырнул в окно ворох листьев, близость Сильвы вызвала в Артуре новые мысли, отгоняя те, что приходили на вершине холма.

В глухую полночь, при свете факелов трескучих увели невесту из хоровода девичьего, ублажили, провожали, венки девичий снимали, золотое солнышко снимали, убор бабий надевали, месяц мой серебряный, полотно льняное, ладонь мужчины скользнула под одежды, в черной тьме, в белой спальне, на льняных простынях, впопыхах забыла снять янтарное ожерелье, из янтарных мест жену посватали, нынче времена суровые, свадьбы ладить надо, детей рожать надо, племенам чужим родниться, брататься, дружиться, вы коней седлайте, добры молодцы, на смотрины едем, «вскачь пушу коня гнедого по эстонским пажитям, у эстонской матушки дочки раскрасавицы», черной ночью, в белой спальне, на льняных простынях, после жарких объятий рождались дети, без серебряных ложек, без парчовых рубашек, рождались дети в ожерельях янтарных, в цепях янтарных рождались дети, мрачно вышел прощательный старый, по рукам, по ногам суета и тщета тех малюток свяжут, сироточек бедных, померла молода жена, племя горько плакало, в белой тьме, в простыни черные пеленало, в изголовье и в изножье, слева и справа сыновья по камню положили, если явится нечистый, швыряй на запад, швыряй на восток, швыряй на север, швыряй на юг, позовут на помощь добрых молодцев, ублажать будут, провожать будут, на поминки приглашать, приходили, сестрица, пирожка отведай сдобного, пивом запей медовым, при свете факелов трескучих, в полночь глухую.

Сильва метнула взгляд на Артура — тот сидел притихший, сердце громко стучало, но дышалось ровно. Фрицис сказал, что пора укладываться спать, и все стали собираться. Шофер исчез еще раньше — должно быть, устроился на ночлег в машине. Сильва развязала рюкзак, достала спальный мешок.

— Позвольте, — сказал Артур, — я помогу.

Когда вышли на крыльцо, Фрицис засветил единственный карманный фонарик. Лицо сек косой дождь, ноги облипала мокрая трава, на дворе уже хлопали лужи. У сарая, среди истоптанной копытами травы, луч фонарика высветил темно-красную глиняную поlyingню.

Дождь стегал крышу, дранка гремела, шум был ровным, приятным. Ветер выл по углам, а в сарае уютно, покойно, лишь немного погода Артур ощутил на лице нежное дуновение. Сеновал растянулся во всю длину сарая, возвышаясь до самой застрехи. По расхлябанной лестнице Фрицис забрался наверх и светил фонариком, пока не поднялись остальные.

Фрицис с Илгой спали в дальнем конце. Спальный мешок Сильвы Артур постелил посередине сеновала, может, чуть ближе к своему месту.

Потух фонарик, Сильва разделась, залезла в мешок, лежала прямая и тихая, и так прошло минут двадцать.

Дождь стегал крышу, дранка гремела, ветер выл по углам, в полночь глухую, в смоляной трескучей тьме горячую рубашку одиночества надеда. Сильва выпростала из мешка обнаженные руки, громко вздохнула, вдоха своего не расслышала, повернулась на бок, щеки коснулся цветок клевера, сладкий запах увядания, каждой жилкой своей она ощутила хмельную истому травы, в янтарных муках рождались дети, взгляд у археолога невозмутимый, ясный, двух молодцев позовут на помощь, ей давно не говорили нежных слов, не делали признаний, и стало так грустно, хоть плачь, дождь стегал крышу, дранка гремела, ветер выл по углам, холодком обдувало голые плечи, Сильва отлетала в царство ночи, далеко-далеко, в темное ущелье, где ни близких, ни будущего, сплошная темень, и нет того, кого можно было бы любить беззаветно, нежно, до беспамьяства, любить всегда, беспощадно, безжалостно, суета и тщета по рукам и ногам тех малюток свяжут, сироточек нагих, до боли искусаны губы, не приходят письма с золотой печатью, нежный цветок клевера коснулся губ, она откусила цветок, увядший, душистый: ко дню рождения и на Восьмое марта цветов дарили предостаточно, а в будни цветы покупала сама, цветы наши засушенные даждь нам днес, они самые дорогие, дареные цветы будней, дождь стегал крышу, дранка гремела, ветер выл по углам, она осознала свое бессилие

и свое одиночество. Если придут свататься, швыряй на запад, швыряй на восток, швыряй на юг, швыряй на север, она отшвырнула цветок клевера; что же мне делать, если он придет, и вдруг ошутила, как на плечо легла рука. Сильва вздрогнула, замерла, однако руку не оттолкнула, руку молодого археолога, венок сняли, убор бабий надели, ладонь мужчины скользнула под одежды, в черной тьме на губах ошутила губы, не ответила на его поцелуй, ибо ни разу еще не была самой себе неверна, в третий раз поцеловал, и тогда ответила. Да как он смеет, красно солнышко, что он делает, месяц серебряный, Сильва схватила его за руки и держала крепко, дождь стегал крышу, дранка дрожала, ветер выл по углам, археолог целовал ее и шептал ей на ухо: ветер подул в нашу сторону!

Есть ли у тебя любимая, есть, только я не люблю ее этой ночью, разве она плохая, нет она хорошая, а дети у тебя есть от любимой, нет, детей нет, ты подарить мне янтарное ожерелье, а когда подарить, когда хочешь, тогда и подарю, а это будет скоро, очень скоро, ты не шутишь, нет, не шучу, ты не забудешь меня, я не забуду тебя, а как же ожерелье, я подарю тебе зимой, чтобы оно согрело шею, ах, как грустно зимой, так хочется, чтобы ты вечерами рассказывал про далекие времена, ну, конечно, так и будет, а ты любишь выдумывать, выдумки мне мешают, ученый не должен выдумывать, а влюбленный может выдумывать, ты сегодня со мной, выдумывай все что хочешь, руки у тебя такие загорелые, да, ниже локтя они загорелые, дальше белые, ты же не видишь их, а я чувствую, напиши мне письмо, только на домашний адрес не посылай, посылай на работу, буду ждать, очень-очень, я твоя любимая, в черной тьме, в белой спальне, с серебряною ложкою, в рубашке парчовой, с ожерельем янтарным.

Артур проснулся, было утро, серый сумрак нависал над сеновалом, протяжно выл ветер, дождь по-прежнему лил. Сильва, уже одевшись, сидела рядом и смотрела на него, должно быть, давно уже смотрела. Она склонилась над Артуром, поцеловала его долгим и серьезным поцелуем, потом ушла.

Не сон ли это, подумал Артур. Не сгорел ли я, не стал ли прахом? Горсткой праха в свои двадцать шесть лет? Легкий ветерок тревоги выдул сон из глазниц, ночь не обманула, ночь не подвела, ночь поставила лицом к лицу с самим собой, теперь-то я видел себя без прикрас, какой я есть на самом деле, теперь по крайней мере, обгоревший, еще пылающий, искры сыплются, позже поворошим, посмотрим, что осталось, но это позже.

Паром переправил на ту сторону маленький автобус. С вершины холма Артур наблюдал, как автобус, уныло покачиваясь, покотился по раскисшей дороге. Паром поплыл обратно, захватив нескольких островитян. Наохлившисься фигурки сидели, повернувшись спинами к дождю.

Артур не торопясь спускался с холма, трава была скользкая, пересыпанная листьями. Ветер основательно потормошил деревья. Пока они миловались на сеновале, ветер вершил свое лихое дело, шершавым языком прошелся по острову. Могучие деревья лежали поверженные, змеились вырванные корни, ветер опрокинул в озеро серебряные ивы, после смерти те отправились в путешествие, словно корабли под зелеными парусами.

Как путь муравья, коротка твоя жизнь, как путь ореха к острым зубам, в сладком лесу срывавай орехи, собирай семена тимофеевки, тминные семена собирай, земля следит за тобою глазами природы, сладкий лес разорен, кустарник — тот выживет, сей орехи ершистые, горькие, а новая ватага путешественников отправится в печи, в мастерские, на верстаки и пилорамы, они кораблями мечтали стать, но корабли нынче стальные, дереву суждено оставаться деревом, суета и тщета по рукам и ногам детишек тех свяжут, сироточек малых, ворон на рябине, сойка на сухом суку, золотая печать на лбу, люди сидят на деревьях, огнеупорные, жизнеупорные, деревья как люди, крепкие, морозостойкие, деревья путешествуют после смерти, незыблемы верность и честность, люди путешествуют при жизни, огонь змеится по ветвям, деревья обречены на безмолвие и вознесение, пламя бронзовеет округ ствола, только людям дан голос, чувство близости обожгло горячей волной, ветер лихостей навалился на зеленый парус, вспыхнула золотая печать на лбу, смоляными факелами запылали желтые янтарные листья, приходи, сестрица златокудрая, сдобной булочки отведай, пиво пей медовое в могильнике ночи, в могильнике печи, в могильнике века,

в могильнике ветра, стволы горем схвачены, ветви судорогой сведены, корни короедом испорчены, бедные неудачники, слабосильные братья, старцы седовласые, молодцы самонадеянные, стройные сестрички, безутешные невесты, пали наши слабые, пали любимые, только мы остались, кто корнями цепко за землю держался, люди сами подрывают корни любви своей, а дорога острой пилой рассекает их, деревья подняли зеленые паруса, уползывают в черное ничто, цветы насущные будней пусть останутся природе, мать меня родила, земля меня вскормила, шершавый язык ветра выскоблил многолетнюю пыль из глазниц и дупел; кто выстоит бурю, пронизательным, мудрым станет, крепко тот будет стоять, может, навечно, а когда опять примчится ветер, с яростью обрушится на зеленые паруса, гибкие ветви встретят его дружно,

без серебряной ложки, без парчовой рубашки, острыми зубами встретят они ветер.

В глубоком раздумьи Артур вышел во двор, и предчувствие плетью обожгло его.

На крыльце, о чем-то разговаривая с Фрицисом, стояла женщина в плаще. Сомнений быть не могло, ни у кого на острове не было такого плаща, под ним угадывалось преkrасное, стройное тело; тюльпан, она еще не видела Артура, блестящие дождевики катились по темным, густым волосам. Ни у кого на острове не было таких волос.

В общем, ничего не случилось, подумал Артур, ничего особенного, просто мы узнали себя, наконец-то мы это узнали, и узнали, какими нам должно быть, но найдем ли мы дорогу, найдем ли верную дорогу, если ветер подует в нашу сторону?

«Я САМ» НА ПРОСТОРЕ

Я — инженер-мелиоратор, работаю в институте.

И почему-то мне вспоминаются давние летние дни.

Тогда на траве густым слоем лежала пыль, разгоряченный воздух волнами вздымался к небу и стройные сосенки на южной окраине просторной равнины кутались в серую дымку.

Ничто не разрушало тишины, до того замутненной, что слух улавливал тончайший стрекот насекомых, и казалось, вместе с легучим воздухом землю покинули все звуки, а этот последний, запоздавший, отлетает с жалобным стоном.

Вдали у горизонта кружил ястреб. Узкая, едва приметная тропа пролегла через равнину, по обеим сторонам ее рос щавель и купырь. Рядом с тропинкой сидел «я сам», покусывая стебель щавеля.

Тогда за сотни километров громыхал и лязгал двадцатый век. По улицам городов мчались машины, с аэродромов поднимались вертолеты, в родильных домах рождались дети, на полигонах испытывали пушки новейших образцов, судьи в судах судили преступников, крестьяне на полях убирали пшеницу, рабочие на заводах вытачивали оси для детских колясок, министры в министерствах подписывали приказы, в загсах целовались новобрачные.

«Я сам» был далек от всего этого, сидел себе, покусывая стебель конского щавеля, на тропинке посреди просторной равнины.

Но Земля вертится, жизнь идет.

Сначала в южной стороне, где тропинка тоненьким стежком вплеталась в соснячок, я увидел красную точку.

— Ха! — сказал я себе. — Человек!

Красная точка приближалась, росла, бежали минуты, ястреб кружил, а я сидел, не двигаясь, и ждал. Тропа одна, никаких ответвлений. В толпе люди пройдут мимо, не обратят на тебя внимание, заняты сами собой, своей суетой, своими делами, а в просторе человек не пройдет незамеченным, люди издали видят друг друга.

Но тогда это был не просто человек, а это было что-то большее.

Девушка в красной блузке. И она покусывала стебелек конского щавеля.

— Приятного аппетита! — сказал я.

— Спасибо! — отозвалась девушка.

Тогда в зарослях поймы реки Авиексте я прокладывая трассу мелиорационного канала. Тридцать дней кряду не видал ничего, кроме бородатых физиономий, слышал только хриплые голоса, давил на лице комаров, сам оброс, и волосы выцвели — пока не настал мой черед идти в магазин за пятнадцать километров от нашего лагеря.

Девушка остановилась. Я поднялся, вскинул на спину свой коричневый рюкзак. Он был такой огромный, что в нем преспокойно можно было бы спрятать эту девочку.

— Если в магазин, то напрасно. Учет! — сказала она.

Тогда я пошел за ней следом. Сначала по чистому полю, потом по шоссе, усыпанному галькой, через километр-другой ее сменил крупный гравий, и от шин проезжавших грузовиков летели камешки, они, как дробинки, щелкали по моим брезентовым штанам. Девушка приседала, оберегая юбкой ноги.

Я попросил продать мне каравай деревенского хлеба. Еще мне вынесли кувшин молока. Кувшин коричневый, с зелеными разводами, молоко холодное, с пенкой, и хозяйка ни за что не хотела брать с меня денег.

Не было сказано ни одного лишнего слова, но расстались мы друзьями.

Теперь я смотрел из окна своей квартиры на улице Суворова, и почему-то мне вспомнились те давние летние дни.

Внизу громыхали трамваи, ревели моторы, а мне был виден только тротуар на той стороне. Линия подоконника перерезала улицу. Люди, переступив эту линию, вдруг исчезли, они были и в то же время их не было, они уходили и не уходили, они окунались в небытие, и виной тому был самый обычный еловый подоконник.

Еловый подоконник, ореховый сервант, кленовый стол, дубовый паркет. Будто мы в лесу, только лес этот мертв. Где положено быть горизонту, там кирпичные стены, каменные стены, железная паутина, бетонные стены.

Я закурен в квартире. С тех пор, как получил повышение, у меня нет времени выехать за город. Я подчинен ритму, однообразию. По утрам кофе, бутерброды; вечером — концерт, телевизор. Если за обедом съем лишнее, меня мучит желудок, если лишний раз обниму жену, на другой день чувствую усталость, если накричу на начальника, мне приказом объявят выговор, если как следует «поболею» на футбольном матче, всю неделю хожу без голоса. И порой мне кажется, что я не человек, а разделенная шкалой мензурка, которую по утрам до определенной черты наполняют живительной влагой. А потом ежедневно отливают по капле, и не дай бог израсходовать больше, потому что живу я по плану. К вечеру чувствую себя совершенно опустошенным, и все начинается сызнова.

По большей части люди — те же комья глины. Сначала их обомнут в колыбели, дома, обомнут родители, школа, газеты, на свой лад, по своему подобию. У человека нет другого выхода — он умирает как личность.

И всю жизнь-то человек боится. Невесть чего и почему. На спичечных коробках и то пишут: «Будьте осторожны с огнем!» Бояться маленькой спички! И это в то время, когда человек покорило огонь, упрятал его в цилиндры, загнал в провода, запер в баллоны, топливные баки. Человек живет в мире радиаторов. Огонь заключен в трубы. Теплая вода приходит в дом по железным артериям.

Гладкие стены, гладкие лица, гладкие речи, гладкая жизнь. Вот где раздолье сытым, обожающим комфорт, — это проверенное лекарство от беспokoяных мыслей.

Когда улица пронесется мимо со скоростью восьмидесяти километров в час, тогда и жизнь должна быть в восемьдесят раз быстрее. И человек должен лететь как птица.

Не тут-то было!

В городе человек, словно ястреб, кружит на одном месте. А простор зовет нас дерзать.

Каждому нужен свой простор, где бы не было ничего чужого, ничего нелюдимого, ничего связанного. На просторе каждый может воздвигнуть свой город, где бы люди не проходили мимо людей с равнодушным видом.

Человек начинается с любви. Это огонь, который жаждет



Рисунок ВИЛНИСА ЗАБЕРСА

жить. Деревья сгорают в огне. Камни трескаются от огня.
Мне сорок лет. Сорока канатами привычек я привязан к столу в своем бюро, к дивану у себя дома, к хорошему обеду, лифту, месячному окладу, к выходным дням календаря.

А совсем ведь недавно, лет восемь назад, сидел я на

просторе, покусывая стебелек конского щавеля, и девушка в красной блузке не прошла мимо. Она похитила меня у простора. Больше я ничего не скажу. Идет моя жена.
Но когда мне стукнет шестьдесят, я непременно вернусь, пусть хоть ненадолго, в ту просторную равнину.

Ведь к старости люди впадают в детство.

СЕРГЕЙ КОЛЬЦОВ

ХУДОЖНИК

*Ютилась под скамейками весна
и зацвели в помете птицы перья,
пока Ван Гог стоял у полотна
в заляпанной спецовке подмастерья.*

1

Истрепано сукно притонов,
и синькой залиты дворы.
Тебе вослед кричат вороны
и звездные летят шары.

Психических лечебниц желтый,
твоих безумств палящий свет,
чего бежал и что обрел ты
в зверинце запредельных лет.

И то, что виделось неволей,
несешь как выстраданный крест,
церквушку с нищей колокольной
и кобальт оверских небес.

2

Ну что с того, что стала кисть смелее,
а залезать приходится в долги,
и сызнова бродить в сырой аллее,
урадкою считая медяки.

А где-то вдальеке,
где даль оборвалась откосом,
сирень бушует в омуте огня,
к ней лесоруб с серебряным подносом
выходит на исходе дня.

И женщина протягивает руки
к кусту, где золотистых змей клубок.
В ее ключицах гнезда вьют себе пичуги,
и за спиной стоит на козких ножках бог...

И снова в перехлесте светофоров
твой город, как заезженный манеж,
оглохший от трамваев и моторов,
спеленутый брусчаткою одежд.
А в окна ломаются расколотые льдины,
и выдут стеклодувом небосвод,
пока над обреченною картиной
ты бьешься дни и ночи напролет.
Ручьями залита фрамуга. Двери — настезь.
Уже палитры не подпасок, не холоп.
Так разрушай весну на составные части:
вороний грай и рельсовый озноб.

3

— Как пишете?
— Не знаю. Как придется.
Не мастер я. Всего лишь ученик
воды, что стынет в ледяных глазах колодца,
и звезд, которых не схватить за воротник.
— Как пишете?
— Пытаюсь на фанере.
Все чаще денег не хватает на холсты.
Хотя...
Как пишет солнце и рисует берег,
и как владеют графикой мосты?..
Ну вот и всё.
Дубленки. Шапки. Спины.
И голоса на лестнице о том,
что безыдейностью пропитаны картины,
и слишком мрачен на пейзаже водоём.

Потом один,
без соглядатаев и мэтров
он встанет у распятого холста,
и от порывов молодого ветра
пронижет трещина
смолистый срез креста.
Картина есть.
Ее повесят в светлом зале,
и в ней воскреснет тот,
сегодняшний пророк.
Ну, а пока —
пойдет, запрет ее в подвале.
Еще не время ей.
Еще не срок.

4

В те дни по Кулдиге бродил я, как в дурмане,
где псы скитались не гонимые никем.
И тишина теснилась в двориках-карманах
и выбегала переулками к реке.
А с горок ледяных на санках и на спинах
неслась сопливая, святая детвора,
и город был похож на Брейгеля картины
в стеклянной оболочке января.

Как часто в Кулдиге его мне не хватало,
и было пусто в номере, и хлеб черствел.
К закату небо кровью набухало,
и забулдыга за стеною песни пел.
А мне всё виделась его картина,
те «Домики», где солнечный покой
шел, как пастух,
и в окнах раздвигал гардины,
и мирно гнал коров и коз на водопой.
Белье сушилось на веревках меж домами.
В них, верно, жили виноделы, сторожа,
и распольневшие хозяйки вечерами
горшки из печек доставали не спеша.
И мне казалось —
он сидит в промятом кресле,
о чем-то убежденно говорит.
На столике магнитофон, и голос Пресли:
по красным кровлям Кулдиги бежит.
И то вино, которое оставил Паулюк,
он пьет спеша,
глотками полными.
Взахлеб.

И снова ночь.
И я заснуть себя заставлю,
опять уткнув в казенную подушку лоб.

И капала вода на дно холодной ванны.
Летел по небу крашенный барак.
Пускались вплавь вагоны-рестораны.
Пьянчугу взашей гнали со двора.
По ледникам чернильным подымались люди.
Собаки лаяли на тусклый лунный свет.
И кто-то шел, уж миру неподсуден,
в пропахший хлоркою общественный клозет.

Тем временем художник где-то рядом
варил, как сварщик, времени каркас.
Он был землей, золой и листопадом
и в одиночку стадо будней пас.
Он не был от роду прилежным копиистом.

Чуждался праздников,
банкетов, громких слов.
Морской песок, сосна и воздух мгlistый —
грунты и рамы для его холстов.
Он знал, что в мире нет садов темно-зеленых,
и что вороний грай искрится под водой,
и яблоки растут на светло-желтых кленах
и отражают звезды зоркой кожей.

Он в январе готовил к выставке полотна.
Не спал ночами. Люминал не помогал.
И виделись ему глаза существ болотных,
потом закрытый, ледяной, запретный зал.
Да будет так, что у дверей продрогла слава
и все же топчется, и силится вспугнуть,
но крылышки ее — уже забава
и можно под диван их запихнуть.

Журнальный столик, стул
и баночка с кистями,
и запах скипидара, и сигарный дым.
И снова вечность хмурит брови за дверями
И черной лестницей спускается к другим.

5

Кисти серою пылью покрыты
и над дверью фонарь погас,
вот и времени стало в избытке,
хоть соли его про запас.

Можешь книги читать залюбом,
кофе пить, как смола, густой.
Твое дерево с горькой корою
осыпается легкой листвою.

Только что-то стряслось в атмосфере,
надвигается туч орда,
и уже за распахнутой дверью
хлещет ливень как из ведра.

Небо намертво к стеклам прибито,
и грохочет оглохший гром.
Сад, как будто облитый спиртом,
синим вспыхивает огнем.

Заполняет гроза каморку,
тлен и сумерки осветив,
и из тюбиков жадно исторгнут
замороженных красок взрыв.

6

Нет, не все отойдет под могильные стальные плиты.
Будут галки на елях сидеть возле мокрых церквей.
Будут двери художника диким плющом перевиты.
Кисть вернется в сумятицу гибких дубовых ветвей.

Аист спустится с неба, отыщет замшелую кровлю.
Сквозь расщелины пола крапива легко прорастет.
И случайная женщина с молодой и горячею кровью
как судьба и беда в твою нищую полночь войдет.

В бренном мире ее уподобишь ты ветке сирени,
ослепленной сияньем сквозных электрических гроз.
И на плиты церквушки старуха падет на колени,
и привидится ей белый ангел с глазами берез.

Провисит электричка меж сосен, и рельсы запляшут,
зашебечут они, всколыхнется земля и простор.
И с этюдником Паулюк на голом заброшенном пляже
с одинокой волною простой поведет разговор.

И старьевщик с мешком под шарманку холщовых историй
под окном постоит на апрельском сыром сквозняке.
И начнет разлагаться просохшая соль возле моря
и гореть волдырями на серой, шершавой руке.

Я сюда возвращусь, но не сбиться бы только с дороги.
Я сюда загляну хоть на несколько беглых минут.
Вот и Латвия в инее, в солнце нещадно далеко.
Телеграфные идола мимо и мимо бегут.

7

Я живу под его беспощадным прицелом,
под прицелом картин.
Вот и падают листья с дерев переспелых
среди развалов, крестин.
Нет меня, если б не было красок тревожных,
обнажающих суть.
И в пропащей деревне я б, наверное, ожил
и отправился в путь
по студеной дороге в рубашке нательной,
без сапог, босиком,
только б видеть в полотнах горящих, метельных
несгорающий дом.

8

Возвращается море,
и соль проступает
на черных камнях.
Значит, вечность на пятки ему наступает
в продырявленных сапогах.
В неразменной отчизне,
за дюной крутою
растворяется дом,
лишь мерцает окно путеводной звездой
в измеренье ином.
Замерзает река. Распадается стужа.
Гаснут искры в вине.
И продрогшую осень, отраженную лужей,
примеряют к стене.
Вот и всё.
И в прихожих замрут телефоны,
оборвутся звонки.
Остановится время, служившее фоном.
Дух. Движение. Мазки.

Нет, уходят не все и не всё исчезает,
и не все утечет.
Бурый вечер луной кривобокой зевает,
и февраль у ворот.
Снег мерцает, как прежде похожий на сланец,
и горит камелек.
Кто он в ветхом халате
и чей он посланец,
да и чей он пророк?

9

Точно рябь на пруду, пробежит по домам черепица.
В мутно-красной весне вознесутся над Вентой мосты.
И настанет черед не спешить, но уже торопиться
не черту подводить, а стоять у последней черты.

У замерзшей скамейки застынет маршрутный автобус.
Краеведческим станет музеем старинный костел.
И на школьном шкафу запылится потресканный глобус,
и над вербным кустом золотой ореол.

Но закончился отпуск в гостинице провинциальной.
Шофера прогревают моторы своих развалюх.
За окном догорает закат, как свеча поминальная.
Открываю балкон.

Обрывается память и слух.

Кулдига—Рига. 1977.

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Среди русских поэтов нашего века Н. А. Клюев (1884—1937) предстает фигурой самобытной и во многом загадочной. Легенды, сложившиеся вокруг его имени, не полностью развешены и в наши дни. В этом отчасти повинен сам Клюев. Крестьянин, выходец из Олонецкой губернии, Клюев уже в молодости взял на себя особую роль: говорить «от народа», от имени безымянных жнецов и пахарей. А в некоторых своих стихах и устных рассказах он ярко расцвечивал собственный портрет — странника-сектанта, певца-«баяна», хранителя древних народных заветов. В поэтическом ключе воссоздавал Клюев и свою «родословную»: «Я — потомок лапландского князя, Калевалов волхвующий внук...» Необычностью своего происхождения и облика Клюев завораживал своих современников; им увлекались Блок и Андрей Белый, Городецкий и А. Н. Толстой. Брюсов написал предисловие к его первому стихотворному сборнику — «Сосен перезвон» (1911). Уже в клюевских стихах тех лет, тяготевших то к «высокому» символизму, то к народно-песенной традиции, можно было найти подлинные жемчужины поэзии. К 1917 году Клюев — широко известный поэт: его новые сборники («Лесные были», «Мирские думы») расходятся по всей России, обсуждаются на страницах крупнейших русских газет и журналов.

Каким же он был в действительности? Прежде всего — человеком религиозного склада, хотя и далеким от официального православия. Но в Клюеве, особенно в его молодые годы, было заложено и другое — бунтарское — начало; казалось, поэт глубоко впитал в себя протестантский пафос русских старообрядцев, мучеников за веру. (Не случайно он возводил свой крестьянский род и свои «самосожженные» стихи к самому Аввакуму.) В годы юности «смирный Миколай» (так называл его позднее Есенин) отдал немало сил на борьбу с царизмом. В 1905 году он распространял листовки среди крестьян Олонецкой губернии, призывал их к неповиновению властям; арестованный в январе 1906 года, Клюев провел шесть месяцев в Вытегорской и Петрозаводской тюрьмах. Уже в ту пору Клюев был связан с социалистами-революционерами и, возможно, сектантами (хлыстами), хотя достоверных сведений о принадлежности Клюева к той или иной секте не обнаружено.

Поэтический голос Клюева с годами менялся: олонецкий «баян» настойчиво искал своего пути в искусстве. Но неизменной оставалась главная тема Клюева — «избяная» Россия. Все, что имело отношение к деревне, «мужику», «естественному» крестьянскому труду, было для Клюева отмечено своего рода святостью. И напротив: все, что противостояло Деревне — Город, Фабрика, Культура, Интеллигенция и т. п. — страстно обличалось Клюевым как проявление «дьявольских» сил. Возвеличивая «избу», Клюев видел в ней суть и средоточие творимого им духовного «космоса»: «Изба — святилище земли...» В неказистой природе русского Севера, в облике нищей русской деревни поэту открывалась то Белая Индия, сказочная страна Духа, то таинственный невидимый Китеж-град из древней легенды. Клюев стремился облагородить «избу», увидеть в ее «вековом безмолвии» возвышенное и «вечное» начало. «Есть в хлевушке, в сумерках проселка Золотые Китежи и Римы...» — возвещал он. Считавший себя «народным» поэтом, Клюев стремился говорить на «родном» для него деревенском языке; отсюда — обилие в его

стихах, наряду с церковнославянизмами, местных «нелитературных» слов, заимствованных из простонародной речи.

В своих «народнических» устремлениях Клюев был отнюдь не одинок. С ним рядом выступали его единомышленники — Есенин, С. Клычков, А. Ширяевец, пытавшиеся в 1915—1917 годах сплотиться под единым «крестьянским» знаменем. Клюев главенствовал в этой группе (впоследствии она получила название «новокрестьянской»). Вслед за Клюевым, новокрестьянские поэты искренне верили в будущее своего народа, в его освобождение и «преображение» (как социальное, так и духовное). В серой «избяной» России они прозревали ослепительно прекрасную «золотую» Русь — еще дремлющую, «схоронившуюся» до поры, но ожидающую своего пробуждения. Их лучшие стихи, обращенные к России, русской природе и русской избе, одухотворены высокой и неподдельной любовью к родине:

Озеро — сердце, а Русь, как звезда,

В глубь его смотрит всегда!

Судьба Клюева сложилась трагически. Поэт восторженно встретил Октябрьскую революцию, приветствовал в своих стихах Коммуну и ее «красных солдат». В 1918 г. в Вытегре он вступает в партию большевиков; но уже весной 1920 года он был из нее исключен за посещение церкви и религиозные убеждения как несовместимые с обликом коммуниста. Дальнейший ход событий в стране все более отдаляет Клюева от литературной и общественной жизни. Наступление на старую патриархальную деревню, приверженцем и певцом которой Клюев оставался до конца своих дней, больно отзывалось в сердце поэта-крестьянина.

В 1923 г. Клюев переселяется из Вытегры в Петроград; его произведения время от времени появляются в периодической печати. Скорбь о гибели русской «деревни-сказки», Клюев оплакивает ее в поэме «Погорельщина» (1927—1928) — одной из вершин русской поэзии 20-го века. Близка к ней и поэма «Деревня»; едва появившись в журнале «Звезда» (1927), она вызвала ряд выпадов против поэта в печати, обвинявшей его в «кулацкой» идеологии. В 1928 году в свет выходит последний из прижизненных сборников Клюева — «Изба и поле».

В начале 30-х годов, пытаясь упрочить свое положение, Клюев перебирается из Ленинграда в Москву. Но участь крестьянского поэта была в ту эпоху безжалостно преддана. Арестованный в феврале 1934 г., Клюев получает административную высылку в Нарымский край сроком на пять лет. Через несколько месяцев, благодаря хлопотам московских друзей, его переводят в Томск; здесь он живет почти три года. Но к середине 1937 года Клюева коснулась новая волна репрессий: он попадает в Томскую тюрьму, где и умирает в конце 1937 года или, возможно, в начале 1938-го (точная дата смерти не установлена). «Поэт великой страны, ее красоты и судьбы» (так сказал о себе сам Клюев в одном из нарымских писем) на тридцать лет оказался вычеркнутым из русской литературы.

За последние пятнадцать лет литературное наследие Клюева вновь приблизилось к читателям: издано несколько книг со стихами поэта, напечатаны произве-

дения, ранее неизвестные. Стихотворения, публикуемые ниже, также принадлежат к числу новонайденных. По ним можно составить представление о том, как менялась на протяжении десятилетий творческая манера Клюева.

Стихотворение «Темной ночью сердцу больно...» отражает свободолюбивые настроения Клюева в годы первой русской революции; оно обнаружено в архиве издателя В. С. Миротубовича в Рукописном отделе Пушкинского Дома (Ленинград) и, судя по всему, предназначалось для публикации в журнале «Трудовой путь», запрещенном в начале 1908 года.

Стихотворение «Люблю поленницу дров...» восстановлено по черновому автографу в рабочей тетради Клюева, содержащей произведения 1921—1922 годов (Рукописный отдел Пушкинского Дома). В той же тетради — стихотворение «Заутреня в татарское иго...» (видимо, незавершенное); позднее оно было набело переписано Н. И. Архиповым, близким другом поэта. В последнем стихотворении преломились реальные события русской истории, восходящие к 1238 году, когда Козельск был разгромлен татарами и все его жители умерщвлены по приказу Батые.

Стихотворение «Милый друг из Святогорья...» печатается по автографу Клюева, хранящемуся в Государственном Литературном музее (Москва); дата стихотворения («июль 1926 г.») поставлена рукой Н. И. Архипова. В архиве известного критика Р. В. Иванова-Разумника (Рукописный отдел Пушкинского Дома) обнаружен машинописный текст этого же стихотворения, полностью соответствующий клюевскому автогра-

фу. Использование пушкинских строк — прием, весьма характерный для Клюева, который особенно любил Пушкина и не раз «реминисцировал» его в своих стихах.

Стихотворение «Я лето зорил на Вятке...» печатается по копии, сделанной Н. И. Архиповым (хранится в Рукописном отделе Пушкинского Дома); оно было включено Клюевым в состав сборника «О чем шумят седые кедр» (1933), машинопись которого также находится в Пушкинском Доме. Стихотворение было написано по возвращении поэта из Вятской области, куда он ездил на отдых в 1929—1932 годах. Ранее это стихотворение публиковалось английским исследователем русской поэзии Г. Мак Веем (Н. Клюев. Сочинения. т. 2. Мюнхен, 1969) и — вслед за ним — С. Ю. Куняевым («Дружба народов», 1987, № 12). Однако оба публикатора пользовались черновым вариантом, находящимся в Отделе рукописей Института мировой литературы им. А. М. Горького (Москва) и ошибочно разделили текст одного стихотворения на два.

Стихотворение «Годы» печатается по машинописи из архива Н. И. Архипова; другой экземпляр этого стихотворения (в архиве Р. В. Иванова-Разумника) обрывается на строчке «Костей плавильню, жил разженье».

Желающих ближе познакомиться с жизнью и творчеством Николая Клюева мы отсылаем к статье В. Г. Базанова, открывающей томик стихотворений в малой серии «Библиотека поэта» (Л., 1977), и к нашей работе «Из творческого наследия Николая Клюева» («Литературное обозрение», 1987, № 8).

КОНСТАНТИН АЗАДОВСКИЙ

Темной ночью сердцу больно
Одинокому грустить,
Ах, нельзя ему невольно
Горе кровное забыть!
Молод я и телом зноен,
Бел, как пена на реке,
За себя всегда спокоен,
Силу чувствуя в руке.
Без руля направлю лодку,
Как стрелу, через реку.
Знают все по околотку
Перевозчика Луку.
Но сегодня сердце ноет,
Ночь ненастья темна.
И, вздымаясь, тяжко стонет
Водяная глубина.
В диком споре — на просторе
Волны дышат тяжело...
Не народное ли горе
В зыбь речную залегло?
Не таит ли вал косматый
В тяжком плеске без конца
Стон замученного брата
И убитого отца?
И не сыну ль на чужбину,
В край изгнанья и болот,
Материнскую кручину
Мутной пеною несет?
На заре утихнут грозы,
Смолкнут ласково-легки,
Из заречья к перевозу
Соберутся мужики.
Все, что волны говорили,
Разбиваясь и шумя,
Как дела кровавой были,
Передам мирянам я.
Расскажу, как сердцу больно
Одинокому грустить,
Жить на свете подневольно
И врагу не отомстить.
(1907)

Люблю поленницу дров,
Рогожу на полу мытом,
И в хлеву над старым корытом
Соломенный жвак коров.

Солома — всему укрепа,
Хлеб — вселенская голова.
Вымолотят слова
Труда золотые цепы.

И не будет коровий сап
Оглашать страниц лукоморья,
Прискачет черный арап
На белом коне Егорья.

Бель и чернь — родная душа...
Окровавлены ангелов руки.
Овце, многочадный суке
Уготован мир шалаша.

Вороне — птенец носатый
Сладкозвучней веретена...
Киноварной иглой весна
Узорит снегов заплаты.

Половеет лыко и таль.
Дух медвежий от зимней шубы.
И прясть сутеменкам любо
Березовую печаль.

Душа всещедро тверда,
Как ток, цепями убитый,
Где смуглый Ангел труда
Молотит созвучий жито.

(1921)

Заутреня в татарское иго,
В церквушке, рубленной в лапу,
На плате берестяная книга
Живописную теплит вапу.¹

Пирогощая² точит гривны³
Кровинки с Козельской сечи,
За хоробрую Тверь и Ливны
Истекли огневицей⁴ свечи.

Полегли костями Буслаи
На далекой ковыльной Калке...
За оконцем вороньи граи⁵
Да девический причит жалкий.

Христофор с головой собаки
С ободверья⁶ возлаял яро,
В княженецкой грядне баскаки
Осквернили кумысом чары.

Пирогощая плачет зернью
Над кутьей по Красном Мстиславе,
Прозреваю раннюю обедню
В агарянское⁷ злое иго.

(1921)

¹ Вапа — краска.

² Пирогощая — икона Пирогощей Божьей Матери.

³ Гривна — ладанка, образок.

⁴ Огневица — жженое тряпье.

⁵ Грай (ободверина, одверье) — дверной косяк.

⁶ Ободверье — вороний крик, карканье.

⁷ Агаряне — жители Аравии, иначе — сарацины.

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ

Милый друг, из Святогорья
Ни улыбки, ни письма.
На божнице лик Егорья
Застит сумерек косма.

Ты у папы и у мамы —
«На вакациях студент»,
Вечер пушкинский «тот самый»
Облака плетет из лент.

Я с тобой . . . Махоркой вея
В грудь плакатных парусов,
Комсомольская Рассея
Отошла от берегов.

Как в былом у печки мама,
Дух пшеничный, избяной —
Распахнем же настезь раму
В звон зеленый, полевой!

ГОДЫ

Я твой, любовь. Под пятьдесят,
Торжественный дубовый сад
Иль паруса под свежей тучей —
Вздыхает борода могуче!
И грудь стропилами ключицы
Вперила в порубы светлицы,
Где сердце сирином в коруне!
Вот-вот на кровь пожаром дунет
И закипит смолой руда! . .

Прошу гостей — свои года
На лавицу, под образ отчий:
Ромашки — отрочества очи
Садитесь к златной пелене,
Где матери персты на дне
И чудотворные ресницы. —
Она повысила дробницы²
Для первенца — лесной фиалки.
Пятнадцатый садись у прялки,
Коль хочешь выглядеть девчонкой
Иль покумись с изюмной гонкой,
Густой шиповник на щеках
И пчелка в гречневых кудрях
С ведерцем меда в звонких лапках!
(Забыл, что ножки у пчелы.)
Оснадцать с двадцатью смуглы —

Пролетных васильков охапка,
Где вьется белый мотылек —
Веселый жницы голосок,
Аленушки или Любаши,
Уселся к добротной каше,
Чтобы повыглядеть дубовой, —
Росистый первоцвет любви.
Вот двадцать пять — ау! лесное,
Руно на бедрах, губы в зное,
Шафран и золото на коже,
Он всех дурманней и пригожей,
Дитя неведомой весны,
В венке из пьяной белены, —
Пред ним корзина с виноградом
И друг золоторогий рядом.

За ними тридцать — пряный гость,
Тюрбан в рубинах, в перлах трость,
Как черный ястреб реет бровь,
Шатер ресниц таит любовь,
И ложе пышное из шелка, —
Пред ним кинжал и шкура волка!
Не узнаю тебя, пришлец,

Погляди, как вьются бойко
Трясогузки над прудом,
Хворь мою с больничной койкой
Жданной свахой назовем.

Только б ран моих касались
Чудотворные персты . . .
Солнце жгло, гроза ли мчалась,
Смяв жасминные кусты?

Только я влюблен, как речка,
В просинь, ивы, облака,
Обручальное колечко
Шлю тебе из далека.

Если ж стих пустой игрушкой
Прозвенит душе твоей,
Выпью с горя, где же кружка —
Сердцу будет веселей!

(1926)

В серьгах, коралловый венец,
Змея на шее, сладко жая,
Звенит чешуйками о зале
Подземном, в тусклых сталактитах,
О груди тел, лозой повитых
На ложе обоюдоостром!
Душе прозреть тебя не просто,
Ты — дуб из черного стекла,
Где бродит желтый лунный морок.
Змея насвистывает: сорок!
Близнец пылающего зала,
Осыпанный дождем опалов,
С двойной змей на лыжиной шее,
Павлиным опахалом вея,
Чтоб остудить хоть на мгновенье
Костей плавильню, жил разженье.
Садись за блюдо черных сот
Геенский сорок пятый год.
Желанный год пятидесятый, —
Величье лба от Арарата,
И в бороде, как меж холмов,
Голубоватый блеск снегов
Еще незримых, но попутных,
На братьев пестрых и лоскутных
Глядят, как дуб, вершиной вея
На быстротечные затеи
Веселых векш и диких яблонь . . .

Я твой, любовь. И не озябло
Подсолнечник — живое сердце,
Оно пьет сумерки ведерцем,
Степную сыпь чумацким³ возом,

Но чем пьяней, махровой розам,
Тем слаще жалят их шмели
И клонят чаши до земли,
Чтобы вино смешалось с перстью⁴ . . .
Не предавай меня безвестью,
Дитя родное. — Меж цветов
Благоухает лепестков
Звонящий ворох. Это песни.
За них стань прахом и воскресни.

(1932—1933)

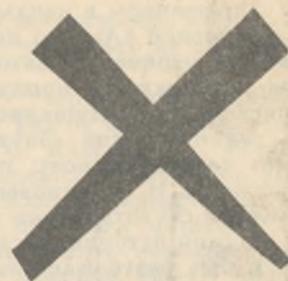
¹ Корона — старинный головной убор.

² Дробницы — мелкие подвески, кисточки, золотошвейные блески или другие украшения.

³ Чумац — извозчик на волах.

⁴ Персть — пыль, прах, земля.

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ



Я лето зорил на Вятке,
Жених в хороводе пихт,
Любя по лосьей повадке
Поречье, где воздух тих,
Где челн из цельной осины
Веет каменным веком, смолой: —
Еще водятся исполины
В нашей стране лесной!
Еще гнутся лодки из луба
Гагарой и осетром,
Из кряковистого дуба
Рубят суровый дом.
И бабы носят сороки¹ —
Очелья² в хазарских рублях.
Черемиска³ — лен синеокый
Полет в белесых полях.
Жаворонковый бисер, как в давнем,
При посаднике, земской избе,
И заводь цветком купавным
Теплит слезку в полюдь-судьбе.
Полюдь⁴ же лаптем железным
Попирает горбыль кедрачам.
Ой, тошнехонько дедам болезным
Приобькнуть татарским харчам!
Ой, кроваво березыньке в бусах
Удаться зеленой косой . . .
Так на Вятке, в цветущих чарусах⁵,
Пил я солнце и пихтовый зной.
И вернулся в Москву черемисом,
Весь медовый, как липовый шмель,
Но в Пушторге оцеренным рысям
Не кажусь я, как ворог, досель.
Вдруг повеет на них ароматом
Пьяных трав, приворотных корней!
За лобатым кремлевским закатом
Не дописана хартия дней.
Будут ночи рысиной оглядки,
Победителен рог ветровой,
Но раскосое лето на Вятке
Нудит душу татарской уздой!

(1931—1932)

Публикация К. АЗАДОВСКОГО

¹ Сорока — женский головной убор.

² Очелье — передняя часть кокошника.

³ Черемисы — прежнее название народа мари.

⁴ Полюдь — объезд округа для сбора дани; дань.

⁵ Чаруса — топь, болото.

Удивился вкусу,
облизав впервые
разбитую губу.

Еще не ведал,
что это капли
океана мира.

1985

Он не умеет протискиваться,
пресмыкаться, ловчить и ползать.
Он не способен залезть
через окно.
Не уважает он трещины
и щели.

{Видно, вырос там,
где заборов нет.}

1983

Будь милосердной, чайка!
Ты лишь одна ей чем-то можешь помочь!
Не сторонись, чайка! Побойся греха!

Ты разве не видишь,
сколь одиноко, жалко, угрюмо
буря на море бушует,
не найдя никого,
с кем меряться силой!

1984

Птицы, словно крестики
на небесах восходящего солнца:
стражи наших надежд.

1985

У снега нет выбора.
Что находится внизу,
на то и падает.

Выхожу.
Пусть хоть пару снежинок
падут на счастливого.

1985

Ситуации повторяются:
дождь, июль и вишни.

Удивительно
стабилен этот мир:
дождь, июль и вишни.

Лишь гости меняются.

1985

— Это он.
— Ты только погляди, как разжирел!
— Его питает наш страх.

1985

... ЗАЦИЯ

Пара сапог в углу.
Чайная гуща в кружке на столе.
Страница газеты.
Пчела — в окне.
Тоже заблудшая. Тоже хочет домой.

1983

ВКЛАД БОЛЬШИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В историю болезни
своего племени
вписали целое предложение.

1984

ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ

Первое время
жаворонку в клетке будет трудно.
Пока не забудет,
что он когда-то летал.

1984

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОЗА

I

Веньямин Федорович Каган подошел к этому делу с мудрой расчетливостью вифлеемского волхва и одесского Ньютона-математика. Вся заговорщическая деятельность Веньямина Федоровича покоилась на основе бесконечно-малых. Закон спасения Веньямин Федорович видел в черепашьих темпах.

Он позволял вытряхивать себя из профессорской корочки, подходил к телефону во всякое время, не зарекался, не отнекивался, но главным образом задерживал опасное развитие болезни.

Наличность профессора, да еще математика, в невероятном деле спасения пятерых жизней путем умопостигаемых, совершенно невесомых интегральных ходов, именуемых хлопотами, вызывала всеобщее удовлетворение.

Исай Бенедиктович с первых же шагов повел себя так, как будто болезнь заразительна, прилипчива, вроде скарлатины, так что и его — Исаю Бенедиктовича — могут, чего доброго, расстрелять. Хлопотал Исай Бенедиктович без всякого толку. Он как бы метался по докторам и умолял о скорейшей дезинфекции.

Если бы дать Исаю Бенедиктовичу волю, он бы взял такси и носился по Москве наобум, без всякого плану, воображая, что таков ритуал.

Исай Бенедиктович твердил и все время помнил, что в Петербурге у него осталась жена. Он даже завел себе вроде секретарши — маленькую, строгую и очень толковую спутницу-родственницу, которая уже нянчилась с ним — Исаем Бенедиктовичем.

Короче говоря, обращаясь к разным лицам и в разное время, Исай Бенедиктович как бы делал себе прививку от расстрела.

Все родственники Исаю Бенедиктовича умерли на ореховых еврейских кроватях. Как турок ездит к черному камню Каабы, так эти петербургские буржуа, происходящие от раввинов патрицианской крови и прикоснувшиеся через переводчика Исаю к Анатолю Франсу, паломничали в самые что ни на есть тургеневские и лермонтовские курорты, подготавливая себя лечением к переходу в потусторонний мир.

В Петербурге Исай Бенедиктович жил благочестивым французом, кушал свой потаж, знакомых выбирал безобидных, как гренки в бульоне, и ходил сообразно профессии к двум скупщикам переводного барахла.

Исай Бенедиктович был хорош только в начале хлопот, когда происходила мобилизация и, так сказать, боевая тревога. Потом он слинял, смяк, высунул язык, и сами родственники вскладчину отправили его обратно в Петербург.

Меня всегда интересовал вопрос, откуда берется у буржуа брезгливость и так называемая порядочность. Порядочность — это, конечно, то, что роднит буржуа с животным. Многие партийцы отдыхают в обществе буржуа по той же причине, по которой взрослые нуждаются в общении с розовощекими детьми.

Буржуа, конечно, невиннее пролетария, ближе к утробному миру, ближе к младенцу, котенку, ангелу, херувиму. В России очень мало невинных буржуа, и это плохо влияет на пищеварение подлинных революционеров. Надо сохранить буржуазию в ее невинном облике, надо занять ее само-

детельными играми, баюкать на пульмановских рессорах, заворачивать в конверты белоснежного железнодорожного сна.

2

Мальчик, в козловых сапожках, в плисовой поддевочке, намаженный, с зачесанными височками, стоит в окружении мамушек, бабушек, нянюшек, а рядом с ним стоит поваренок или кучеренок — мальчишка из дворни. И вся эта свора сюсюкающих, улюлюкающих и пришепетывающих архангелов насаждает на барчука:

— Вдарь, Васенька, вдарь!

Сейчас Васенька вдарит — и старые девы — гнусные жабы — подталкивают барчука и придерживают паршивого кучеренка:

— Вдарь, Васенька, вдарь, а мы куда чернявого придержим, мы куда вокруг попляшем.

Что это? Жанровая картинка по Венецианову*? Этюд крепостного живописца?

Нет. Это тренировка вихрастого малютки комсомола под руководством агитмамушек, бабушек, нянюшек, чтобы он, Васенька, топнул, чтобы он, Васенька, вдарил, а мы куда чернявого придержим, мы куда вокруг попляшем...

— Вдарь, Васенька, вдарь!

3

Девушка-хромоножка пришла к нам с улицы, длинной, как бестрамвайная ночь. Она кладет свой костыль в сторону и торопится поскорее сесть, чтобы быть похожей на всех.

Кто эта безмужница? Легкая кавалерия.

Мы стреляем друг у друга папирасы и правим свою киташину, зашифровывая в животно-трусливые формулы великое, могучее, запретное понятие класса. Животный страх стучит на машинках, животный страх ведет китайскую правку на листах клочетной бумаги, строчит доносы, бьет по лежащим, требует казни для пленников. Как мальчишки топят всенародно котенка на Москве-реке, так наши веселые ребята играючи нажимают, на большой переменке масло жмут. Эй, навались, жми, да так, чтоб не видно было того самого, кого жмут, — таково священное правило самосуда.

Приказчик на Ордынке работницу обвесил — убей его!

Кассирша обсчиталась на пятак — убей ее!

Директор сдуру подмахнул чепуху — убей его!

Мужик припрятал в амбаре рожь — убей его!

К нам ходит девушка, волосась на костыле. Одна нога у ней укороченная, и грубый башмак протеза напоминает деревянное копыто.

Кто мы такие? Мы школьники, которые не учатся. Мы комсомольская вольница. Мы бузотеры с разрешения всех святых.

У Филиппа Филиппыча разболелись зубы. Филипп Филиппыч сватается. Филипп Филиппыч не пришел и не придет в класс. Наше понятие учебы так же относится к науке, как копыто к ноге, но это нас не смущает.

* В списке I вместо этого написано и зачеркнуто: Верещагину.

Я пришел к вам, мои парнокопытные друзья, стучать деревяшкой в желтом социалистическом пассаже-комбинате, созданном оголтелой фантазией лихача-хозяйственника Гиберы из элементов шикарной гостиницы на Тверской, ночного телеграфа или телефонной станции, из мечты о всемирном блаженстве, воплощаемом как перманентное фойе с буфетом, из непрерывной конторы с салютующими клерками, из почтово-телеграфной сухости воздуха, от которого першит в горле.

Здесь непрерывная бухгалтерская ночь под желтым пламенем вокзальных ламп второго класса. Здесь, как в пушкинской сказке, жидка с лягушкой венчают, то есть происходит непрерывная свадьба козлоногого ферта, мечущего театральную икру, — с парным для него из той же бани нечистым — московским редактором-гробовщиком, изготовляющим газетовые гробы на понедельник, вторник, среду и четверг. Он саваном газетным шелестит. Он открывает жилы месяцам христианского года, еще хранящим свои пастушески-греческие названия: январю, февралю и марту. Он страшный и неграмотный* коновал происшествий, смертей и событий и рад-радешенек, когда брызжет фонтаном черная лошадиная кровь эпохи.

4

Я поступил на службу в «Московский комсомолец» прямо из караван-сарая Цекубу. Там было 12 пар наушников, почти все испорченные, и читальный зал, переделанный из церкви, без книг, где спали улитками на круглых диванчиках.

Меня ненавидела прислуга в Цекубу за мои соломенные корзины и за то, что я не профессор.

Днем и ночью я ходил смотреть на паводок и твердо верил, что матерные воды Москвы-реки зальют ученую Кропоткинскую набережную и в Цекубу по телефону вызовут лодку.

По утрам я пил стерилизованные сливки, прямо на улице, из горлышка бутылки.

Я брал на профессорских полочках чужое мыло и умылся по ночам и ни разу не был пойман.

Туда приезжали люди из Харькова и из Воронежа, и все хотели ехать в Алма-Ату. Они принимали меня за своего и советовались, какая республика выгоднее.

Многие получали телеграммы из разных мест Союза. Один византийский старичок ехал к сыну в Ковно.

Ночью Цекубу запирали, как крепость, и я стучал палкой в окно.

Всякому порядочному человеку звонили в Цекубу по телефону, и прислуга подавала ему вечером записку, как поминальный листок попу. Там жил писатель Грин, которому прислуга чистила щеткой платье. Я жил в Цекубу как все, и никто меня не трогал, пока я сам оттуда не съехал в середине лета.

Когда я переезжал на новую квартиру, моя шуба лежала поперек пролетки, как это бывает у покидающих после долгого пребывания больницу или выпущенных из тюрьмы.

5

Дошло до того, что в ремесле словесном я ценю только дикое мясо, только сумасшедший нарост:

И до самой кости ранено
Все ущелье стоном сокола, —

вот что мне надо.

Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух. Писателям, которые пишут заведомо разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Дом Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю и дав каждому в руки анализ мочи Горнфельда.

* В списке П над строкой вписан вариант: безграмотный.

Этим писателям я бы запретил вступать в брак и иметь детей. Как могут они иметь детей — ведь дети должны за нас продолжить, за нас главнейшее досказать — в то время как отцы их запроданы рябому черту на три поколения вперед.

Вот это литературная страничка.

6

У меня нет рукописей, нет записных книжек, нет архива. У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голоса, а кругом густопсовая сволочь пишет. Какой я к черту писатель! Пошли вон, дураки!

Зато карандашей у меня много — и все краденые и разноцветные. Их можно точить бритвочкой жиллет.

Пластиночка бритвы жиллет с чуть зазубренным косеньким краем всегда казалась мне одним из благороднейших изделий стальной промышленности. Хорошая бритва жиллет режет, как трава осока, гнется, а не ломается в руке — не то визитная карточка марсианина, не то записка от корректного черта с просверленной дырочкой в середине. Пластиночка бритвы жиллет — изделие мертвого треста, куда входят пайщиками стаи американских и шведских волков.

7

Я китаец — никто меня не понимает. Халды-балды! Поедем в Алма-Ату, где ходят люди с изюмными глазами, где ходит перс с глазами, как яичница, где ходит сарт с бараными глазами.

Халды-балды! Поедем в Азербайджан!

Был у меня покровитель — нарком Мравьян-Муравьян — муравьиный нарком из страны армянской — этой младшей сестры земли иудейской.

Он прислал мне телеграмму.

Умер мой покровитель нарком Мравьян-Муравьян. В муравейнике эриванском не стало черного наркома.

Он уже не приедет в Москву в международном вагоне, наивный и любопытный, как священник из турецкой деревни.

Халды-балды! Поедем в Азербайджан.

У меня было письмо к наркому Мравьяну. Я понес его к секретарям в армянский особняк на самой чистой посольской улице Москвы.

Я чуть не поехал в Эривань, с командировкой от древнего Наркомпроса читать круглоголовым и застенчивым юношам в бедном монастыре-университете страшный курс-семинарий.

Если б я поехал в Эривань, три дня и две ночи я бы сходил на станциях в большие буфеты и ел бутерброды с красной икрой.

Халды-балды!

Я бы читал в дороге самую лучшую книжку Зоценки и я бы радовался, как татарин, укравший сто рублей.

Халды-балды! Поедем в Азербайджан!

Я бы взял с собой мужество в желтой соломенной корзине с целым ворохом пахнущего щелоком белья, а моя шуба висела бы на золотом гвозде. И я бы вышел на вокзал в Эривани с зимней шубой в одной руке и со стариковской палкой — моим еврейским посохом — в другой.

8

Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в московские псинные ночи, от которого как наваждение рассыпется рогатая нечисть. Угадайте, друзья, этот стих: он полозьями пишет по снегу, он ключом верещит в замке, он морозом стреляет в комнату:

... Не расстреливал несчастных по темницам.

Вот символ веры, вот поэтический канон настоящего писателя — смертельного врага литературы.

В Доме Герцена один молочный вегетарианец — филолог с головенкой китайца — этакий ходя — хао-хао, шанго-шанго — когда рубят головы, из той породы, что на цыпочках ходят по кровавой советской земле, некий Митька Благой — лицейская сволочь, разрешенная большевиками для пользы науки, сторожит в специальном музее веревку удуленика Сережи Есенина.

А я говорю — к китайцам Благого — в Шанхай его, к китаёзам! Там ему место! Чем была матушка филология и чем стала! Была вся кровь, вся нетерпимость, а стала пся-кровь, стала — вся терпимость . . .

9

К числу убийц русских поэтов или кандидатов в эти убийцы прибавилось тусклое имя Горнфельда. Этот паралитический Дантес, этот дядя Моря с Бассейной, проповедующий нравственность и государственность, выполнил социальный заказ совершенно чуждого ему режима, который он воспринимает приблизительно как несварение желудка.

Погибнуть от Горнфельда так же смешно, как от велосипеда или от клюва попугая. Но литературный убийца может быть и попугаем. Меня, например, чуть не убил попка имени его величества короля Альберта и Владимира Галактионовича Короленко. Я очень рад, что мой убийца жив и что он в некотором роде меня пережил. Я кормлю его сахаром и с удовольствием слушаю, как он твердит из «Уленшпигеля»: «Пепел стучит в мое сердце», перемежая эту фразу с другой, не менее красивой: «Нет на свете муқ,* сильнее муки слова». Человек, способный назвать свою книгу «Муки слова», рожден с каиновой печатью литературного убийцы на лбу.

Я только однажды встретился с Горнфельдом в грязной редакции какого-то безыдейного журнальчика, где толпились, как в буфете Квисисана, какие-то призрачные фигуры. Тогда еще не было идеологии и некому было жаловаться, если тебя кто обидит. Когда я вспоминаю то сиротство — как мы могли тогда жить! — крупные слезы наворачиваются на глаза. Кто-то познакомил меня с двуногим критиком, и я пожал ему руку.

Дяденька Горнфельд! Зачем ты пошел жаловаться в «Биржовку» в двадцать девятом советском году? Ты бы лучше поплакал господину Пропперу в чистый еврейский литературный жилет. Ты бы лучше поведал свое горе банкиру с ишиасом, кугелем и талесом.

10

Есть одна** секретарша — правда, правдочка, совершенная белочка, маленький грызунок. Она грызет орешек с каждым посетителем и к телефону подбегает, как очень неопытная молодая мать к больному ребенку.

Один мерзавец мне сказал, что правда по-гречески значит мрия.

Вот эта бяляночка — настоящая правда — с большой буквы по-гречески, и вместе с тем она другая правда — та жестокая партийная девственница — Правда-Партия.

Секретарша, испуганная и жалостливая, как сестра милосердия, не служит, а живет в преддверьи к кабинету, в телефонном предбанничке. Бедная Мрия из проходной комнаты с телефоном и классической газетой!

Эта секретарша отличается от других тем, что сиделкой сидит на пороге власти, охраняя носителя власти, как тяжело больного.

11

Нет, уж позвольте мне судиться! Уж разрешите мне за-

нести в протокол. Дайте мне, так сказать, приобщить себя к делу! Не отнимайте у меня, убедительно вас прошу, моего процесса! Судопроизводство еще не кончилось и, смею вас заверить, никогда не кончится. То, что было прежде, только увертюра. Сама певица Бозио будет петь в моем процессе. Бородатые студенты в клетчатых плексах, смешавшись с жандармами в пелеринах и предводительствуемые козлом регентом, в буйном восторге выводя как плясовую вечную память, вынесут полицейский гроб с останками моего дела из продымленной залы окружного суда.

Папа, папа, папочка!
Где же твоя мамочка?
Черная оспа
Пошла от Фоспа.
Твоя мама окривела,
Мертвой ниткой шьется дело.

Александр Иванович Герцен! . . . Разрешите представиться . . . Кажется, в вашем доме . . . Вы как хозяин в некотором роде отвечаете . . .

Изволили выехать за границу? Здесь пока что случилась неприятность . . .

Александр Иванович! Барин! Как же быть? Совершенно не к кому обратиться . . .

12

На таком-то году моей жизни взрослые мужчины из того племени, которое я ненавижу всеми своими душевными силами и к которому не хочу и никогда не буду принадлежать, возымели намерение совершить надо мной коллективно безобразный и гнусный ритуал. Имя этому ритуалу литературное обрезание или обещание, которое совершается согласно обычаям и календарным потребностям писательского племени, причем жертва намечается по выбору старейшин.

Я настаиваю на том, что писательство в том виде, как оно сложилось в Европе и в особенности в России, несовместимо с почетным званием иудея, которым я горжусь. Моя кровь, отягощенная наследством овцеводов, патриархов и царей, бунтует против вороватой цыганщины писательского отродья. Еще ребенком меня похитил скрипучий табор немых романес и столько-то лет проваландал по своим похабным маршрутам, тщетно сляясь меня научить своему единственному ремеслу, единственному занятию, единственному искусству — краже.

Писательство — это раса с противным запахом кожи и самыми грязными способами приготовления пищи. Это раса, кочующая и ночующая на своей блевотине, изгнанная из городов, преследуемая в деревнях, но везде и всюду близкая к власти, которая ей отводит место в желтых кварталах, как проституткам. Ибо литература везде и всюду выполняет одно назначение: помогает начальникам держаться в повиновении солдат и помогает судьям чинить* расправу над обреченными.

Писатель — это помесь попугая и попа. Он попка в самом высоком значении этого слова. Он говорит по-французски, если хозяин его француз, но, проданный в Персию, скажет по-персидски — «попка-дурак» или «попка хочет сахару». Попугай не имеет возраста, не знает дня и ночи. Если хозяину надоест, его накрывают черным платком, и это является для литературы суррогатом ночи.

13

Было два брата Шенье: презренный младший весь принадлежит литературе; казненный старший — сам ее казнил.

* В списке I описка: слов.
** В списке II: У Н. И. есть.

* В обоих списках над строкой вписан вариант: вершить.

Тюремшики любят читать романы и больше, чем кто-либо, нуждаются в литературе.

На таком-то году моей жизни бородатые мужчины в рогатых меховых шапках занесли надо мной кремневый нож с целью меня оскопить. Судя по всему, это были священники своего племени: от них пахло луком, романами и козлятиной. И все было страшно, как в младенческом сне.

In mezzo del camin del nostra vita — на середине жизненной дороги я был остановлен в дремучем советском лесу разбойниками, которые назвались моими судьями. То были старцы с жилистого шеями и маленькими гусиными головами, недостойными носить бремя лет.

Первый и единственный раз в жизни я понадобился литературе — она меня мяла, лапала и тискала, и все было страшно, как в младенческом сне.

14

Я несу моральную ответственность за то, что издательство Зиф не договорилось с переводчиками Горнфельдом и Карякиным. Я — скорняк драгоценных мехов, я — едва не задохнувшийся от литературной пушины, несу моральную ответственность за то, что внушил петербургскому хаму желание процитировать как пасквильный анекдот жаркую гоголевскую шубу, сорванную ночью на площади с плеч старейшего комсомольца — Акакия Акакиевича. Я срываю с себя литературную шубу и топчу ее ногами. Я в одном пиджачке в тридцатиградусный мороз три раза обегу* по бульварным кольцам Москвы. Я убегу из желтой больницы комсомольского пассажи — навстречу плевриту — смертельной простуде, лишь бы не видеть двенадцать освещенных иудинных окон похабного дома на Тверском бульваре, лишь бы не слышать звона серебрянников и счета печатных листов.

15

Уважаемые романес с Тверского бульвара! Мы с вами вместе написали роман, который вам даже не снился. Я очень люблю встречать свое имя в официальных бумагах, протоколах, повестках от судебного исполнителя и прочих жестких документах. Здесь имя звучит вполне объективно — звук новый для слуха и, надо сказать, весьма интересный. Мне и самому любопытно подчас, что это я все не так делаю: что это за фрукт такой, этот Мандельштам, который столько-то лет должен что-то такое сделать и все, подлец, изворачивается? Долго ли еще он будет изворачиваться? Оттого-то мне и годы впрок не идут: другие с каждым годом почтеннее, а я наоборот: обратное течение времени.

Я виноват. Двух мнений здесь быть не может. Из виноватости не вылезаю. В неоплатности живу. Изворачиваньем спасаюсь. Долго ли мне еще изворачиваться?

Когда приходит жестяная повестка или греческое в своей простоте напоминание от общественной организации, когда от меня требуют, чтобы я выдал сообщников, прекратил вороватую деятельность, указал, где беру фальшивые деньги, и дал расписку о невыезде из предначертанных мне границ, я моментально соглашаюсь, но тотчас как ни в чем не бывало снова начинаю изворачиваться — и так без конца.

Во-первых, я откуда-то сбежал и меня нужно вернуть, водворить, разыскать и направить. Во-вторых, меня принимают за кого-то другого. Удостоверить нету силы. В карманах — дрянь: прошлогодние шифрованные записки, теле-

фоны умерших родственников и неизвестно чьи адреса. В третьих, я подписал с Вельзевулом или Гизом грандиозный невыполнимый договор на ватманской бумаге, подмазанный горчицей с перцем, наждачным порошком, в котором обязался вернуть в двойном размере все приобретенное, оторгнуть в четвертном размере все незаконно присвоенное и шестнадцать раз кряду проделать то невозможное, то немислимое, то единственное, которое могло бы меня частично оправдать.

С каждым годом я все прожженнее. Как стальными кондукторскими щипцами, я весь изрешечен и проштемпелеван собственной фамилией. Когда меня называют по имени-отчеству, я каждый раз вздрагиваю. Никак не могу привыкнуть: какая честь! Хоть бы раз Иван Мойсеич в жизни кто назвал. Эй, Иван, чеши собак! Мандельштам, чеши собак . . . Французику — шер-мэтр — дорогой учитель, а мне — Мандельштам, чеши собак. Каждому свое.

Я — стареющий человек — огрызком собственного сердца чешу господских собак и всё им мало, всё им мало. С собачьей нежностью глядят на меня глаза писателей русских и умоляют: подохни! Откуда же эта лакейская злоба, это холуйское презрение к имени моему? У цыгана хоть лошадь была — я же в одной персоне и лошадь и цыган . . .

Жестяные повесточки под подушечку! Сорок шестой договорчик вместо венчика и сто тысяч зажженных папиросочек заместо свечечек . . .

16

Сколько бы я ни трудился, если б я носил на спине лошадей, если б я крутил мельничьи жернова — все равно никогда я не стану трудящимся. Мой труд, в чем бы он ни выражался, воспринимается как озорство, как беззаконие, как случайность. Но такова моя доля, и я на это согласен. Подписываюсь обеими руками.

Здесь разный подход: для меня в бублике ценна дырка. А как же с бубличным тестом? Бублик можно слопать, а дырка останется.

Настоящий труд — это брюссельское кружево. В нем главное то, на чем держится узор: воздух, проколы, прогулы.

А ведь мне, братишки, труд впрок не идет. Он мне в стаж не зачитывается.

У нас есть библия труда, но мы ее не ценим. Это рассказы Зоценки. Единственного человека, который нам показал трудящегося, мы втоптали в грязь. Я требую памятников для Зоценки по всем городам и местечкам или, по крайней мере, как для дедушки Крылова, в Летнем саду.

Вот у кого прогулы дышат, вот у кого брюссельское кружево живет!

Ночью на Ильинке, когда Гумы и тресты спят и разговаривают на родном китайском языке, ночью по Ильинке ходят анекдоты. Ленин и Троцкий ходят в обнимку, как ни в чем не бывало. У одного ведрышко и константинопольская удочка в руке. Ходят два еврея, неразлучные двое — один вопрошающий, другой отвечающий, и один всё спрашивает, всё спрашивает, а другой всё крутит, всё крутит, и никак им не разойтись.

Ходит немец шарманщик с шубертовским лееркастном — такой неудачник, такой шаромыжник . . .

Спи, моя милая . . . Эм-эс-пэ-о . . .

Вит читает телефонную книгу на Красной площади. Поднимите мне веки. Дайте Цека . . .

Ходят армяне из города Эривани с зелеными крашеными селедками. Ich bin arm — я беден.

А в Армавире на городском гербе написано: собака лает — ветер носит.

* В списке II поправлено: пробегу.

О «ЧЕТВЕРТОЙ ПРОЗЕ» ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА

«Эта проза, такая неслышанная, забытая, только сейчас начинает доходить до читателя, но зато я постоянно слышу, главным образом от молодежи, которая от нее с ума сходит, что во всем **XX** веке не было такой прозы. Это так называемая «четвертая проза.»»

А. А. АХМАТОВА

Сейчас, спустя полвека после гибели Осипа Эмильевича Мандельштама (1891—1938), мы начинаем собирать и издавать его прозу. Ее подразделяют обычно на статьи о литературе, очерки, статьи о кино, театре, рецензии... Сам поэт, по словам Надежды Яковлевны Мандельштам, выделял в своем творчестве только два жанра — стихи и прозу.

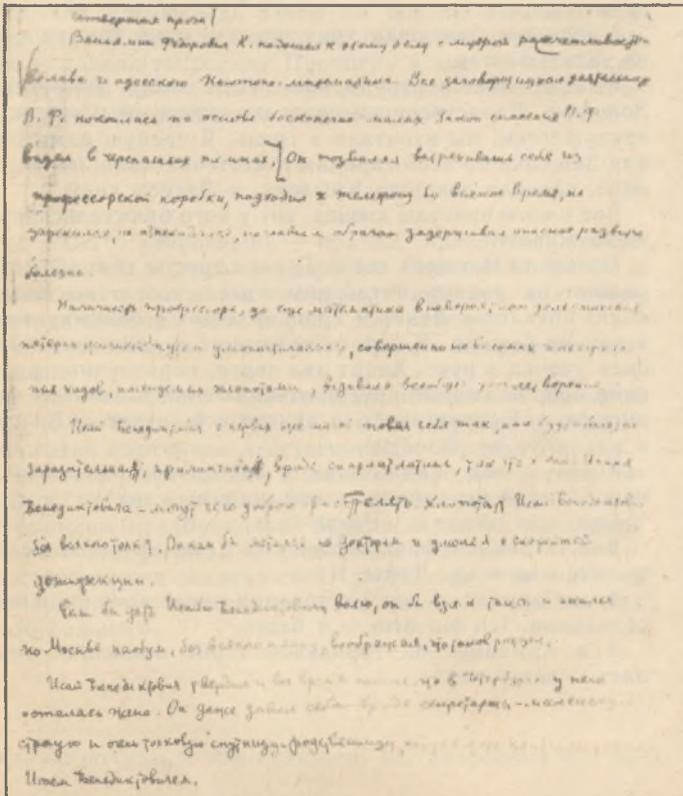
«Четвертая проза» занимает особое место в творческой биографии Мандельштама. Она была создана на исходе пятилетнего периода стихотворного молчания, периода, заполненного работой над прозой и тяжелым переводческим трудом.

В 1928 году исполнялось двадцатилетие, как принято говорить, «творческой деятельности» О. Мандельштама: первые стихотворения его первой книги «Камень» помечены 1908 годом. 1928-й стал для него итоговым издательским годом: вышла книга «Стихотворения», книга прозы «Египетская марка» (с двумя повестями — «Египетская марка» и «Шум времени»), вышла книга «О поэзии». Однако он стал и последним годом прижизненного издания книг Мандельштама. Катастрофа разразилась вокруг переводов. Эта драматическая история не нашла еще своего полного описания. Надежда Яковлевна называет ее «Уленшигелевским делом». Краткую сводку

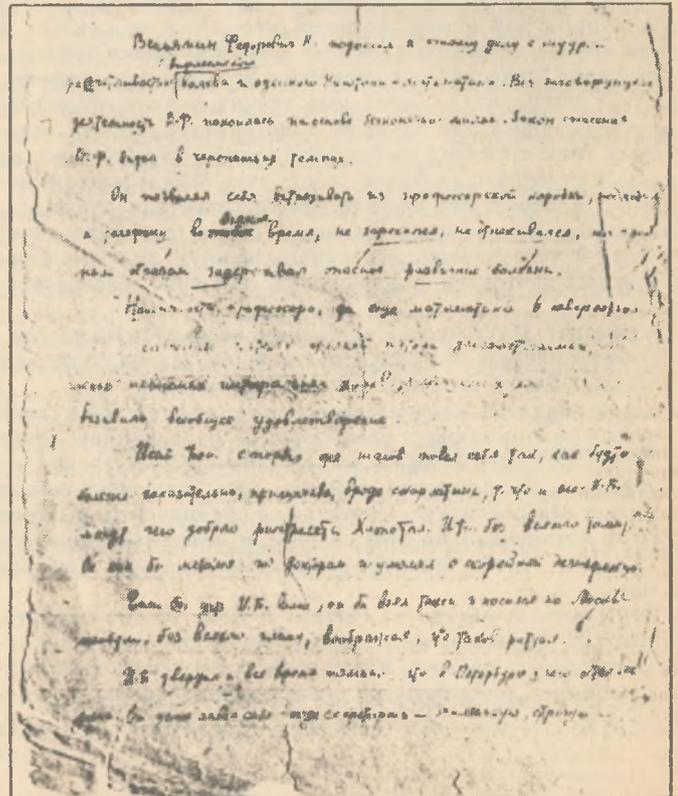
материалов «дела» дали Е. В. и Е. Б. Пастернак в 93 т. «Литературного наследства» (с. 680).

Инициатор «дела» — Аркадий Георгиевич Горнфельд, почтенный петербургский литератор круга В. Г. Короленко. В 1915 г. вышел его перевод известного романа Шарля де Костера «Легенда о Тиле Уленшигеле». В следующем году этот роман был издан снова, уже в переводе В. Н. Карякина. Издательство «Земля и Фабрика» (ЗИФ) заказало О. Э. Мандельштаму литературную переработку этих двух переводов. Работа была выполнена, и в 1928 г. вышло новое издание «Тилиа», на титуле которого Мандельштам был указан как переводчик. Это было явным недоразумением. Осип Эмильевич из Крыма приехал к Горнфельду, чтобы принести свои извинения и предложил приемлемую форму исправления ошибки. Горнфельд отказался его выслушать. По настоянию Мандельштама ЗИФ печатно, в газете, вносит исправление: «В титульный лист «Легенды о Тиле Уленшигеле» в издании ЗИФ а вкрадусь ошибка: напечатано «перевод с французского О. Мандельштама» — в то время как должно стоять: «перевод с французского в обработке и под редакцией О. Мандельштама». Однако Горнфельд печатает оскорбительную статью «Переводческая стряпня», где, игнорируя мандельштамов-

ские извинения и объяснения издательства, обвиняет Мандельштама в плагиате, замаскированном под литературную переработку. «Дело» разрастается. Журналист Д. И. Заславский 7 мая 1929 г. печатает в «Литературной газете» фельетон «Скромный плагиат и развязная халтура», героем которого выводит Мандельштама. Взбешенный Мандельштам резко отвечает на эти обвинения («Литгазета», 10 мая 1929 г.). 15 советских писателей вступаются за Мандельштама («Литгазета», 13 мая). Тем не менее 20 мая Заславский на страницах «Литературной газеты», а позднее и в «Правде», снова повторяет свои обвинения. Мандельштам требует, чтобы писательские организации защитили его от клеветы Заславского, но не находят желаемого отклика. Обвинения, одно другого опасней и нелепей, выдвигаются против него Горнфельдом и Заславским в комиссиях и бюро ФОСП (Федерации объединений советских писателей). Травля продолжается. Болезненное чувство оскорбленной чести, ущемленной гордости, обманутого доверия захлестывает поэта. Происходящее убеждает его, что его творчество, его труд — не нужны современникам. У остро восприимчивого и бурно реагирующего Мандельштама возникает катастрофическое ощущение, что «собратья по перу» готовы его предать, растерзать, по-



ПЕРВАЯ СТРАНИЦА СПИСКА I



ПЕРВАЯ СТРАНИЦА СПИСКА II

хоронить заживо. Мандельштам заявляет о своем разрыве с писательскими организациями. Стиль и интонация этого заявления близки «Четвертой прозе».

Автограф «Четвертой прозы» не существует. Поэт диктовал ее Надежде Яковлевне зимой 1929/30 года. В феврале 1930 г. Надежда Яковлевна выехала в Киев на похороны отца, Якова Аркадьевича Хазина. По ее словам, на этом оборвалась работа над прозой. Весной началось путешествие в Армению. Рукопись оставили на хранение Любови Алексеевне Назаревской. Позднее, когда Осип Эмильевич хотел кого-нибудь познакомиться с «Четвертой прозой», он просил Надежду Яковлевну или взять на время рукопись, или прочесть прозу наизусть. Среди немногих слушателей были: Анна Андреевна Ахматова, Евгений Яковлевич Хазин, Николай Николаевич Пунин, Шкловские, Аделина Адалис...

Через несколько лет, находясь в Воронежской ссылке, Осип Эмильевич попросил привезти текст, чтобы перечитать его. Начало, посвященное казарменному социализму, показалось тогда настолько опасным, что его решено было уничтожить. В памяти Н. Я. сохранилась авторская мысль о невозможности построить подлинный социализм одним лишь волеизъявлением и аргументация, звучащая примерно так: если бы граждане договорились построить Ренессанс, то вышло бы не Возрождение, а в лучшем случае кафе или ресторан «Ренессанс».

В 1939 г., после известия о смерти поэта, Н. Я. вновь достала рукопись и сделала несколько копий. Сохранились, по ее словам, только две: копия, отданная на хранение Л. А. Назаревской, и копия, хранившаяся у самой Н. Я. Последняя со временем совсем истлела и не дошла до нас. Н. Я. восстановила ее по памяти. Впервые на машинке «Четвертая проза» была перепечатана для А. А. Ахматовой в 1956 г.

В 1966 г. «Четвертая проза» вышла во II томе Собрания сочинений О. Э. Мандельштама за рубежом. Через 5 лет том был переиздан, в исправленном и дополненном виде. Это издание, где текст, несомненно, восходит к спискам Н. Я. Мандельштам, послужило основой для публикации «Четвертой прозы» в журнале «Радуга», № 3, 1988. Так «Четвертая проза» впервые попала целиком на страницы отечественного издания.

В комментариях к публикации в «Радуге» указывается на особый смысл заглавия, связанный с понятием «Четвертого Рима», которому, как известно, «не бывать», и делается вывод о том, что в семантике О. М. числительное «четвертый» означает «самый последний» или даже «следующий за последним». Действительно, смысл заглавия можно понимать как «запредельная», «небывалая» проза. Это совпадает с самоощущением ее автора — вне литературы, за ее пределами, и с оценкой им своего произведения как вне традиционного, беспрецедентного. Жанр прозы трудно определить, она плохо поддается литературным меркам и определениям. Это памфлет — но особого рода. Памфлет литературных нравов. Больше того — памфлет нравственного состояния эпохи, культивировавшей газетную травлю и самосудную расправу. У этой прозы нет прямых предшественников. Резкая обличительность позволяет отдаленно сопоставить ее с городской сатирой Грибоедова, Гоголя, Некрасова, Маяковского, с «Дневником писателя» Достоевского и его «Записками из подполья». Но, пожалуй, никто из этих авторов не ощущал себя в таком остром противостоянии своему времени — своему кругу. «Четвертая проза» — о том времени, но вне его, о той литературе, но вне ее. Конкретные лица — Горнфельд, Благой — лишь внешне повод для персонального осуждения, а в действительности — гиперболы, почти символы, выходящие за пределы реального значения земных носителей

этих имен. Понятно, что сколько-нибудь массового читателя «Четвертой прозы» тогда еще не было. Время еще не пришло.

Творческое значение «Четвертой прозы» для самого Мандельштама трудно переоценить. С нее начался прорыв поэтического молчания, обретение нового голоса. Н. Я. Мандельштам писала об этом: «Когда вернулись стихи, в них уже и в помине не было темы «усыхающего довеска». Это был голос отщепенца, знающего, почему он один, и дорожающего своей изоляцией. О. М. возмужал и стал «очевидцем». Ущербность исчезла, как сон. . . . О. М. всегда знал, что его понятия идут вразрез со временем, «против шерсти мира», но после «Четвертой прозы» это его уже не страшило».

«Четвертая проза» — один из редких примеров творчески продуктивного решения конфликта человека со своим обществом и временем. Утверждаемые в ней — как и во всей поэзии Мандельштама — гуманистические ценности приобретают все большую актуальность. Теперь, через полвека после смерти поэта — и «Четвертая проза» дает нам ощутить это наиболее остро — становится все ясней, что поэт не просто стал одной из жертв своего времени. Он погиб, отстаивая свои идеалы — те идеалы, которые так необходимы нам в нашей современности и в нашем будущем, если мы хотим, чтоб оно было.

Сказанное означает, в частности, что мы еще не раз будем возвращаться к тексту «Четвертой прозы», к ее смыслу, к ее истории. Это делает оправданным и данную, почти одновременную ее публикацию в двух близких молодежных журналах и, надеемся, последующие републикации.

В настоящее время мы располагаем тремя источниками текста «Четвертой прозы». Два из них — списки рукой Н. Я. Мандельштам — «список I», более ветхий, и «список II», более сохранный. Фотокопии первых страниц этих списков даны в иллюстрациях. Третий источник — машинописная копия, сделанная в 60-е годы со списка, составленного Н. Я. Мандельштам в 40-е годы — сам этот список до нас не дошел. Разночтения в списках касаются отдельных деталей. Нумерации главок в списках нет, но она имеется в машинописи. Инициалы персонажей всюду раскрыты. Орфография приближена к современным нормам.

Чтение «Четвертой прозы» может потребовать еще некоторых комментариев.

... в невероятном деле спасения... — речь идет о пяти банковских служащих, которым грозил расстрел. Мандельштам узнал об этом от своего дальнего родственника, Исаия Бенедиктовича Мандельштама, который в 1925 г. перевел с французского две книги воспоминаний об Анатоле Франсе. Вот как описывает Н. Я. роль в этом деле самого О. Э. Мандельштама: «О. М. случайно узнал на улице про предполагаемый расстрел пяти стариков и в дикой ярости метался по Москве, требуя отмены приговора. Все только пожимали плечами, и он со всей силой обрушился на Бухарина, единственного человека, который поддался доводам и не спрашивал: «А вам-то что?» Как последний довод против казни, О. М. прислал Бухарину свою только что вышедшую книгу «Стихотворения» с надписью: в этой книге каждая строчка говорит против того, что вы собираетесь сделать... Я не ставлю эту фразу в кавычки, потому что запомнила ее не текстуально, а только смысл. Приговор отменили...».

Легкая кавалерия — комсомольские группы, создававшиеся в те годы на предприятиях и в организациях для борьбы с бюрократией и бесхозяйственностью. Вся глава посвящена редакции газеты «Московский комсомолец», которая, по словам Н. Я., помещалась на Тверской в старом пассаже с театром-варьете (сейчас это помещение на ул. Горького занимает Театр им. Ермоловой). Гибер — завхоз или ком-

мерческий директор газеты «Московский комсомолец». Пушкинская сказка, где жиды с лягушкой венчают — стихотворение «Гусар», в котором описывается колдовской шабаш. Он саваном газетным шелестит — автоцитата из финала мандельштамовского перевода пьесы Э. Толлера «Человек-масса»; в статье о Толлере («Революционер в театре») Мандельштам писал, что этот финал — «самые огненные слова, какие мог произнести старый мир в защиту гуманизма».

Караван-сарай Цекубу — общежитие Центральной комиссии по улучшению быта ученых, находившееся на Кропоткинской наб., 5.

И до самой кости ранено — строки из врантов мандельштамовского перевода поэмы Важа Пшавела «Гоготур и Ашпина». Дом Герцена — Тверской бульвар, 25 — там родился А. И. Герцен; в 20-е годы в нем размещались писательские организации, ныне — Литературный институт им. Горького.

Не расстреливал несчастных по темницам — из стих. С. Есенина «Я обманываю себя не стану...». Д. Д. Благой, впоследствии известный литературовед-пушкинист, напечатал в 1926 г. статью «Дом Герцена» («Журналист», № 2), где рассказывал о Литературном музее и комиссии при нем по изучению творчества Есенина.

Нет на свете мук, сильнее муки слова — из стих. С. Надсона «Милый друг, я знаю, я глубоко знаю...». Квисисана — известный буфет при ресторане на Невском просп. «Биржевка» — дореволюционная газета «Биржевые ведомости», пользовалась большой популярностью в мешанских кругах, ее называли «газета-сплетница»; С. М. Проннер — банкир, ее владелиц, Мандельштам уподобляет «Биржевке» ленинградскую «Красную газету», в вечернем выпуске которой 28 ноября 1928 г. (№ 328) была напечатана статья Горнфельда.

Есть одна секретарша — Короткова, секретарша Н. И. Бухарина. Правда по-гречески значит мрия — эту шутку Н. Я. Мандельштам вспоминает как катаевскую. Слова «мрия» нет в греческом. По-украински «мрия» — «греза, мечта».

Бозжо Анджиолина — итальянская певица, пользовавшаяся в середине прошлого века шумным успехом в Петербурге. Ее приезд в Россию, смерть и пышное отпевание кратко описаны Мандельштамом в «Шуме времени».

Романес — самоназвание цыган. Младший брат Шенье — Мари Жозеф. Старший — Андре Мари, казненный в Париже в период якобинского террора. Итальянская цитата — приводимый по памяти I-й стих «Божественной комедии».

Внушил петербургскому хаму — Заславский вслед за Горнфельдом сравнил мандельштамовский перевод «Уленшигеля» с перелицовкой украденного пальто. Мотив шубы — один из сквозных мотивов творчества Мандельштама 20-х — 30-х годов.

«Хоть бы раз Иван Мойсей в жизни кто назвал», «Эй, Иван, чеши собак» — из горькой сатиры Некрасова «Эй, Иван!».

Ильинка — ныне ул. Куйбышева в Москве, один из деловых районов столицы.

Для меня в бублике ценна дырка — ср. с известными строками из «Мистерии-Буфф» Маяковского: «... одному бублик, другому дырка от бублика...»

ходят анекдоты — перифразируется забытый теперь анекдот тех лет; константинопольская убоочка — знак высылки Троцкого, начавшейся с Константинополя. «Лееркастен» — по-немецки «шарманка». Эм-эс-пэ-о — МСПО — Московский союз потребительских обществ.

С крашеными селедками — обрывок абсурдного анекдота, обычно рассказываемого как армянская загадка. Армавир — город на Кубани; по-видимому, Мандельштаму было известно, что так же называлась древняя столица Великой Армении.



ИГРЫ С ПРИРОДОЙ

Подробное описание острова Туамоту в Океании

На острове Туамоту живет много таитян. Их значительно больше, чем мангаревцев, но меньше, чем туамотян. Совсем мало живет на острове Туамоту тубуайцев, однако их больше, чем маркизцев. Есть также французы, которых меньше, чем таитян, но больше, чем тубуайцев. Некоторые французы женятся на туамотянках. Их дети носят французские имена, говорят по-французски, едят французскую пищу, ведут французский образ жизни. На Туамоту живут также китайцы. Они занимают неопределенное положение, так как имеют культурные особенности и происходят из Китая. Язык тубуайцев похож на язык туамотян и, в значительно меньшей степени, на язык маркизцев. Язык мангаревцев ни на какой не похож. Маркизцы — потомки одного маркиза, приехавшего из Франции, и его жены, туамотянки. Китайцы говорят по-китайски. Туамотяне имеют примесь таитянской крови, а мангаревцы ее не имеют, но зато имеют примесь тубуайской, так как женятся на тубуайках. Китайцы женятся на китайках. Тубуайцы хорошо относятся к туамотянкам, значительно хуже к мангаревцам, и совсем не любят маркизцев, которые, в свою очередь, недолюбливают французов. Китайцы — народ вежливый. Хорошо изучены нравы туамотян. Всем хорошо известны нравы французов. Нравы мангаревцев очень напоминают нравы маркизцев. Китайцы — очень своенравный народ. Тубуайцы живут дольше таитян, но меньше мангаревцев. Маркизцы живут очень недолго. Французы живут весело. Некоторые китайцы живут сто лет. В туамотянах есть много таитянского, совсем мало тубуайского, и есть нечто французское. У китайцев очень вкусная кухня.

Миграционные движения, носящие стабильный, а иногда и маятниковый характер, и состоящие из миграционных связей с другими частями света, из внешних миграций в пределах океанического региона и из внутренних миграций, очень интенсивны, но иногда замедляются. Климат на острове Туамоту океанический. Тепловой баланс положительный. Со всех сторон остров омывают теплые воды. Колебания температуры незначительные. Жизнь легкая.

Подробное описание состояния Мухина после того, как ему выбили один зуб, а спустя некоторое время — второй

После того, как Мухину в парадной выбили зуб, он стал редко появляться в обществе, замкнулся, у него изменилось выражение лица, начал болеть челюдок и кишечник, изменилась работа мышц и характер движения челюстных суставов, он стал мало улыбаться и при разговоре прикрывать рот рукой, стал нервным и раздражительным, раздражение по нервной рефлекторной дуге передавалось в кору головного мозга к центрам речи и слюноотделения, в результате чего усилилось выделение слюны, затруднились жевание и глотание, возникла тошнота, появилось механическое раздражение нервных рецепторов корня языка и мягкого неба, что привело к возникновению рвотного рефлекса, нарушились артикуляционные контакты при образовании речевых звуков, затруднилась дикция, Мухин начал говорить неразборчиво, нечетко произносить язычно-зубные и язычно-преднебные согласные, особенно трудно давалось ему произношение слов: «здравствуйте», «резцы» и «шкаф», но Мухин преодолел себя, проявил волю, он начал глубоко дышать через нос, сосать леденцы, работать над собой, читать книги, смотреть телепередачи, слова произносить медленно с подчеркнутой артикуляцией, начал читать вслух в спокойно-непринужденной манере, жевать пищу медленно, предварительно разрезая ее на мелкие куски, ежедневно утром и перед сном начал чистить зубы щеткой с зубным порошком или пастой и после каждой еды тщательно про-

поласкивать рот, перестал пить крепкий чай и черный кофе, а также курить, познакомился с девушкой, но после того, как, спустя некоторое время Мухину в парадной выбили второй зуб, а также повредили височно-нижнечелюстной сустав, он совсем прекратил появляться в обществе, окончательно перестал улыбаться и превратился в меланхолика.

Игры с природой

В один из осенних дней на лестничную площадку вышел покурить из своей квартиры Иванов. Выйти курить на площадку ему велела жена, у которой обострились головные боли. Боли у жены Иванова обострились из-за изменения плотности потока солнечной радиации. Плотность потока солнечной радиации изменилась из-за серии запусков космических кораблей в день, когда Иванов вышел курить на лестничную площадку. Иванов закурил, и площадку окутал дым, который через дверную щель проник в соседнюю квартиру к Петрову. Петров, который страдал приступами астмы, почувствовал дым и выбежал из дома в расположенный неподалеку парк. Направляясь к парку и перебегая улицу, Петров чуть не попал под автомашину «Жигули». Водитель «Жигулей» Сидоров, чтобы избежать наезда, выехал на встречную полосу, и его машина столкнулась с автомашиной «Волга». В результате погибли Сидоров, водитель «Волги» Васильев и находящаяся в машине Васильева жена конструктора космических кораблей Тимофеева. Тимофеев, узнав об этом происшествии, умер от инфаркта. Новый конструктор космических кораблей Волков, более молодой и энергичный, ускорил запуск следующей серии космических кораблей. После запуска следующей серии космических кораблей плотность потока солнечной радиации еще более изменилась. Жена Иванова сразу это почувствовала, головные боли ее обострились, и она велела своему мужу выйти курить на лестничную площадку. Дым от сигареты вскоре проник сквозь дверную щель в соседнюю квартиру, но Петрову это не помешало, так как незадолго до этого он умер от очередного приступа астмы.

Некоторые специалисты пришли к мнению, что во многих ситуациях, приводящих к игровым, неопределенность вызвана отсутствием информации об условиях, в которых осуществляется действие. Эти условия зависят не от сознательных действий игроков, а от объективной действительности, которую принято называть природой. В играх с природой один из игроков — человек, старается действовать осознанно, чтобы получить наибольший выигрыш и наименьший проигрыш. Стратегию другого игрока — природы — определяют ее состояния. Интересы участников игры противоположны. Игры продолжаются.

Подробное описание состояния Мухина после того, как у него отняли верхнюю одежду, а спустя некоторое время — нижнюю

После того, как у Мухина весной на улице отняли верхнюю одежду, он стал страдать от переохлаждения, тело его охватила непроизвольная дрожь, мускулатура стала быстро сокращаться и расслабляться, энергия быстро рассеиваться, Мухин мог погибнуть через тридцать пять или двадцать семь минут, но он преодолел себя, проявил волю, ускорил обмен веществ, стал вырабатывать больше внутреннего тепла, сильно расширил кровеносные сосуды, создал с помощью гусиной кожи на периферии тела тепловую защиту внутренних органов, стал поддерживать высокую температуру тела, обеспечил работоспособность мускулов и быструю реакцию нервной системы, стал проявлять оптимизм и вести размеренный образ жизни,

но после того, как, спустя некоторое время, у Мухина на улице отяжили и нижнюю одежду, температура тела Мухина опустилась почти до нуля, сердце стало биться со скоростью примерно один удар в минуту, он наверняка погиб бы или впал в анабиоз, но как раз в это время начали поступать массы теплого воздуха с Атлантического океана, резко потеплело, наступило лето. Мухин смог переодеться и вернулся домой.

Ученые почти единодушны в том, что колыбель Homo Sapiens располагалась в Африке, где настолько тепло, что среднесуточная температура значительно превышает восемнадцать градусов по Цельсию.

Погробиное описание события, происшедшего с Ивановым, Петровым и Сидоровым в универсаме г. Макарьева, или упражнение в счете до пяти

Утром в понедельник Иванов, Петров и Сидоров зашли в универсам г. Макарьева. Иванов украл в универсаме две бутылки вина и был задержан при выходе из магазина. Петров украл только одну бутылку вина, но еще две банки килек, и был задержан при выходе из магазина. Сидоров украл одну бутылку водки и одну банку килек и был задержан при выходе из магазина. Иванов народный суд приговорил к двум годам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима. Иванов отсидел полный срок. Петрова, который был старше Иванова на пять лет, суд приговорил к лишению свободы сроком только на один год, но с принудительным лечением от алкоголизма. Петров просидел полгода и умер. Сидоров, который старше Иванова на три года, но моложе Петрова на два, был приговорен в места, определяемые специальными органами, но отпущен на свободу за хорошее поведение на один год раньше срока. Иванов после заключения вернулся домой к жене. Сидоров после заключения вернулся домой, но жену дома не застал, так как она за это время ушла к другому. Петров женат не был. Сын Иванова за это время, пока отец сидел, украл в универсаме вначале четыре бутылки вина, а потом пять, но во второй раз был задержан при выходе из магазина и приговорен к лишению свободы сроком на три года. Задержал сына Иванова сын Сидорова, который, пока отец сидел, вступил в народную дружину. Были ли дети у Петрова, неизвестно.

Нужно отметить, что универсам в г. Макарьева строили пять лет и здание получилось красивое.

Погробиное описание состояния Мухина после того, как у него в квартире отключили горячую воду, а спустя некоторое время — холодную

После того, как в квартире у Мухина отключили горячую воду, его кровеносные сосуды сначала сузились, а потом расширились, тонус их стенок снизился, кровоток замедлился, возник венозный застой, кожа Мухина стала синюшно-красной, а на ощупь холодной, самочувствие ухудшилось, появилась слабость, а потом разбитость, но он преодолел себя, показал характер, занялся обмыванием и обливанием, а потом обтиранием и обертыванием, применил водолечение, почувствовал свежесть, испытал бодрость, усилил работу сосудистой системы, а также сердца и легких, повысил обмен веществ, а также кровяное давление, возбудил нервную систему, увеличил потребление кислорода, укрепил мускулатуру стенок сосудов, ускорил кровоток, кожу сделал розовой, а на ощупь теплой, установил дома ванную, а потом душ, купил тренировочный костюм, а потом пальто, много гулял один, а потом с девушками, часто прополаскивал рот, а потом глотку, усилил слюноотделение, стал пить мелкими глотками фруктовые, а потом и овощные соки, сначала газированную воду, а потом и чай, но после того как, спустя некоторое время, у Мухина в квартире отключили и холодную воду, у него упал вес, увеличилась вязкость крови, повысилась температура, участился пульс, возникло чувство жажды и тошноты, снизилась работоспособность, испортился характер, в организм перестали поступать в нужном количестве йод, железо, медь, цинк, марганец, кобальт, молибден, селен, никель, олово, хром, кремний, фтор, ванадий, а также валин, лейцин, изолейцин, лизин, аргинин, фенилаланин, гистидин и триптофан, и Мухин наверняка погиб бы, но как раз в это время дом Мухина пошел на капитальный ремонт и он переехал в другую квартиру. Необходимо отметить, что формы существования воды очень разнообразны: она может быть получена не только из водопровода, но и из реки, лужи, колодца, родника, озера, дождя, снега, града, льда, тумана, а также облака.

Морские птицы и зеленые архипелаги

В Ленинграде на Васильевском острове в доме номер четыре по девятой линии в коммунальной квартире живет семья Сергеевых: Вера Петровна, экономист, дочь Валя, студентка, муж

Александр Павлович, поэт. Напротив семьи Сергеевых живет семья Петровых: Иван Васильевич, слесарь, жена Нина Семеновна, инженер, сын Коля, поэт. Рядом с семьей Петровых живет семья Тимофеевых: Павел Федорович, бухгалтер, отец Федор Иванович, пенсионер, мать Марья Петровна, поэт. Напротив семьи Тимофеевых живет семья Николаевых: Наталья Семеновна, уборщица, муж Василий Сергеевич, буфетчик, дочь Галя, поэт. Рядом с семьей Николаевых живет семья Семеновых: Сергей Иванович, официант, отец Иван Ильич, инспектор, жена Валентина Алексеевна, поэт. Напротив семьи Семеновых живет семья Андреевых, все поэт.

На широте Ленинграда на Аландских островах в Балтийском море у входа в Ботнический залив весной отдыхает много птиц. Особенно красивы турпаны. После прилета на гнездовье поздно вечером или рано утром самки, за которыми следуют самцы, летают широкими кругами над водой и ведут свои брачные игры.

Интерлюдия в дождливую погоду

Я подошел к приемному пункту сдавать бутылки.
— Я буду за вами, — сказал я человеку, стоящему в очереди последним.

— Возможно, — ответил он.

— Мне повезло с соседом, — сказал я.

— Пожалуй, — ответил он.

— Сразу видно интеллигентного человека, — сказал я.

— Возможно, — ответил он.

— Сейчас все норавят влезть без очереди, — сказал я.

— Пожалуй, — ответил он.

— У вас много бутылок, — сказал я.

— Возможно, — ответил он.

— Вы, наверное, недалеко живете, — сказал я.

— Пожалуй, — ответил он.

Говорить больше было не о чем. Настроение было скверное. Накрапывал дождь. Судя по прогнозу, в ближайшее время ожидалась неустойчивая погода с кратковременными дождями.

Погробиное описание состояния Мухина после того, как он принял одну таблетку барбитуратов, а спустя некоторое время — вторую

После того, как Мухин принял одну таблетку барбитуратов, в связи с тем, что его не удовлетворяла глубина своего сна и недостаточная его продолжительность, он облегчил свое засыпание, но деформировал структуру сна, подавил некоторые его стадии, в частности стадию быстрого сна, стадию сонных веретен и свой дельта-сон, поэтому на утро Мухин встал с тяжелой головой, но взбодрил себя крепким кофе, разумно организовал труд и отдых, стал соблюдать диету, заниматься физкультурой, совершать прогулки перед сном, спать с открытой форточкой на жесткой постели, принимать теплые ванны и не есть на ночь, но однако, спустя некоторое время, он обнаружил, что структура его сна еще более деформировалась, сон стал поверхностным, ночью Мухин не находил себе места, во сне его не оставляли тяжелые мысли, стадия глубокого сна резко сократилась, а в стадии дремоты началась активная психическая деятельность, субъективные ощущения тесно переплелись с действительными расстройствами и усилили друг друга, но после того, как Мухин принял, некоторое время спустя, вторую таблетку барбитуратов, он вообще перестал просыпаться, температура его тела снизилась до нуля, приостановилось дыхание, прекратился обмен веществ, Мухин свернулся в клубок, перестал реагировать на окружающее, прекратил психическую деятельность и впал в анабиоз.

Некоторые люди в летаргическом сне проводят много лет и при этом видят сны.

Уличная сценка в одиннадцать строк

На улице ко мне подошел человек и спросил, можно ли мне доверять.

— Конечно, — ответил я.

— Как трудно найти человека, на которого можно положиться, — сказал он.

— Несомненно, — ответил я.

— Я считаю, что мне здорово повезло, — сказал он.

— Так оно и есть, — ответил я.

— Желаю всего наилучшего, — сказал он, пожал мне руку и ушел.

Я долго смотрел ему вслед и потом ушел тоже.

Уличная сценка в тринадцать строк

На улице ко мне подошла женщина и спросила, который час.

— Уже поздний, — ответил я.

— Так трудно в такой час найти человека, которому можно доверять, — сказала она.

- Несомненно, — ответил я.
- Вы производите впечатление надежного человека, — сказала она.
- Так оно и есть, — ответил я.
- Я считаю, что мне здорово повезло, — сказала она.
- Конечно, — ответил я.
- Желаю всего наилучшего, — сказала она, пожала мне руку и ушла.

Я долго смотрел ей вслед и потом тоже ушел.

Уличная сценка в две строки

На улице ко мне подошла собака, повяляла хвостом и ушла.
Я долго смотрел ей вслед и потом тоже ушел.

История строительства гаража в г. Макарьеве

Утром в понедельник шофер макарьевской станции скорой помощи Сидоров пришел на работу к восьми. Взялся обеими руками за скобу ворот гаража, чтобы открыть их, но закричал и умер здесь же на месте, пораженный электрическим током. Гараж приказал построить директор макарьевской станции скорой помощи Тимофеев, который после указанного случая прожил еще три года, но потом напился в своей квартире вместе с начальником районного строительного управления, строившего гараж, Петровым, вышел, чтобы покурить, в окно вместо двери, упал и разбился. Петров поехал через пять лет вместе с директором института, проектировавшего гараж, Волковым по путевкам для номенклатурных работников в Ялту и там утонул. Волков через полгода застал у себя дома свою жену в интимной обстановке вместе с монтером Ивановым, делавшим в свое время проводку в гараже, расстроился и умер от инфаркта. Иванов прожил еще долго, но в старости страдал рассеянным склерозом и называл своего соседа по квартире Васильевым, с которым в детстве учился в школе. Васильев, работавший на кладбище могильщиком и похоронивший шофера Сидорова, ничем не болел, хотя ежедневно пил портвейн, который покупал в магазине, сразу после его открытия в одиннадцать часов. О соседе Иванова по квартире, которого он ошибочно называл Васильевым больше ничего не известно. Такова история строительства гаража в городе Макарьеве.

Подробное описание состояния Мухина после того, как у него спросили, который час, а спустя некоторое время отняли часы

После того, как Мухина остановили на улице и спросили, который час, он стал дрожать, начал выделять много тепла, артериальное давление у него резко изменилось, начала развиваться гипертония, а также стенокардия, появился гастрит, а также колит, Мухин стал внутренне напряжен, а внешне пассивен; у него появился лишний вес, он стал стыдиться своего тела, но поверил в себя, укрепил нервную систему, применил аутогенную тренировку и релаксационную гимнастику, саморегулировал свой организм и расслабил мышцы, утратил нервозность, дал отдых телу, встал в очередь на водные процедуры и сел на диету, начал лечиться травмами, укрепил позвоночник, стал разумно управлять жизнью своего тела, тренировать мышцы и суставы, попеременно сосредотачиваться и расслабляться, соблюдать гигиену и слушать кантату номер два Баха, но после того, как Мухина на той же улице, спустя некоторое время, опять остановили и отняли часы, он совсем перестал интересоваться окружающим, совершенно прекратил следить за временем, окончательно потерял интерес к своей внешности, перестал принимать пищу, лег на спину и умер.

ALEA TACTA EST

Сидоров, Волков, Васильев, жена Тимофеева, Петров, француз, Иванов, Мухин — все они, представители типа хордовых, подтипа позвоночных, класса млекопитающих, подкласса плацентарных, отряда приматов, семейства людей, рода человека, вида разумного — все они, заселившие всю землю, спустившиеся вглубь океана, взобравшиеся на вершины гор, проникшие в околоземное пространство, вступили в игры с природой. В результате этих игр Сидорова поразил электрический ток, Волков утонул в Черном море, Васильев стал могильщиком, жена Тимофеева ушла к другому, Петров украл бутылку вина, француз женился на туамотянке, Иванов вышел покурить на лестничную площадку, Мухину выбили зуб. В результате игр происходят так же землетрясения, наводнения, цунами, сели, бури, ураганы, оползни, обвалы, пожары, снежные заносы, лавины, засухи, дорожные происшествия, гражданские войны, семейные сцены, передвижения по службе.

Игра идет, из-за стола не выйти, жребий брошен!

понимания ситуации, но каждый работает на свой страх и риск, в одиночку — в городе, разумеется, изоляции (там Друг Друга знают очень не приблизительно), не на голом месте, но, тем не менее, создавая собственную, для себя систему; в результате — и это не парадоксально — образовалась система общая. Все это уже ослабляет жизнь потенциальному читателю.

Вторая причина: эта литература не входила постепенно, по мере накопления текстов, в общекультурный контекст; читатель не имел возможности привыкнуть к ней, постепенно вникнуть в существо процесса. Все это (а написано очень много) не печаталось. Почему? Небезынтересно было бы узнать у неуубликаторов их reasons: что лично они там опуцали такое? Впрочем, вопросы подобного рода задавать еще рано. Теперь тексты начинают появляться в печати (в «Роднике», например, помимо прозы А. Бартова и поэзии С. Стратановского из этого номера, были опубликованы рассказы Е. Звягина, Б. Ашленко, стихотворения Т. Щербины, Е. Шварц, будут — тексты В. Кривулина, В. Аристова). Означает ли это, что литература вышла, наконец, из подполья своего «несуществования»? Нет, пока нет. Некий критический рубеж еще не преодолел, в своей целостности и сути эта литература опознана быть еще не может, и потому чуть ли не каждая публикация порождает субъективные, как правило — поверхностные определения или сопроводительные комментарии: вроде моего, не Адроставшего даже до описания хотя бы ландшафта этого разнообразного и непросто мира.

АНДРЕЙ ЛЕВКИН

В последнее время возник обычай сопровождать публикации крайками определениями рода: «ироническая поэзия», «игровая проза», «экспериментальный рассказ» (или, вот, общая подборка десяти поэтов оформлена политехнически, в высшей «испытательной стенде»). В самом начале нет ничего зазорного, вспомним хотя бы «Стихотворения, присланные из Германии», но любопытны причины подобных мероприятий: что, оснащаемые определениями тексты написаны лет сто назад или в Южном полушарии? В общем-то, почти так. Как правило, подобным образом маркируются тексты «литературы несуществующей» или «неизвестной литературы», чей характер отнюдь не читателем поллю выражен в эпиграфах, литературных, представителем которой уже и тридцать и сорок.

Крайне упрощая ситуацию, можно свести причины разьяснительной работы с читателем к двум основным. Первая: литература должна обновляться. Это необходимо объективно и, несмотря на крайне неблагоприятные внешние условия, к концу семидесятых в этот процесс были вовлечены уже многие. При этом, как всегда при возникновении новых методов и обновлении инструментария, неизбежна изгнательная растерянность окружающих: даже при максимальной благожелательности публикаторов и читателей к возникшему, скажем, течению, им требуется время разобраться — что там к чему? Случай же «неизвестной литературы» характерен и тем, что ее участники не разблалась на Аве-три группы, но весьма рассредоточены. Между ними существует общность

СЕРГЕЙ СТРАТИНОВСКИЙ
ИЗ ЦИКЛА «НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА В СТИХАХ»

ДЕМОН

Око крылатое, глаз
тучу пронзающий
Мощное варево-око
Хищное око-огонь,
взгляд светотелого зверя
На ландшафт непорочный,
на девичегрудные горы.
Страшно над жизнью пары
Жить,
и не лучше ли бесом болотным
Девок за банькой пугать
И по ночам воровать
Мясо из божьей кастрюли.

Школьным наркологом
честно работал три года
Пьющих подростков лечил
трезвости жизни учил
Долго б работал еще
да сгубили проклятые бабы
Сексологичка — подлюга
с экологичкой — подругой
Невзлюбили меня
и донос настроичили начальству
Обозвали облыжно
противником жизни, аскетом
Обвинили в подрыве
родной биосферы, мерзавки.

Некуда стало бежать
все дороги в леса перекрыты
Экологической стражей,
а пропуск на вход в биозону
Древошумящую
только за взятку дают.

К смерти счастливой
в научно оправданной битве
В лингвояска ноосферы
призваны мальчики лбастые,
Строем стоят
и сверкающе-жалящий логос
Слово убойное
демонстрирует им лейтенант.
«Сим победишь, — говорит, —
супостата, врага ноосферы
Недруга пленки духовной
покрывающей нашу планету
Сим истребишь, — говорит, —
или жмуриком ляжешь, салага».

Осень . . . осень
списанные компьютеры
Мокнут в полях под дождем
Можнет лес золотой
на ландшафтных щитах нарисованный
Лес шумевший когда-то
в этих печальных местах.

Вот Гнильпроеветуголок
кладбища новосельного
Гниль-огонек,
вечерами
Здесь собираются жмурики
смертожители местных могил
Посмотреть в телевизоре
розыгрыш черепа . . . матч
Вспомнить попойки гнилушные
бормотушно-багровые ночи
Вспомнить, вздохнуть и вернуться
В Червогриб многоместный
растущий сквозь недра земли.

ФЕДОРОВ-АРМИЯ

Видишь как Федоров-армия
марширует в своей униформе
Бьют барабаны ее.
Это идут воскресители
инженеры искусственной жизни
Гнили и духа смесители
в биоколбах погосто-заводов.
Скоро появятся гости
долгожданные гости ОТУДА
Скоро воскресшие кости
переполнят общественный транспорт.

БИОАРХИТЕКТУРА

Биоархитектура:
живой инвентарь проживанья,
Джунгли растений-жилищ,
недра животных-жилищ,
Мир организмов-домов,
организмов-заводов и службищ
Всасывающих вместилищ
тысяч людей и машин.
Плачут Железо и Камень,
плачут дрожашие жертвы
Рая белкового
всепожирющей Жизни.

В день поклоненья Отцам
в парке Центральной Могилы
Мы целовались укладкой,
но пойманы были с поличным
Федоровцем участковым.

Худо охранником быть
в храме народном Главхлеба
Дразнят глаза глядоков
карнавал караваев и булок
Вот и торчишь с револьвером
охраняя румяное царство
Травоконсервный пашк
получая в награду за труд.

БАШНЯ-БИБЛИОТЕКА

Башня до самого неба
башня-библиотека
Вьющихся лестниц извины,
фолианты в размер этажей
Хмель-виноградьем увитые,
с заржавленными замками
На шумерских цепях.
Здесь чернокнижье цветущее
тайную мудрость Адама
Кто-то постигнет, вестит
и тогда остановится время
Ангел свернет небеса.

ИВАРС ВИКС

ЗНАКИ НА КАМНЯХ

ФАКТЫ И ГИПОТЕЗЫ

На обочине той из дорожек Этнографического музея, что ведет к Усмской церкви, лежит черный камень. Он невелик, и почти все посетители равнодушно проходят мимо него. Мало кто заглянет в музейный каталог, чтобы выяснить: это камень из Рундены с древними знаками.

Интерес нашего общества к памятникам «письменности» предков волнообразен — то на взлете, то угасает. Новый толчок ему дал фильм А. Эпнерса «Лиелвардский пояс», таким же толчком послужили описанные Г. Эниным загадочные рисунки на песчанике. Может быть, объяснение этому простое: не у каждого дома есть лиелвардский пояс, а рисунки на песчанике неплохо бы спрятать от публики двадцатого века.

И все же фильм о лиелвардском поясе дал положительный импульс поискам древних знаков и попыткам перевести их.

Республиканский туристический клуб в последние годы включает в планы своих мероприятий и посещение памятников старины, субботники по приведению их в порядок. Во многих районах республики возник интерес к местным памятникам старины. Если еще десять лет назад можно было по пальцам перечислить те памятники, знаки на которых созданы ранее XIII века, то теперь количество таких находок увеличилось по меньшей мере раз в десять. А такой рост количества не может не способствовать и качественному изменению исторического мышления народа.

Семь столетий латышам внушали, что они происходят от темных дикарей, не имевших никакой культуры. Археологические же находки свидетельствуют о существовании высокой технологической культуры еще до XIII века, и совершенно исключено, что она могла бы существовать без высокой духовной культуры. Вопрос о том, была ли у латышей письменность, уже не дискутируется. Теперь историки, археологи, языковеды, литературоведы республики считают, что письменность была известна на территории Латвии до XIII века.

Уцелели лишь надписи на камнях. Но кто вырубает слово на камне, тот адресует его вечности.

Вернемся к камню из Рундены. Прежде всего обращает на себя внимание его черный цвет и несколько блестящая поверхность (будто обожженная — уж не метеорит ли это?). Камень был найден случайно, когда понизился уровень воды в Аудерском озере. Это озеро находится в Лудзенском районе, возле поселка Рундены. Камень был привезен в музей пятьдесят лет назад. На первом снимке вы ви-

дите фрагмент начала надписи. Знаки выбиты в два ряда. Местами они выкрошились, что допускает возможность разной интерпретации. Справа знаки как бы угасают.

Попытки расшифровать эти знаки на камне как сообщение оказались безуспешными. Знаки не соответствуют ни одному из известных алфавитов древних народов. Необычайный цвет камня и вид знаков не исключают предположения, что мы имеем дело с «магическим» камнем, а знаки могли бы повествовать о связанных с ним ритуалах. Сразу нужно заметить, что нельзя переводить древние знаки, исходя из опыта человека двадцатого века и его эгоцентрических позиций. Мы добьемся успеха только в том случае, если попытаемся понять культуру и психологию предков. В порядке тренировки взглянем во вторую репродукцию. На ней — изображенный Артуром Залстерсом камень из Упсиши и знаки на нем.

Этот камень находится в Талсинском районе, в четырех километрах к юго-востоку от Видале, в болотистой березовой роще, в полукилометре от хутора «Упсиши», в километре от подножия Синей горы в Слитере. Он возвышается над землей на 2,6 метра, шириной он 5,5 м, длиной — 3,8 метра. Весит около 120 тонн. Удивительно то, что болотистая почва не засосала камень. Его нижний край лишь на несколько десятков сантиметров ушел в почву. Первым обратил на это внимание исследователь латвийской старины А. Залстерс. Под его руководством камень исследовали, и оказалось, что он покоится на двух опорных камнях. У всякого, кто мыслит логически, возникает вопрос: неужели это лишь игра природы? Если внимательно взвесить факты, то куда реальнее покажется мысль, что это дело рук человеческих.

В 1846 году в Москве была издана книга профессора Фридриха Крузе о скандинавских обычаях X века. Своих героев, павших в бою, они сжигали, а пепел развеивали над морем или хоронили. В месте захоронения вкапывали два камня, а на них водружали третий.

Надо заметить, что эти огромные камни не ставились как попало. Об этом свидетельствуют «чертовы лодки» — особой кладкой сложенные камни. Они всегда указывали путь душе покойника, чтобы она могла попасть к душам предков.

Камень в Упсиши ориентирован в направлении северо-запад — юго-восток. Если продолжить эту линию на северо-запад, она уткнется в Упсалу, старый шведский город. Не правда ли, между названиями

города и камня с близлежащим хутором есть сходство?

На камне вырублены знаки. Похоже, для этого и орудия использовались каменные. Вот что сказала об этих знаках сотрудник Института истории СССР Академии наук СССР Е. Мельникова: «Судя по фотоснимкам, эти знаки высечены намеренно, это не случайные углубления». Это не алфавитные знаки. Это так называемое идеографическое письмо, когда одним знаком передается целое слово или понятие. Если собрать воедино известные нам факты, то приходишь к мысли, что знаки на камне из Упсиши рассказывают о путешествии и гибели какого-то древнего героя.

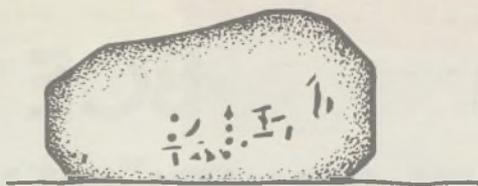
Гипотезу о том, что этот камень установили люди, А. Залстерс выдвинул в 1982 году. Тогда ее отвергли — считалось, что наши предки более тысячи лет назад не умели перемещать такие тяжести. Сегодня на территории Латвии известно множество тяжелых камней, в том числе и тяжелее камня из Упсиши, которые воздвигнуты нашими предками.

В результате огромной многолетней работы валмиерский краевед О. Озолиньш и писатель А. Гоба совершили открытие, имеющее большое значение для изучения древней культуры Латвии. Их исследования на горе Битарина в Вийциемсе (Валкский район) привели к открытию неизвестного до сих пор памятника древности — старинного святилища. Такие святилища представляют собой ряды камней, стоящих в определенном порядке. Сегодня уже с достаточной уверенностью можно утверждать, что такие или похожие святилища имелись поблизости от всех населенных мест, к тому же их функции были довольно широки — и культовые, и астрономические, и календарные. На третьем снимке вы видите наиболее часто встречаемый тип святилища. Порядок расположения знаков не подразумевает алфавитного принципа. Знаки первого ряда состоят из прямых линий, второго — из комбинаций прямых и изогнутых линий, в третьем — только изогнутые линии. Похожие «надписи» можно встретить во всех уголках земного шара, и их происхождение очень древнее. Но и эти знаки не имеют отношения к алфавиту, а скорее символы. Думаю, что определенная информация заключается в том, где эти знаки найдены, в их ориентации и расположении окружающих камней.

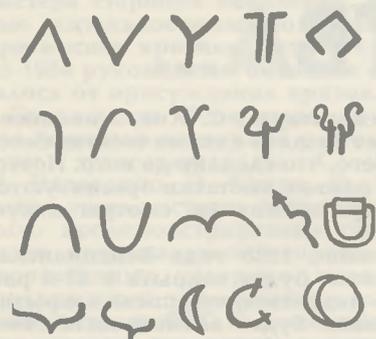
В завершение — еще более серьезное заявление. Знаки на четвертом снимке украшают камень в четырех километрах к северу от Руены, между Кёни и Унгурины.

A Q A A C A W A
 J L L L L L L L A W

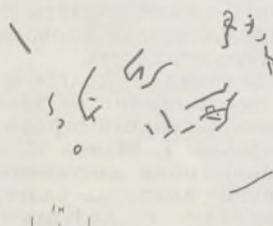
Знаки на камне в Рундены



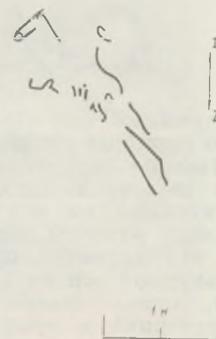
Большой камень из Упсишей. Знаки на северо-восточной стороне.



Знаки на камнях святилищ



Знаки на камне в окрестностях Руены



Удивителен прежде всего сам камень. Он напоминает огромный каменный диск, вроде тех, что используются на спортивных состязаниях со времен Древней Греции до наших дней. Высота камня — 4 метра, ширина — 3,5 метра. Но огромный диск не лежит на земле, а стоит на пригорке, опираясь на узкий край. Если посмотреть, стоя у подножия пригорка, то заметно, что камень не ушел в землю, а опирается на другие камни. И становится страшновато, как подумаешь, что эта махина вдруг пожелает принять более естественное и устойчивое для себя положение. Когда сверху свалятся двести тонн — это не шутка.

Нижняя часть камня напоминает огромный широкоугольный конус, вершина которого скруглена. Похожие грубо обработанные каменные столбы, так называемые менгиры, часто встречаются в Европе. Считается, что их воздвигали примерно 4—5 тысяч лет назад. Очень возможно, что это сделано по приказу какого-то повелителя, потому что названия ближайших населенных мест Кёни и Унгурины очень близки древнему и хорошо известному скандинавскому слову «Кёп-ингр». В латышском языке ему соответствует слово «Кёпиņс».

И на этом камне еще можно разглядеть древние знаки. Их изучали краеведы из Руены под руководством Лаумы Дайги и Яниса Ландратса. Знаки группируются главным образом в двух местах. На четвертом снимке с правой стороны в верхнем углу видны знаки, находящиеся на наклонной поверхности камня, которая обращена к северо-востоку, главным образом в своей верхней части. Вторая группа знаков, в левом нижнем углу, расположена на «вертикальной» поверхности, обращенной на юго-запад, юг и юго-восток. На иллюстрации рисунки как бы образуют обозримую и пространственно организованную поверхность. Поскольку знаки сильно выкрошились, не исключается возможность, что часть когда-то вырубленных знаков не замечена (а может, и исчезла навеки).

и что часть изображенных линии природного происхождения.

Иные из этих знаков видны не только на большом дискообразном камне, но и на меньших камнях, окружающих его, расположение которых напоминает посторонние святилища.

И эти знаки тоже идеографические. Многие похожи на встречающиеся в других уголках Латвии, да и всей Земли, знаки. Это вселяет надежду. По мнению гулбенского краеведа Ольгерта Миезитиса, необычный камень символизирует солнечный диск. Знаки могут указывать на путь Солнца. На верхнем изображении в группе знаков кружок (знак Солнца) находится между двумя параллельными линиями. Видимо, это указывает на место заката Солнца в какой-то определенный день.

Другой знак Солнца виден в нижнем углу. Возможно, он указывает на место заката во время зимнего солнцеворота. Знак Солнца повторяется и на меньшем камне, стоящем в 24 метрах от большего, под 250° по азимуту. Повторяются на небольших камнях и другие знаки. Читатель мог заметить, что уже в публикации Г. Эниньша о древних знаках-узорах встречаются упоминаемые в этой статье знаки.

Надписи на камнях имеют огромное культурно-историческое значение. Хранимая ими информация в некоторых случаях, возможно, на два-три тысячелетия старше хроники Генриха Ливонского.

Тысячелетиями наши предки относились к святилищам и надписям на камнях с величайшим уважением. Старики не раз мне рассказывали, что их отцы порой, пусть терпя голод, все же не трогали этих мест и не обрабатывали там землю.

Наступил двадцатый век. Бум информации. Боевой клич: «Долой старушечьи сплетни! Громи! Производи!» И вот, что ни год, в Латвии уничтожается огромное количество неразгаданных (и официально не признанных) святилищ и камней с надписями. Вот только наблюдения последних лет. В Лиепайском районе мелиорирована

гора Криву (Криву) в Эмбуе. Из множества камней остался лишь один — центральный камень святилища, который мелиораторы водрузили на вершине как символ своей трудовой победы. Неподалеку находится гора Верес, надо полагать, одно из древнейших святилищ Латвии. И там уже орудует бульдозер.

Великолепная аллея священных камней была в окрестностях Даугули (Цесисский район). Дорогу расширяли — и вот все камни уничтожены. Только два камня с надписями уцелело напротив школы. Такие примеры заняли бы несколько страниц.

Люди добрые! Почему «образованные» люди двадцатого века ведут себя как настоящие вандалы? Чья вина? Мелиораторов, строителей, дорожных рабочих винить вроде бы не в чем. Они же ничего не знали. Районный инспектор по охране памятников? И он вроде ни при чем — в его списках этих камней не было. А кто виноват? Ответил на этот вопрос Андрис Бергманис в третьем номере журнала «Авотс» за 1987 год. Виновато Министерство просвещения, которое не предусмотрело уроков краеведения в школах, виноваты те редакторы газет и журналов, которые охотнее публикуют статьи про Северный и Южный полюс, чем про Латвию. А юридически они безупречны, потому что Уголовного кодекса не преступили.

Как сохранить то, что еще уцелело? Ведь вандалы действуют и не унимаются. И опять ведь не окажется виновных!

Найти принципиальное решение пока невозможно. Но есть одна реальная идея — устроить в Этнографическом музее макет святилища. Для него можно использовать камни из нарушенных святилищ, кучи которых, например, можно обнаружить в Селпилсе Екабпилсского района, у хутора «Эзерниеки», в поселке Буртниеки Валмиерского района, у хутора «Калиеши» и в других местах. И каждому из нас стоило бы внимательно приглядеться к камням, мимо которых проходим, особенно, если их предполагается перевезти в другое место или уничтожить.

ВСЕ ЕЩЕ КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ СМОТР ИСКУССТВА...

Еще несколько лет тому назад мне казалось, что периоды расцвета литературы Италии следует искать еще раньше шедевров, созданных мощными титанами ее искусства. Сегодня я кладу руку на сердце и утверждаю, что происходящее сегодня в культурной жизни Италии фантастично, снова фантастично. (Наверное, историки и профессиональные исследователи культуры сумеют обосновать, почему на Апеннингах наблюдаются такие приливы культуры, одновременно отметить и теневые стороны этого феномена.)

Можно пытаться оградить себя от потока информации по изобразительному искусству, но и тогда трудно избежать такой же массы информации о театре, кино или литературе, которая «заставила» прочитать роман знаменитого итальянского семиотика Умберто Эко «Имя розы» и остроумные пьесы Дарио Фо. Италия порадовала мир своей модой и указала новые пути дизайна при помощи удивительных творений своих многочисленных «постмодернистов». Италия славится в мире выдающимися театральными и кинорежиссерами — гуманистами. И те самые кинокритики, которые обвиняют Канни и Западный Берлин за продажность доллару и средств

вам массовой коммуникации (СМК), продолжают считать Венецианский кинофестиваль проводником настоящего искусства.

Венеция... Долгое время ее образ казался овеянным гнетными запахами лагунного города (такова сила новеллы Т. Манна «Смерть в Венеции»), пока постепенно не обрел другие контуры, благодаря яркому шестистию с лозунгом «Авангард умер, да здравствует трансавангард!» Кризис авангарда и «реабилитация» живописи, первый — печальный, а вторая — изумительная в своей южной красочности.

В начале 80-х годов в Италии было «открыто» новое направление живописи — трансавангард. Концепция трансавангарда ясно была сформулирована в манифесте его «идеолога» А. Бонито Оливы, где в виде альтернативы авангарду было выдвинуто гедонистическое творчество, доставляющее наслаждение как художнику, так и зрителю. И начиная с 1980 года, на крупнейшей международной художественной выставке — Венецианской биеннале — укрепилась новая художественная традиция, направленная на осознание ценностей европейской культуры, не обходящая вниманием и исторические корни модернизма. Как выразился один из лидеров

трансавангарда, С. Киа, живописец может создать алхимическую смесь из всего, что сделано до него. Поэтому в рамках выставки организуются и ретроспективные смотры искусства.

В июне 1988 года Венецианская биеннале будет открыта в 43-й раз. Надо надеяться, что после закрытия выставки будет возможность своевременно информировать читателей о ее ходе. Но для того, чтобы лучше понять возникающие новые течения, может быть, стоит вкратце коснуться ее истории и предыдущих биеннале 80-х годов.

Этот грандиозный международный форум искусства существует уже 93 года, в годы войны и ввиду послевоенных условий выставка отменялась 4 раза. Параллельно выставке проходит также театральная, кино- и музыкальный фестиваль. Количество стран — участниц Венецианской биеннале в 1984 году — 33, в 1986 году — 42. СССР принимал участие сразу после Октябрьской революции, а затем после продолжительного перерыва — уже регулярно — с 1956 года.* Следователь-

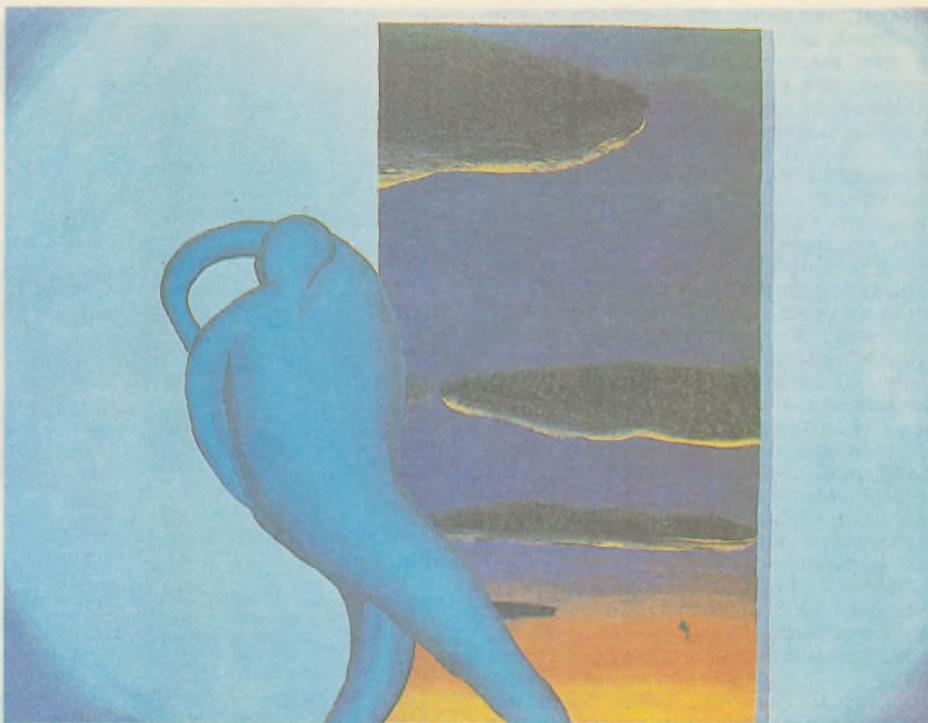
* В 1958 году на XXIX биеннале было экспонировано 11 произведений скульптора Александры Бриед; особой популярностью среди зрителей пользовалась композиция «Энтузиасты» и скульптура «Петерис».



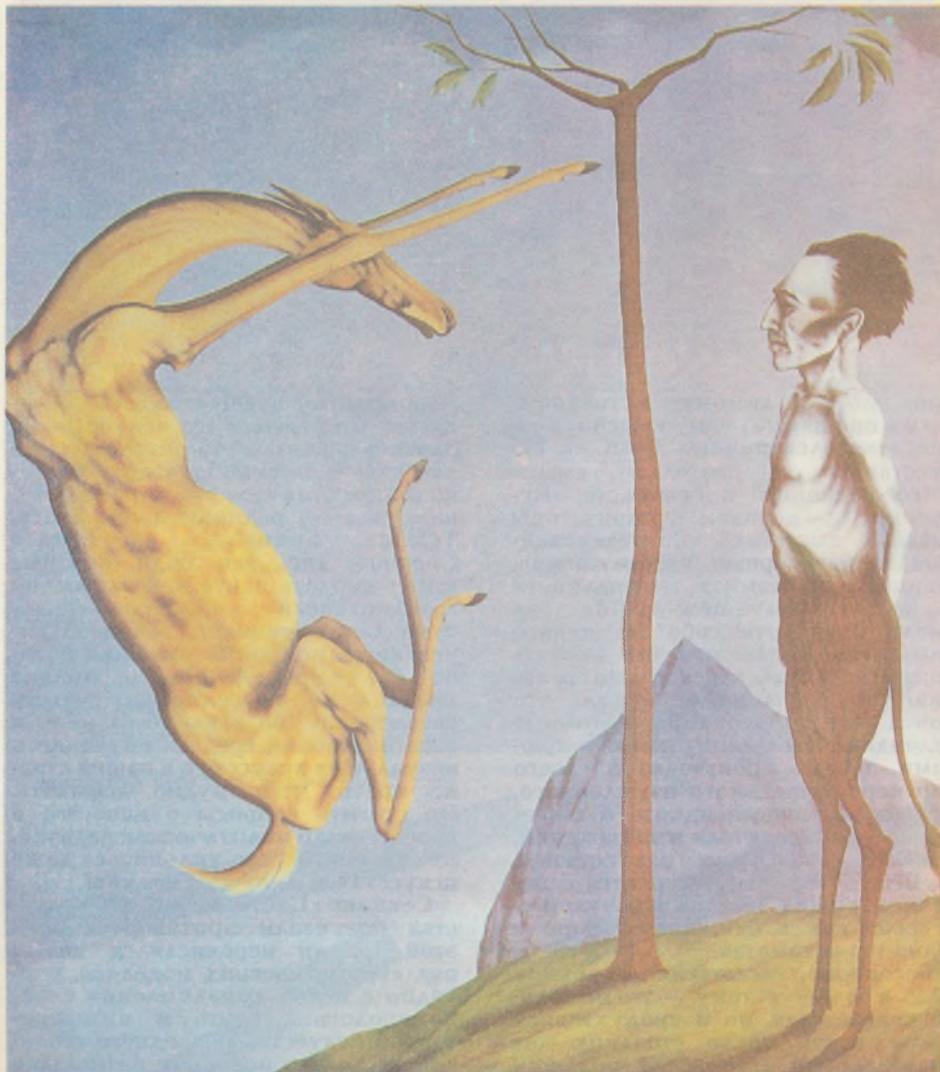
Эйрел Горник (США). Без названия (Молния и вода), 1981

но, Венецианская биеннале отражает тенденции искусства не только капиталистических, но и социалистических стран. В отличие от другой выставки современного искусства Кассельской «documenta», которую устраивают по единой концепции, Венецианская биеннале более многогранна. Следует отметить, что она все же всегда была местом экспонирования «официального» искусства разных стран. Grand Prix обычно получали видные мастера старшего поколения, которые длительное время пользовались признанием критики. Все же с 1968 по 1984 руководство биеннале отказалось от присуждения призов.

Если в конце 70-х и начале 80-х годов биеннале знакомила с итальянским трансавангардом С. Киа, М. Палладино, Э. Кукки, Ф. Клементе, то на выставке 1982 года уже было продемонстрировано своеобразие национальных направлений. Европейскими лидерами, наряду с итальянскими художниками, стали живописцы из ФРГ. Новое направление, следуя традициям немецкого экспрессионизма, здесь получило название «новых диких». «Возрождение» живописи продолжается и в творчестве американских «граффитистов», и во французской «свободной фигуративной», и в интел-



Джед Герет (США), Страх перед природой. 1980



Дэйвид Тру (США), Заточение. 1981

лектуальной и символичной «культурной» живописи. Холст вернул себе свое обычное значение как самое подходящее место для проецирования душевных коллизий и визуальных фантазий, и даже пластическое искусство стало «субъективным», с сильным повествовательным элементом, с использованием декора и чувства пространства постмодернизма в игровом смысле.

Хотя, например, в 1987 году в Кассельской «documenta» главные акценты были сделаны на пространственных структурах, однако, мифологический дух искусства снова неоспоримо присутствует и в живописи. Правда, здесь понадобилось бы отдельное исследование — действительно ли новое в искусстве открыло и мифы новейших времен, ибо начало культового искусства, когда оно становится средством мифологических исследований, следует искать в 50-х годах, в период героического экзистенциализма.

Стоит вкратце задержаться на последней Венецианской биеннале 1986 года, на которой, как указали многие известные критики, не было недостатка и в трудноразрешимых противоречиях.

Тема выставки — «Искусство и наука» — была достаточно широкой, чтобы во всех помещениях национальных выставок могли быть устроены экспозиции по собственному усмотрению. Вся большая выставка охватывала 7 секций, где было представлено 2500 произведений более чем 600 художников. Когда в 1983 году была утверждена тема этой биеннале, казалось, что эта выставка возвестит о переломном этапе в художественной жизни, явится синтезом научных знаний нашего времени, переоцененных с точки зрения художника. Выставка в

целом получилась относительно пестрой, но это позволило экспонировать вместе произведения художников, чей возраст в основном превышает 50 лет, принадлежащих к разнообразнейшим направлениям искусства и сильно различающихся по качеству. Существенный недостаток выставки — сотни зрителей без путеводителя и без какого-либо руководства не могли ориентироваться в этом разнообразии, начиная с экспериментов в пространстве, выполненных художниками Возрождения до поисков живописцев модернизма, от «Wunderkammer» («Комната чудес») 17 века до экспериментов художников — наших современников с компьютерами видео и лазерами.

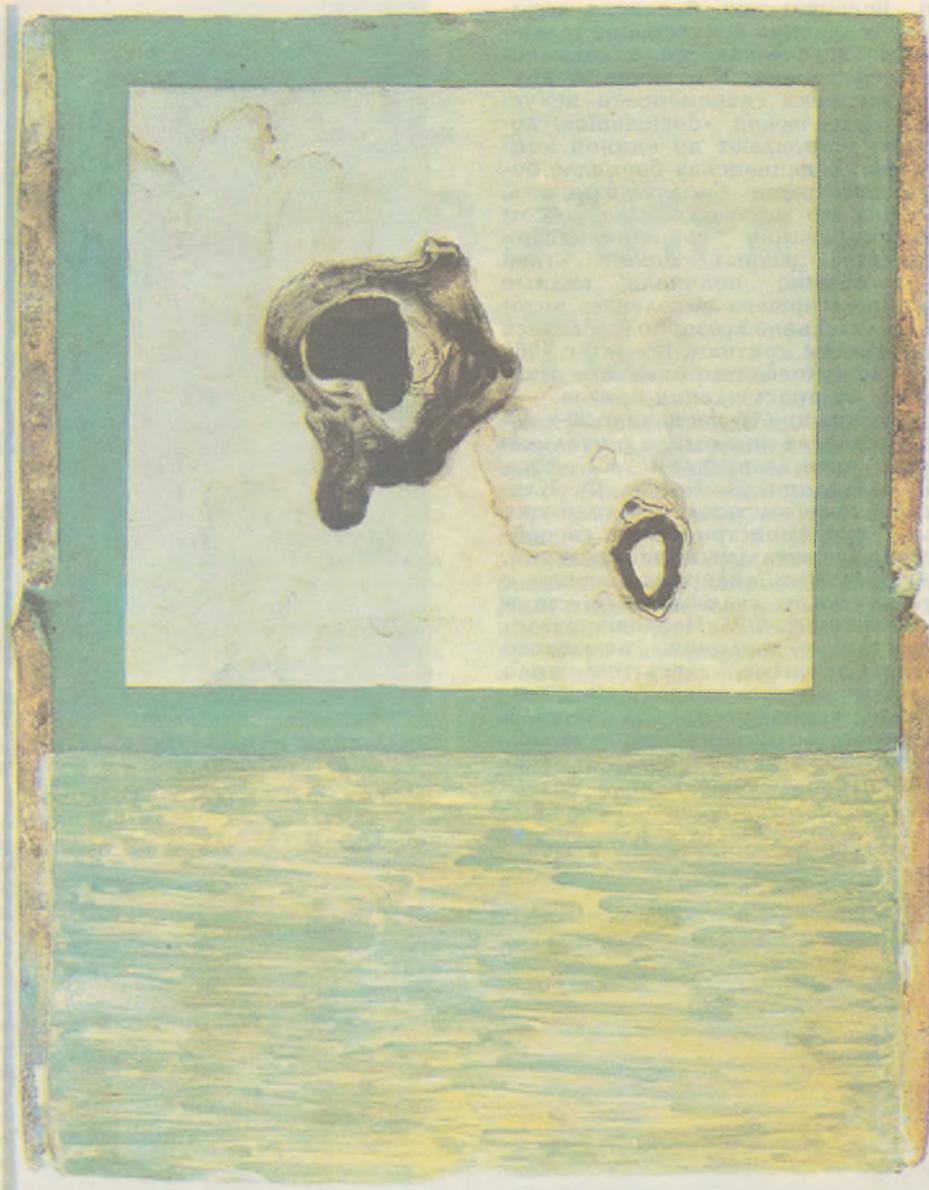
Девизами отдельных секций определялась тематика размещенных здесь выставок: «Пространство», «Цвет», «Технология и форматика», «Искусство и биология», «Искусство и алхимия», «Wunderkammer», «Наука — помощник искусства». Многим самой убедительной казалась последняя из названных выставок, размещенная в зале Академии рядом с полотнами Тициана, Тинторетто и Тьеполо; здесь было показано использование компьютеров и других электронных устройств для реставрации произведений искусства, а также для их каталогизации и исследования.

О том, что на сей раз на биеннале не будет недостатка в технической утонченности, свидетельствовало уже то, что у главного павильона посетителей встречал дымящийся монументальный объект. На цилиндрическом цоколе поднималась растрескавшаяся фигура бронзового юноши, без головы и без рук, зато с крыльями... Его бедра обвивала сильная струя дыма, как от садового гриля. Название этого монстра «Рождение Эроса», ее автор И. Миторай, поляк, проживающий в Париже. Символическое значение скульптуры однозначно: при осмотре сзади бог любви оказывается голым, и его искусственно «подтапливают» через печную дверцу в цоколе. Девиз «Любовь — это знание» позволил включить эту скульптурную работу в общий контекст выставки с утверждением, что искусство, наука и жизнь все-таки имеют точки соприкосновения.

Историк искусства М. Кальвези, руководитель биеннале, постулировал «открытый и жизненный, ни в коем случае не педантичный подход к многогранной и противоречивой проблематике». «Искусство может определенным образом, параллельно науке, признавать действительность, но оно может и освободиться от любой точной методички и обратиться к тайственным учениям, оно может использовать науку или быть ее объектом».

В секции «Технология и информатика» бесспорно господствовали концерны СМК. Но после первых вздохов восхищения — по поводу потоков цвета, струящихся по десяткам экранов, где были использованы разнообразнейшие комбинации звука и цвета, музыки, электронных шумов лазера и др. зрителю

Доменико Бианки (Италия), Без названия, 1986



приходилось самому истолковывать: прекрасно или ужасно воздействие электронных СМК на искусство, и следовательно, смысл всего поданного в контексте «Искусство и наука». Организаторы раздела выставки «Синтезированные и трехмерные изображения», например, в рамках ментальности в духе «brave-new-world», не смели позволить себе ни одного намека, который мог бы вызвать нежелательную для бизнеса реакцию мысли, например, такую, что почти все видеоклипы, которые ослепляют своими шутками и трюками, заодно производят и своего партнера, маленького изумленного, истово верующего идиота и старательного поглотителя изображений, или, как выразилась искусствовед Д. Шмит, «зритель смиряется с перечнем чужих знаний или чувствует себя как в ближайшем баре у Флиппер-автомата».

Бесспорно, включение «новых» СМК в большую тему — это не только неизбежная, но и продуктивная возможность после стольких лет «разбега» (то есть после больших

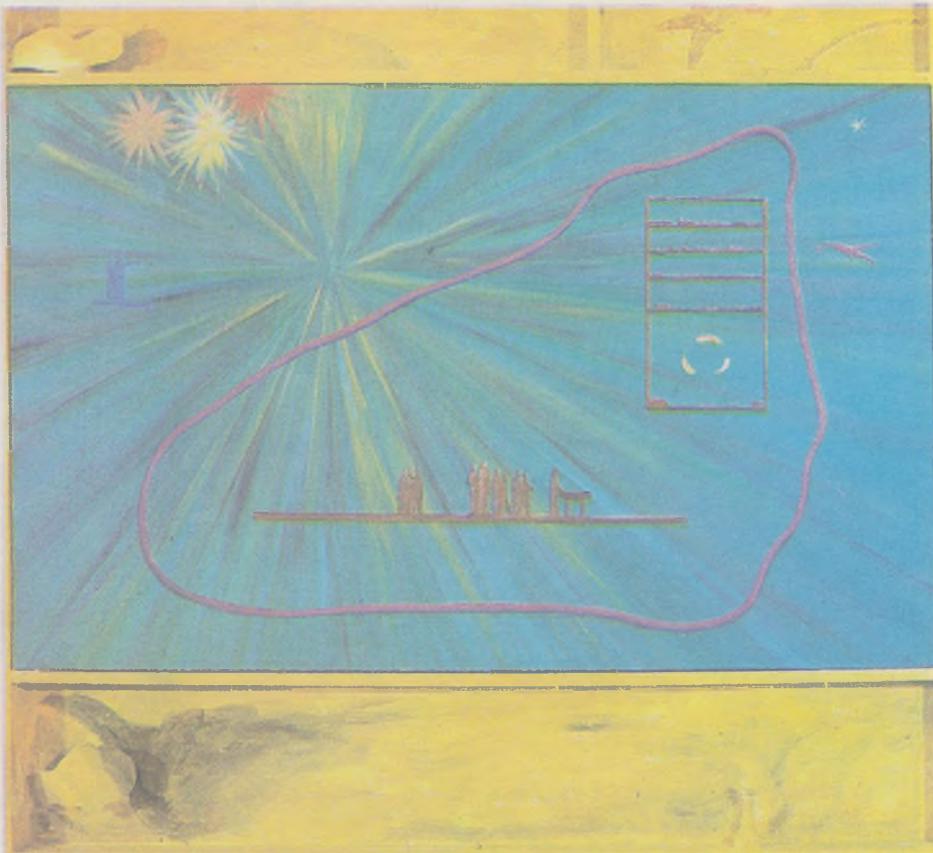
мероприятий видео-искусства и наплыва компьютерного искусства на Западе) надеяться на результаты по качеству и по смыслу. Однако организаторы этой секции скорее выступали как посредники фирм Sharp, Telefax, Sunnyvale и Apollo Computer Inc., как люди, которые могут продать нечто действительно грандиозное, и с этой целью используют даже биеннале. Такие технические возможности рано или поздно будут определять не только предложение повседневных средств развлечения, но в какой-то мере и внешний облик средств обучения и визуальных искусств и в нашей стране, против чего трудно возразить. Но ставить вопросы о качестве и смысле стало политической задачей, от которой трудно уклониться даже искусству и искусствознанию.

Секцию «Цвет» теоретики искусства оценивали противоречиво. В этой секции перечислялся целый ряд «хроматических моделей», очевидно с целью ознакомления с феноменологией цвета и интерпретацией искусства последнего столетия, которое в основном базируется

именно на цвете. Но что пользы в том, если зритель узнает, что, скажем, цветные системы могут быть классифицированы, исходя из следующих признаков: «системы, основанные на смеси пигмента и красящих веществ; системы, основанные на синтезе стимулов во времени и в пространстве; системы, основанные на моментах воздействия цветов; системы, основанные на эстетическом единстве, т. е. на критерии гармонических интервалов; системы, основанные не на определенных цветах, а на хроматических подгруппах; и т. д.» В целом вклад этой секции в биеннале так и не смог хотя бы частично разрешить самый существенный вопрос: почему в произведениях некоторых (немногих) художников цвет обретает духовное качество, а в других остается «немым», ограничиваясь иллюстративной или описательной функцией.

Секция «Искусство и алхимия» старалась оправдать свое название громадным количеством выставленных предметов. После осмотра коллекции исторически ценных рукописей посетители приходили в хранилище экспонатов, где шеф выставки А. Шварц стремился показать бесчисленное множество мастерских произведений, начиная с Клее и Кандинского и кончая Дали и Шарфом. Хотя организатор и разделил свою секцию на четыре подсекции: «Алхимик: художник, фило-

Рональд Морсен (США), Соединение цепи. 1983



Сандро Кья (Италия), Без названия. 1987

соф и художник», «Цель: примирение противоречий», «Путь: знание есть свобода», «Средство: любовь есть знание», однако зрителю пришлось в своем воображении заняться необходимой систематизацией экспонатов, что не было сделано руководителем секции.

Секцию «Wunderkammer» (название ее в Венеции так и не стали переводить с немецкого, как наиболее соответствующее для копии редкостей и диковин) характеризовало (научное?) проявление коллекционерских страстей, что наиболее метко продемонстрировала древняя металлическая фигурка демона в стеклянном стакане, успешно соперничавшая с игровым фетишизмом дадаистов и сюрреалистов.

Лишь несколько стран полностью следовали сформулированному организаторами выставки центральному лейтмотиву. У большинства связей с наукой было ровно столько, сколько их имеется у прочих проявлений позднего модернизма (у концептуального искусства, у минимального искусства, у оп-арта, у видео). Поэтому логично, что «Золотого льва» получил живописец З. Полке из ФРГ, который тему понял буквально и при помощи холстов, настенных рукописей, лаковых картинок, а также минералов инсценировал химически-физическую оперу. Один из основателей рейнского «капиталистического реализма» (один из поп-вариантов из ФРГ), З. Полке с чисто немецкой прилежностью и трудолюбием, хотя и достаточно неформально с живописной точки зрения, щедро покрыл огромные площади нитратами, окисью серебра, хлоридом кобальта, малахитом и другими



веществами: это было сделано таким образом, что химикалии реагировали на изменение влажности, температуры или света изменением цвета (однако зритель мог это воспринять в основном не визуально, а с помощью поясняющего контекста). Эти, исполненные природной мистики произведения (где бесспорно видно и влияние И. Бойса), были в полном соответствии с интерпретацией выставки научного понимания.

Но З. Полке получил лишь половину «Льва». Вторая половина досталась английскому живописцу Ф. Ауэрбаху за картины (портреты), полные иступленной жестикюляции; экспрессию этих произведений определил не только характер мазка, но и восприятие человеческого существования в духе Ф. Бэкона, великого «классика» английского модернизма.

Как З. Полке, так и Ф. Ауэрбах не являются «открытиями» биеннале — это видные и признанные в своих странах художники, и их награждение не является случайностью.

Стоит упомянуть еще нескольких художников, заслуживших между-

народное признание. Д. Бюран превратил павильон Франции в воздушный храм света и южного веселья, раскрасив его выразительно организованным узором из полос (в обновленных традициях эстетизма Парижской школы — École de Paris), используя только черный, синий и желтый цвета.

Произведения американского художника японца И. Ногуши (например, огромные бумажные фонари старались ответить на вопрос «что такое скульптура?»). Кульминация легкости его дизайна — спиралевидный мраморный объект «Slide Mantra». Среди многих художников критики часто положительно упоминали греческого художника К. Тсоклиса и австралийского живописца латышского происхождения И. Тиллерса. К. Тсоклису удалось в павильоне своей страны создать атмосферу моря — покрытый синей краской пол отражался в стенном зеркале. Или же художник при помощи проецируемого фильма «двигал» изображения написанных фигур.

И. Тиллерс обратился к отражению австралийской колониальной

ситуации в наследовании культуры. Цитируя европейские образцы, он их репродукции совмещал со своими работами.

Критика в целом была единодушна в том, что на этой значительной выставке полностью отсутствовало концентрированное направленное на проблематику введения в комплекс общих тем (хотя бы в виде дидактического путеводителя, как это принято для больших выставок в Центре Помпиду в Париже). Но если говорить о критике, не стал ли ее нож тупым в результате пропаганды, распространяемой музеями и СМК? Эта сила, возможно, наиболее опасна для современного искусства. Ибо при помощи СМК можно создать ауру искусства вокруг любой вещи, а аура, в свою очередь, создает непоколебимую веру. Создатель картины тогда приобретает второстепенное значение. И кажется уже лишним упоминать, что только в его силах изменение сегодняшней ситуации в искусстве или способствующей его статическому постмодернистскому застоянию, или обретению новой универсальной свободы.

МИХАИЛ БРАШИНСКИЙ

НЕБО «КОДАКА»

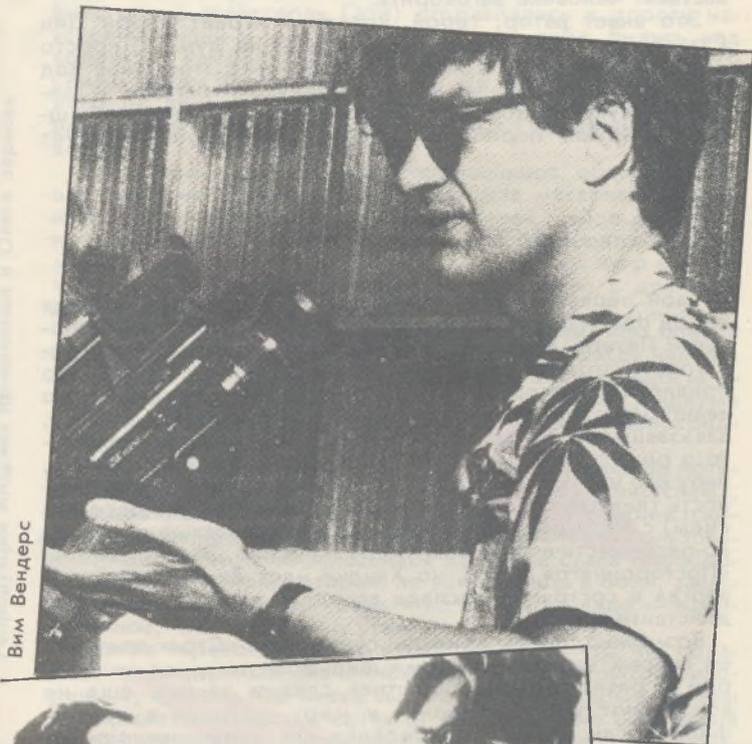
(СИЛУЭТ НА ФОНЕ ФИЛЬМА)*

Вендерс сочинил эту сказку давно.

Мальчик был на лесной полянке, да ушел с нее. Шел и встретил ежа, пошел за ним. Еж привел его к ручейку. Мальчик шел вдоль ручья, пока не набрел на мост. А на мосту был рыцарь. Мальчик пошел по мосту и вышел на шоссе. А по шоссе шли грузовики. Мальчик стал останавливать их, и один остановился. Шофер разрешил ему сесть рядом с собой, и мальчик был счастлив, потому что мог крутить настройку радиоприемника, как хотел. Так они ехали и доехали до моря. Мальчик вышел к морю и тут вспомнил, что на лесной полянке оставил мать.

Поначалу, когда актер Рюдигер Фоглер, alter ego раннего Вендерса, заводит свою монотонную сказочку для засыпающей Алисы, кажется, что мы попали в край косноязычия и скудной фантазии, лишенной перспективы, дорожных знаков, указателей и вынужденной уныло плестись по касательной к смыслу в смутной надежде когда-нибудь набрести на конец, — но это не так. Бесцельность мнимая, бесконечность — тоже, и подобно тому, как рассказ героя обретает второе, упоительное дыхание, по мере движения становится ясно, что то, что мы приняли за окружность, есть круг, и у круга есть невидимый, но властно притягивающий центр.

Эта сказка — типично вендерсовский сюжет и сколок с мира, зеркальной каплей отражающий весь мир, а этот мальчик, несомненно, — сам Вим Вендерс. Ему 43 года, он живет в Мюнхене и делает кино.



Вим Вендерс

Его мир часто слишком «красив». «Красивость» отличается от красоты раздражающей нарочитостью. Низкий горизонт и много неба, разного, больше ночного. Желтые огни городов и дорог. Даже сумерки яркие. Цвета насыщенные и неестественно «чистые» — до отталкивания, как под ретушью, «как в кино». Кино — как открытки с марками незнакомой страны. Но если это открытки, то на их оборотной стороне написано: «Милые, нам лучше больше не встречаться. Не ищите меня. Привет».

В этом пространстве ничего нет, кроме него самого. Жизнь вроде той, что можно представить себе внутри воздушного шара, из которого выпустили воздух.

Пейзаж умирает — так он живет. Смерть в двух измерениях: томные, разряженные, изматывающие белесо-желтые горизонтальные бескрайних степей; безликие, завораживающие и давящие даже своей видимой невесомостью стеклбетонные вертикали мегаполиса. Все это манит и гнетет, как мираж. И дорога, дорога туда, не знаю, куда, туда и обратно, туда, но только не обратно, ОТ — вглубь экранного полотна, за его плоскость. Только дорога — жизнь. Дурная и муторная, но — жизнь. Воздух. Ветер в лицо. Но дорога — не пейзаж, а преодоление пейзажа, отказ от фиксации, минование целлулоидной красоты.

Сняв фильм по роману Готорна «Алая буква» (реквизит, парики, костюмы), Вендерс сказал: «Я больше не могу делать картины, в которых нет автомобилей и бензоколонок, телевизоров и телефонных будок». Но мало сказать, что он поэт города и нашего дня: из телефонных будок и бензоколонок он творит загадочную метафизику пространства — его ни с чим не спутаешь, ни с чем не сравнишь, и порой, когда смотришь кино Вендерса, кажется, что все оно — только для этого и из этого. Из боли, прожитой и запечатленной в натуре. Вендерс — живописец и геометр боли.

Здесь начинается «Париж, Техас».



В. Вендерс с актрисой Настасьей Кински и актером Хэрри Дин Стэнтоном



«Хэммет»



«Париж, Техас»

* «Париж, Техас» («Paris, Texas»). Сц.: Сэм Шепард; реж. Вим Вендерс; оп. Робби Мюллер; худ. Кэйт Олтман; комп. Рай Кудер. В ролях: Хэрри Дин Стэнтон, Настасья Кински, Дин Стокуэлл, Хантер Карсон, Ороп Клеман. Пр-во ФРГ — Франция, 1984.

Человек идет по пустыне, долговязый, нескладный. Стервятник кружит неподалеку. Жажда томит человека на уже истомленной жаждой земле.

Человек молчит. Молчит тот, кому есть что сказать. Но он все забыл — человек, потерявший прошлое. Только можно ли его потерять? Человеку не дано стать Ничем. Он отказывается от мира, но мир от него никогда полностью не отказывается. Память, в сущности, — лишь пробужденные утраты. А они проснутся рано или поздно и заставят человека заговорить.

Это знает автор; герой, которого играет Хэрри Дин Стэнтон, этого не знает. Он ни о чем не думает, просто идет. Откуда он, кто он, отчего такой — в этой дали, под этим небом, окутанный жарким воздухом трагедии и тайны? На звуковой дорожке — тоскующие, странно-нездешние гитарные переборы. Только тайна аккомпанирует тайне.

Свой первый полнометражный фильм «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» (1971) Вендерс снял по повести Петера Хандке. Повесть стоит прочесть (а это доступно благодаря русскому переводу), чтобы понять, что привлекло Вендерса к прозе крупнейшего европейского авангардиста конца 60-х годов кроме личной дружбы, завязавшейся, когда Хандке купил у еще не помышлявшего о режиссуре живописца, в прошлом студента-медика, пару его картин. Повесть анатомирует человеческую личность (лишенную границы между сознанием и подсознанием) с медицинской ледяной скрупулезностью и тотально-пессимистической разрушительностью. Это похоже на «Постороннего» Камю, но Хандке идет еще дальше, повергая в состояние распада вслед за личностью и саму действительность.

Возможно, правы критики, считающие «Страх вратаря» не совсем «вендерсовским» фильмом: отчужденный герой и равнодушно-любопытная слежка за ним еще не воплощают того отношения к миру, которое в другом фильме сам Вендерс определил как «эротическое», то есть принимающее мир не как материю, а как переживание. Что дал Хандке, так это ситуацию умирающего времени, завораживающий ритм одинокого и бесцельного движения, а с точки зрения формы — драматизм, заданный фабулой (в завязке — убийство), столь же существенный, сколь и обёрточный — им, значит, можно больше не заниматься.

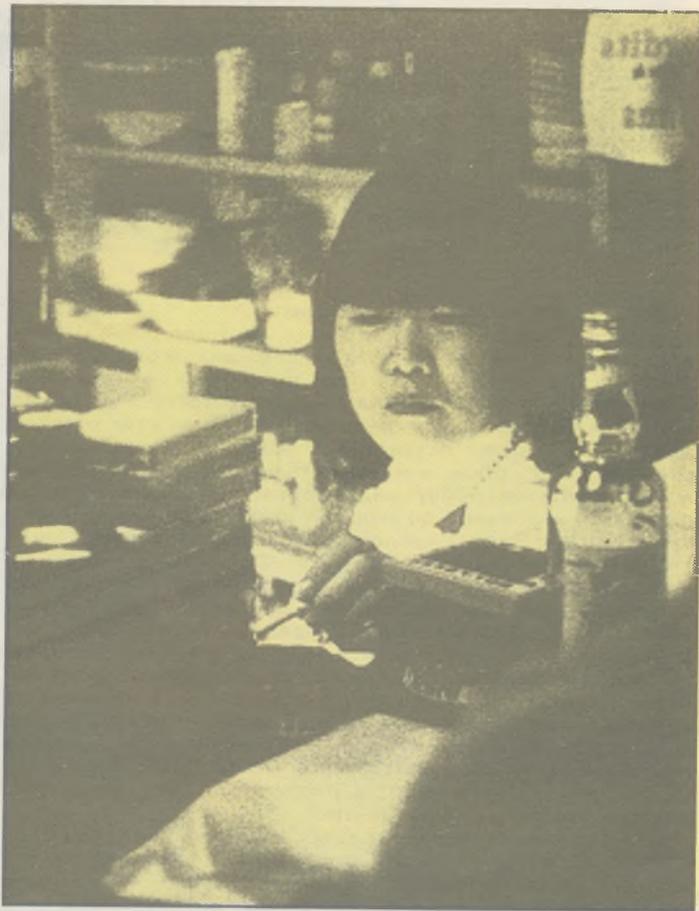
Содержимое упаковки трудно пощупать: как подлинное очарование сказки Вендерса — в бесконечно-однообразных «шел» и «пошел», а подлинный сюжет его фильмов — не «в», а «по дороге», т. е. между пунктами А и В, так напряженный нерв вендерсовского мира не в словах, событиях, действиях, а между ними.

После Хандке нашелся еще только один художник, который совпал с Вендерсом в ощущении мира и человека.

Это Сэм Шепард, автор сценария «Париж, Техас». Один из известнейших американских литераторов. Драматург и поэт, нам неведомый. Актер — мы видели его во «Фрэнсис». Высокий, худощавый, с драматически сдвинутыми к переносице глубокими и грустными глазами, в неизменной ковбойской шляпе. Но если это ковбой, то одолеваемый видениями, памятью и тоской. Возможно, он сам мог бы сыграть героя фильма «Париж, Техас».

Мир Шепарда странен. Его драмы — мифы прозревающей нации. Его стихи едки и каббалистичны. Его путевые заметки убийственно мужественны, и слова в них — осколки кинематографического видения. Шепард — путешественник от Бога — в захолустья себя, прошлого и новых пространств. Странники и беглецы — его друзья и герои. В этом он сродни Вендерсу, чьи фильмы даже по названиям: «Лето в городе», «Алиса в городах», «С течением времени», «Ложное движение» — и не фильмы вовсе, а координаты пути.

Герои Вендерса преодолевают пространство, спасаясь от пустоты и в поисках времени, не утраченного, а так и не обретенного. Они думают, что ищут место, где бы их никто не узнал, а в действительности ищут Дом. Преследуемый и преследователь — одно. Преследуемый оказывается преследователем, и наоборот. Герой «Хэммета» — автор



Кадр из фильма «TOKYO-GA»

детективов и сам детектив, впутанный в криминальную игру с переменной ролью «преступника» и «жертвы» — может быть, самый вендерсовский мотив в фильме, который режиссер не считает «своим».

Единственное, с чем не могут расстаться герои Вендерса — это одиночество.

Хотя бы один из двоих, склонившихся над немой пропастью отчуждения, знает, что им суждено расстаться. Вариантов перепробовано много: мужчина и женщина, мужчина и мужчина, мужчина и ребенок — исход один. У каждого свой ПУТЬ, пути могут только пересекаться. Только однажды. Поэтому встреча — уже начало прощанья. Кино Вендерса — поиск пластического выражения этого духовного лейтмотива.

Вендерс не лезет в душу своим героям, ведь одиночество — диагноз, признанный самим пациентом. Режиссер это чит. Он очень «мужской» режиссер. Веря в своих героев, он относится к ним как к равным и молча делит с ними их невысказанную боль.

Финальный уход героя показывает, что иначе как вернуться, нельзя уйти, и ставит все на свои места, уподобляя «Париж, Техас» электрической цепи, только и ждущей замыкания.

А там, между полюсами — два лица, сведенные естественной близостью — лучший из кадров, которые Вендерс и Робби Мюллер, его оператор, населили не одним, а несколькими людьми. Вдвоем — лишь в отражении зеркальной стены (место встречи — бордель для импотентов, падких до психоанализа, где мужчина может высказаться и остаться невидимым, а женщина — раздеться и остаться нетронутой). Лица играют, расходятся и входят друг в друга — в одной плоскости, но по разные стороны стеклянного барьера. Близость — только оптический трюк и одновременно — мгновенная точка пересечения двух одиночеств. Они так и не соприкоснутся.

То, к чему пришел Вендерс в фильме «Париж, Техас», — формула ПУТИ, изначально наложенная и с первых кадров прорисовывающая сквозь это пространство и это лицо.

Но в пространстве трагедии разыгрывается мелодрама.



Репродукции Андрииса Кривиньша и Олега Зернова

Кадр из фильма «НЕБО НАД БЕРЛИНОМ»

Разгадка тайны разочаровывает. Она человечна и чувственна, трогательна и безысходна, но тайна больше.

Любовь, оказавшаяся сильнее самой себя, бегство и оставленный на обломках семьи ребенок, плюс драма приемных родителей, логикой пути Тревиса разлученных с любимым воспитанником, — история по-своему трагическая, но это не трагедия. Персонажи фильма, попадающие в орбиту героя, полем его не заряжены, его молчания не слышат. Они дышат сюжетом и втягивают в него героя. Он в сюжете участвует, но дышит не им.

Меня не коробит некая раздраженная снисходительность противников Вендерса. Он сам балансирует на едва различимой грани. Если это мелодрама, то слишком уж претенциозная, а если нет, то что тогда, и к чему нас дурчат?

Не отрекись от сюжета, как не отрекается от него Вендерс. Сюжет и сам по себе значителен, говорит о многом: о тяготе человеческого существования, о бездуховности компьютеризированного и изрекламированного бытия, о силе чувств и распаде связей, о любви, наконец. Еще: об Америке и американском (занесем в нашу книгу рекордов: «Париж, Техас» — самый американский фильм, сделанный европейцем). В общем, почти о том же, о чем и фильм. Это не будет звучать парадоксом, если признать, что сюжет и фильм говорят на разных языках. Мелодрама — в сюжете, а сюжет — не фильм.

Сюжет для Вендерса — вроде маски, надетой на пространство. Пространство его, а маска — чужая. Маска — нечто данное, застывшее и исчерпывающее себя. Не она движет сущность, не сюжет движет действие. Действие — это колебания истощенных нервов, аура души. Маска — это история, которую художник рассказывает, чтобы смягчить свою боль.

Для исповеди повествование от третьего лица более плодотворно (Макс Фриш).

Сам Вендерс утверждает, что начал снимать фильмы, чтобы укрепить свои позиции кинокритика (а писать рецензии он стал едва ли не раньше, чем картины).

Возможно, это только предлог, а действительная причина коренится в том, что Вендерса преследовал своеобразный «коммуникативный комплекс», изживавшийся в ранних лентах при помощи странно-томительного, вечно рефлексизирующего Р. Фоглера. Мальчик из сказки, обретающий счастье, как только ему дадут покрутить радиоприемник, Вендерс с упоением открывал способность кинокамеры фиксировать природные настроения и проникать в начало начал — вечное и многомерное Движение, а между тем, главной проблемой его двойника на экране было выяснить свои отношения с реальностью, отделив в ней «я» от «не-я». Герой «Алисы в городах» или «Ложного движения» (вариации П. Хандке на тему «Годов учения Вильгельма Мейстера» Гете) отправлялись в дорогу навстречу жизни и, находя в ней только себя, бились над вопросом, как быть с творчеством. Вендерс разрешал его самим актом творчества, но все же ответ оставался для него не вполне удовлетворительным. Обрести способность видеть «другую жизнь» — только полдела. Как прикоснуться к ней — вот вопрос.

Тут к твоим услугам много помощников, обезболивающих свидание. Страсть к миру средств массовой коммуникации и различных воспроизводителей в виде диктофонов, телефонов, кинопроекторов и фотоаппаратов со временем определилась для Вендерса в тему по с р е д н и ч е с т в а в общении человека с природой, с другими, даже с собой.

Смысл в этой точке сомкнулся с формой, ибо форма свидетельствует, в сущности, то же самое: между человеком и реальностью поселилась другая реальность — «культурная», самовольно присвоив себе роль медиума или непреодолимой преграды, исключаящей непосредственный контакт.

Впрочем, преодолевать ее искусство, осознавшее потерю невинности, за что его именуют «постмодернистским», и не собиралось, предпочтя обреченному модернистскому разрушению проникновенное и ироничное использование. Извлеченная из запасников культура стала прообразом языка, маской, которая, не убивая лица и боли, защищает от всех покушений. Ведь и на исповеди лицо — единственное, что позволено утаить.

Ключ к перевоплощению языка дал миф — то, что обладает традиционным значением, но всегда открыто приходящему смыслу. Так новая высота приняла старые образы и «низкие» жанры: детектив (а Вендерс снял блестящий «лже-детектив» «Американский друг»), мелодраму («Париж, Техас»). В том же, что форма мифа служит идеальным каналом связи с современным мифу сознанием, можно не сомневаться. Для предков Эдип или Дон Жуан были тем же, что для нас Джеймс Бонд или Штирлиц. Это не значит, что последний вытеснил первого, наоборот, Эдипа сейчас можно «использовать» наподобие Штирлица.

У Вендерса все это в крови: он прирожденный мифотворец наших дней и питается уже созданным кем-то, не притворяясь и ничего не тая. Но кино Вендерса — не цитата, просто жизнь он познал сперва в кинозале, а уж потом — на ветру. У него бывает «фильм в фильме» и больше, чем у других, фильмов «о кино». Он обожает американские картины 40—50-х годов, и это видно тому, кто знает, однако, чтобы прожить вместе с ним несколько опустошающих и вселяющих надежду часов, можно этого и не знать.

Ибо миф для Вендерса — не оболочка. Миф, как ему и положено, многозначен. Он сочленяет извечную боль с ее нынешним выражением, пространство — с сюжетом. «Париж, Техас» задумывался как современная «Одиссея» — в лице Тревиса странники обрели, наконец, прототип, а пластика мира — широкое и возвышенное дыхание, присущее Мифу-первоисточнику. Перед автором не было вопроса, в какие одежды должен одеться сегодняшний Одиссей, как он должен говорить, молчать, двигаться, в какую историю он должен попасть. Но миф оставил за собой одно и главное право: право на воплощение бытия, не подменяемого бытом.

У него своя температура воздуха и простор. В поисках мифологического пространства Вендерс и отправился вновь в Америку, в бескрайне-тоскливые и бытийно-значительные ландшафты Запада, где небо так высоко и одновременно так низко — небо трагедии, но не той, что прольется безжалостным ливнем, Страшным Судом на головы действующих и созерцающих, а той, что на высококачественной пленке обретет почти открыточные тона.

«ПОД ЗВУКИ ШЕСТИСТРУННОЙ ЛИРЫ...»

ЗАМЕТКИ О РОК-ПОЭЗИИ

ЧЕТЫРЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ...

ДЖОН ЛЕННОН: «Мы просто писали и пели песни, это уже кристики, а за ними и слушатели превратили их в политику и философию и сделали указателями на пути к новой жизни».

Из книги «Джон Леннон. Один день во времени». 1976.

ДЭВИД БОУИ: «Ты отведешь меня в сторонку и спросишь: «Дэвид, что же мне делать?» И будешь ждать в коридоре. А я скажу: «Не спрашивай! Новых коридоров я не знаю...»

Из песни «Дикая жизнь тинзйджеров». Альбом «Чудо-юдо» 1980.

БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ: «Теперь насчет музыки и текстов. Для меня одно от другого неотделимо. Их нельзя оторвать, как невозможно пускать кино без изображения, но со звуком».

СЕРГЕЙ КУРЕХИН: «Советский рок — это, как правило, бардовская песня, исполненная на электрогитарах. А рок-музыка — это прежде всего музыка».

Из интервью газете «Аргументы и факты» № 31. 1987.

... И ЧТО ОТ НИХ ЗАВИСИТ?

«Сидя на красивом холме, видишь ли ты то, что видно мне», — пел Борис Гребенщиков, словно зывая к известной легенде о башне из слоновой кости.

Сейчас уже очевидно: с «красивого холма» ему было видно куда больше, чем иным со специально оборудованных наблюдательных вышек. В стихах, спетых под аккомпанемент электрифицированной лиры, отразились вещи самых неожиданных сортов и калибров. Родилась поэзия не в смысле складной версификации, а в смысле самостоятельного, личного взгляда на мир.

«Дым поднимается вверх — и значит я прав», — звучит сегодня голос Гребенщикова с пластинки, изданной «Мелодией». Кто-то вспоминает при этом, что еще недавно он был убежденно — «л е в» и вообще редко удосуживался запускать дымы с целью выяснить, откуда дует ветер...

Что же все-таки зависит от точки зрения? Указанный в подзаголовке жанр заметок — вовсе не дань искусствоведческому кокетству. Кроме того, я отдаю себе отчет в насыщенный характере поставленной задачи. Слово, пропетое в роке, неотделимо от мелодии. Слово явлено не с листа — в пространстве, в голосе и интонации исполнителя. В той магической зоне между сценой и залом, о которой знали великие мастера театра — от Эсхила до Станиславского. Это уже не просто количественный баланс, но новое качество слова, слияние многих смыслов, сочетание вечных звуковых и культурных, оформленных образностью миров.

Это, если хотите, первосущность слова, умноженная многократно усилителями. Тот «божественный глагол», который материализует энергию контакта, осязает неосозаемое, объясняет необъяснимое.

Поэзия родилась прежде письменности. Записанная поэзия — душа, воплощенная в знаке. Ее апофеоз и парадокс — визуальная геометрия, графика стиха, в то время как сущность по точным словам Хлебникова — взаимодействие вещества с пустотой, отношение ударного и не ударного места. И сейчас, когда вместе с памятью о вечерах в Политехническом уходит вкус к публичному чтению, к поэтическому Собору и братству во слове, быть может только музыка охраняет начало начал стиха — быть заполнением пустоты, ударным местом сердца?

Устная поэзия всегда тяготела к музыке. В этом спасительном единстве виден важнейший генетический код сегодняшней рок-поэзии. В одном ряду шифруются и бесхитростные вирши о любви и измене, развернутые сюжетные баллады о «кирпичиках» и «девушке из Нагасаки», дворовый фольклор и гитарные гимны 60-х.

Низовой пласт городской культуры, как вершинами, осенен хриплой правдой Высоцкого и лирической космогонией Окуджавы.

Это новая мифология со своим героическим пантеоном, системой взглядов и ценностей. Век усилил зрение, но обеднил перспективу. Андрей Платонов сказал бы — земля ушла, остался горизонт. Осталась условная линия скрепления некогда сухих опорных твердынь, пронзительная видимость вместо значения. Планета стала обозримой и вместе с тем съезжилась до размеров города, улицы, коммунальной кухни. Отсюда с середины 50-х понеслись послания в вечность — легенды урбанизированного бытия и трудная поэзия быта, романтика публичного одиночества и эпос обманчивости незаселенных пространств. Здесь мечтали о бегстве за туманами и свято надеялись — случись что, и рухнут каменные стены, укроет небо, в изголодь встанет суровый караул комиссаров в пыльных шлемах и иноходец наконец-то первым придет к заветной черте.

Впрочем, иноходь — опасный способ передвижения. Песенная мифология «шестидесятников» обнаруживает со временем собственную герметичность, слишком выдает рефлексию общественного происхождения. Время поглотило и невинный эскапизм дальних дорог и прекрасный идеализм, равно относимый к прошлому и будущему. 60-е годы сформировали последнее поколение СОЦИАЛЬНЫХ романтиков, меряющих возможности самопознания категориями зримого, осязаемого бытия и, стало быть, уверенных в возможности его совершенства по законам общественного разума и добра. Общечеловеческие реминисценции их поэзии всего лишь символика культурного слоя; духовный шифр растворен во плоти события.

Последний троллейбус, на сидении которого помещалось лирическое альтер-эго титанов 60-х, еще слишком зависим от установленного маршрута. Финальная инстанция его полуночной одиссеи — конечная остановка, исполненная глубокого и многозначительного смысла, ибо важен не результат, а само явление неординарного путешествия, способность увидеть за ночными стеклами иллюзию окружающих и себя. Троллейбус следующего поколения, о котором спел Виктор Цой, идет на Восток, и это больше, нежели выход за пределы городской черты — переориентация духа. И сумасшедшему трамваю Гребенщикова мало проложенных рельс, означающих, помимо остального, рукотворную достоверность происходящего...

Это уже иная система поэтического отсчета, иная предметность. Даже обладая сверхчеловеческим зрением из окна троллейбуса четвертьвековой давности не разглядеть холма, воспетого Гребенщиковым. Того холма, на который битлы посадили своего молчаливого дурака, обладающего способностью видеть траекторию солнца и кружение миров.

Вместе с седьмой струной на отцовской гитаре рок-поколение обрывала связь с реальной поэзией, с возвышенной и вместе с тем заземленной иронией старших. 70-е годы с их жесткой социальной формулой упразднили доверие к визуальным впечатлениям, оставив в неприкосновенности отработанную предыдущим десятилетием способность к самоотношению. Топография песенного стиха сменилась географией, в том числе и буквально, потому что транснациональная стихия рок-музыки активно прививалась на отечественной почве.

ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, ОТ КОТОРЫХ НИЧЕГО НЕ ЗАВИСИТ

«... Несмотря на то, что у нас есть вокально-инструментальные ансамбли, близкие по инструментарию к поп-ансамблям, их репертуар и манера исполнения строятся на принципиально иной основе: они несут в себе заряд высокой гражданственности, опираются на достижения советской массовой и эстрадной песни... Исключение составляют те вокально-инструментальные ансамбли,

которые в силу слабой профессиональной подготовки своих исполнителей и руководителей некритично перенимают репертуар и манеру зарубежных исполнителей.

(Из редакционного заключения сборника «Поп-музыка. Взгляды и мнения». 1977)

«По-настоящему Борис Гребенщиков начал заниматься гитарой с 1968 года. До этого он пытался освоить семиструнную гитару, но она ему не понравилась. Первой песней, которую он как следует сыграл и спел на английском языке, была «Ticket to ride». Миновал короткий период сочинительства на английском, он пришел к ясному сознанию необходимости петь и сочинять на русском. Это случилось осенью 1971...»

(Из биографии «Аквариума»)

Новое поколение принесло свой взгляд на жизнь.

«Оппозиционный», «подпольный» рок 70-х в сложных, порой труднотолкуемых образах воспел одинокого героя, ерника и мыслителя, вечного аутсайдера, начиненного взрывной силой скепсиса и недоверия. Он уже не мог спастись, убежав из «суеты городов и потока машин» к сияющей горной вершине, отогреть озябшую душу у таежного костра. Одиночество было отпущено ему не в качестве лирической индугенции, а в образе тотального отчуждения. Герой презрел реальность, уйдя в мир фантомов и оборотней, в которых, впрочем, смутно угадывались черты нигилистической публицистики.

Легче всего, конечно, уцепиться именно за эту «критическую» линию и вывести родословную рок-героя из душевной общественной атмосферы 70-х, объяснить его появление стихийным протестом против «безвременья». Это заманчиво, но неверно. Одолеем брезгливое чувство кокетства с историей и попробуем переписать уже читанную раз страницу. Вычеркнем из анналов «застойные явления» и зададимся вопросом: возникла бы рок-музыка или нет?

Бесспорно — да!

Да, потому что магистрали культуры ничуть не менее значительны, нежели общественные пути, а рок и вся сопутствующая ему бытовая и бытийная атрибутика принадлежат именно к такой магистрали. Речь не о скоропроходящей рефлексии на политический «негатив» или «позитив», а о принципиальных реакциях сознания в условиях государства с высокоразвитыми структурами и институтами, вообще — о поисках выхода из-под давления социума. Рок-поколение впервые заявило об этом во весь голос, впервые «одномерный человек» — детище научно-технического прогресса и унификации отношений — противопоставил реальности, ставшей массовым мифом, собственную мифологию, обернувшуюся реальностью.

Рок-герой отвергал не конкретные черты политического кодекса 70-х, он требовал новых правил игры, где главный приз заключался в большем, нежели обладание «обратной стороны Луны» — очередной ипостасью истины. Он ощутил себя частью всего мироздания и, оглушая ближних ревом динамиков, упорно пробивался к центру.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОЛИТИКИ . . .

«... наиболее бескомпромиссный, наиболее крайний обвинительный акт находит свое выражение в произведении, которое в силу своего радикализма отвергает политическую сферу.»

(Герберт Маркузе. «Контрреволюция и бунт». 1972)

«Я пишу стихи для тех, кто не ждет

Ответов на вопросы дня.

Я пою для тех, кто идет своим путем.

Я рад, если кто-то понял меня.»

(Константин Кинчев и группа «Алиса»)

Вместе с репрессивным социумом из рок-поэзии ушло самое общественное из поэтических времен — будущее.

Обозримую, и потому особенно унылую, цель материального движения рок-поэты сменили на красочную иллюзию, на путешествие внутрь себя. Великие идеалисты и схоласты, они невольно повторили парадокс французского интуитивиста Анри Бергсона, считавшего, что объективная длительность постижима только в форме прошлого. Настоящее, едва наступив, становится небытием . . .

Ахиллес не догонит черепаху, ибо каждый шаг в пространстве отбрасывает вспять во времени. Время рок-поэзии — время мифа. У него две основные характеристики — «сейчас» и «тогда». «Сейчас» — вся предметность, вплоть до места действия, словно вырезанного из массива пространств ножницами застывших часовых стрелок.

«Тогда» — условный хронос, не имеющий установленных гра-

ниц. «Тогда» может происходить и час и век назад. «Когда был жив Элвис Пресли», или когда «все печали казались такими далекими» — «Блестерды, алл мы троблес сеemed со фар авай» . . .

Форма условности объясняет многое. Время и место поэтического рок-действия — зоны внутреннего, субъективного ощущения. Будущее ускользает из сферы рационального усилия и выглядит всего лишь гипотезой чувств: «Если в этом городе есть нота дождя, значит завтра будет ливень. Если в этом пелле есть частица меня, значит завтра случится гибель», — поют ветераны отечественного рока из группы «Санкт-Петербург», противопоставляя декартовскому «Cogito ergo sum» формулу «чувствую — значит существую».

Безусловность времени подчинена произволу памяти, отсчет ведется не от Рождества Христова, а от первых пластинок Билла Хейли и Литтл Ричарда.

Чувство диктует метод элементарных оппозиций, объясняет устройство предмета его происхождением. Эстетика рока равнозначна его истории, философия смыкается с легендой, ведь до сих пор фундаментом поэтики рока остается осмысление собственного генезиса, стремление обратить в «сакральный» предмет любую осязаемую традицию; все, что мало-мальски удалено во времени. Поэтому и одна из предельных рок-философем — категория поколения, общности возраста, ставшей общностью духа. Быть может, это законное следствие цикличности бытия рок-музыки. Подобно тому как песня Кинчева «Мое поколение» дублирует название одного из наиболее концептуальных хитов 60-х — «My generation» группы «The Who» — повторяется структура сознания. Реченное «остановись мгновение» растворяется в коллапсе воспоминаний, чтобы вновь возродиться экспонатом «золотого века».

Неустойчивое равновесие времен в строках куплета подготавливает мощную вертикаль рефрена:

«Какие нервные лица — быть беде.

Я помню — было небо — я не помню, где.

Мы встретимся снова, мы скажем «Привет».

В этом есть что-то не то . . .

Но рок-н-ролл мертв, а я еще нет . . .»

«Быть — помню — было — скажем — есть» . . . — время пружинит, миф накладывается на миф. Слова лидера «Iethro Tull» Яна Андерсона «Я слишком стар для рок-н-ролла и слишком молод, чтобы умирать» достраивают еще один запланированный этаж ассоциаций, и с этой высоты становится различим и общий источник смысла и незатейливая геральдика вдохновения.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГЕРОЯ . . .

«Мир — творение «Я», а если речь идет об отношениях «Я» и «не Я», то выше «Я».

И.-Г. Фихте. «Наукоучение». 1794 г.

«Подворотни страшны, я слышу, как хлопают двери.

Черные кошки перебегают дорогу.

Пусть бегут, я в эти сказки не верю.

И это не станет помехой прогулке романтика.»

Виктор Цой и группа «Кино».

Потребность в поэтическом осмыслении пришла в отечественный рок под знаком лирического «анти-героя». Того, кто по замечательному выражению русского философа С. Л. Франка «лишился веры, но тоскует по святине».

То был персонаж изверившийся, а потому недоверчивый, переживший крах иллюзий и находящийся в постоянной конфронтации с окружающими. Тот, кто еще находил вкус в экстравагантном обличии, но уже понимал: «ты можешь ходить, как запущенный сад, а можешь все наголо сбрит. И то и другое я видел не раз, кого ты хотел удивить?» Тот, в ком жила тяга к идеалу, но кто убедился — «воздушных замков не носит земля»; кого предали «сильные и смелые», оставив носиться по воле ветра и бушующих волн.

Способ цитирования говорит за себя. Лидер антигероизма 70-х, его глашатаи и духовные отцы — Андрей Макаревич и «Машина времени», принесшие в русскоязычный рок новую культуру слова. С их подачи рок, бывший до поры явлением элитарным, «пошел в народ». Отныне любой дворовый бард, не изнуряя себя излишними познаниями в английском и нотной грамоте, мог под трехаккордный аккомпанемент на хорошем литературном языке спеть балладу или в меру мажорную песенку о том, что «лица стерты, краски тусклы».

Поэтические тропы Макаревича существуют где-то посредине между роком и тем, что с известными допущениями называется ныне «авторской песней». Их символика незатейлива — человек уподоблен кораблю, чистота — снегу, мечта ассоциируется с зыб-

ким пламенем свечи, а жизнь с бурным морем или крутым поворотом дороги. Героя Макаревича не упрекнешь в примитивности мысли, он хочет быть понятным, а потому формулирует свои романтические претензии к реальности слогом самой реальности, не брезгуя прямыми проекциями на школьный учебник литературы.

«Машина» толково ответила своим сверстникам на многие злободневные вопросы, но настал новый день, а у каждого дня своя забота, и газета, прочитанная вчера, сегодня едва ли интересна (пишу так с опаской за талантливых «ДДТ», «Телевизор», «Наутикус» и других, нет-нет да и пытающихся восполнить дефицит оперативной молодежной прессы). Кроме того, анти-герой 70-х, настроенный на трагическое самоисчерпание, наконец исчерпал себя. Время шло, и отсутствие веры, до поры искупленное смутным знанием о существующих святынях, давало о себе знать. В «неангажированных» глубинах рок-поэзии зрела тяга к созиданию, к позиции, способной дать опору. Контркультура превращалась в культуру, романтический монолог требовал диалогического продолжения.

Одним из первых этот диалог начали Борис Гребенщиков и «Аквариум».

С ПОЗИЦИИ ВЕЧНОСТИ . . .

«Это не книга, которую можно просто «читать»; в ее зарослях приходится продвигаться на ощупь, дюйм за дюймом, а то и возвращаться назад, причем текст иногда вдруг обращается к нам совсем другим лицом».

Г. Гессе «Китайский дзен».

«С мешком кефира до великой стены
Идешь за ним, но ты не видишь спины,
Встретишь его, не видишь лица,
Забудь начало, и ты лишишься конца.
А я хотел бы опираться на платан . . .»

Борис Гребенщиков.

Как всякий большой поэт, Гребенщиков начинается с космогонии, с общей схемы мироустройства.

Сюда входят и концепции раннего даосизма, и этика «дзен», православная символика и максимы сказочной эпопеи англичанина Дж. Р. Толкина «Властелин колец», словесная эквилибристика ОБЭРИУТов и новейшая мифология рока.

Гребенщиков первым понял возможности равноправного диалога с несоприкасаемыми внешне слоями мировой культуры, с творческим духом, отвергающим какие бы то ни было приоритетные отношения. Хронотоп его зрелой поэзии — вечное время, время дао — неиссякаемого источника мирового движения. Познавший истину причастен ко всему космосу, способен, как записано в даосской книге «Хуайнаньцзы», «проникнуть во внутренние законы неба и земли, соприкоснуться с делами людскими, представить в полноте путь предков».

Знающему первопричину всех вещей незачем отыскивать логику зримых связей, отделить конец от начала или подыскивать приличные случаю имена. Он может стать Иваном Бодхидхармой, Иванушкой-дурачком и первым апостолом «дзен» (буквально — посвященным в дхарму); мастером Бо или просто Ивановым, читающим на трамвайной остановке томик Сартра, перекочевавший к нему из кармана подвыпившего тракториста. И баян здесь играет не частушки, а Сантану и «Weather Report», и в любой коммунальной квартире есть свой собственный цирк, квадрат не имеет углов, «каждое слово — ответ», и ритуальный клич «дык, ёлы-палы!» соседствует с высоким стилем салонного романса.

Гребенщиков открыл рок-поэзии измерение бесконечной сущности и относительности. Он научил рок-героя медитации, снабдил его «веселым знанием» и «гигиеной души», уподобил Иозефу Кнехту из романа Гессе «Игра в бисер», владеющему техникой манипуляции всеми знаками и регалиями наличествующей культуры.

«Тридцать спиц соединяют в одной ступице, но употребление колеса зависит от пустоты между ними. Из глины делают сосуды, но употребление сосудов зависит от пустоты в них», — сказано в даосском трактате «Дао дэ цзин». Поэтическая манера Гребенщикова состоит в попытке высвобождения содержательных пустот между словами (так Сергей Эйзенштейн монтировал не кадры, а интеллектуальные ниши между ними). Семантика поэтического ряда Гребенщикова эволюционировала от образа (доказательство предмета) к символу (вера в предмет). На высшей ступени символ в свою очередь становится знаком, иероглифом. Их взаимное наложение организует метасмысл.

«Есть книги для глаз и книги в форме пистолета», — в аттракционном строении фразы закодированы энергия смыслового промежутка, вертикаль подсознательного сообщения. Если хотите — поэтическое мышление будущего: отказ от просевания породы в истощившемся культурном слое, вместо этого — попытка

перекомбинации самих слоев. На первом месте здесь не формальные составляющие поэтического текста, их шокирующая сопоставленность, а прорыв к первосущности (ср. в «Леэзы»: «воплотивший дао отдыхает и неистощим, а полагающийся на искусство изнурует себя, но безуспешно»).

У раннего Гребенщикова сильна линейная метафора. Он не чурается «как», прямого парного сравнения. Ангел похож на Брюса Ли, полусъеденный осьминогами моряк прекрасен «как Охтинский мост», сердце напоминает камень, положенный в фундамент моста. По мере углубления символика становится статичной, сиюминутное подобие сменяется криптограммой вечности.

Иван Бодхидхарма движется в окружении белого тигра и синего дракона. Согласно древнекитайской мифологии зеленый (темно-синий) дракон (цан-лун) — символ Востока, а белый тигр (бай-ху), держащий в лапах диск луны — хранитель Запада. У Гребенщикова тигр молчит, а дракон поет, что в одинаковой степени можно истолковать и как наступление нового дня и как прямой адрес мудрости, которая «вылечит тех, кто слышит, и, может быть, тех, кто умён . . .» Тайнопись далекой культуры пронзает жемчужины пластмассы урбанизированного быта вместе с единокровым, орлом, тельцом и львом. Уставшие от искусственных материй руки тянутся к живой фактуре серебра и воды.

ВЗГЛЯД НА КОЛЛИЗИЮ. . .

«Враг одарил их Кольцами Власти, и те иссушили их, превратили в страшных живых призраков . . . Город стал казаться пустым, над этой пустотой поселился страх . . .»

Дж. Р. Толкин. «Властелин колец», книга IV.

«Но электричество смотрит мне в лицо
И просит мой голос.
Но я говорю: «Тому, кто видел город, уже
Не нужно твое кольцо».

Б. Гребенщиков

В орнаментальном ряду Гребенщикова встречается устойчивая антиномия: «вода — электричество». В «Дао дэ цзин» читаем: «Бесформенное — великий предок вещей, а среди всего, что имеет образ, нет более достойного, чем вода, ибо ей можно следовать, но нельзя уничтожить». Вода обнимает все множество живого, но не знает ни любви ни ненависти, она — ближайший аналог мудрости.

«Встань у реки — смотри, как течет река —
Ее не поймать ни в сеть ни рукой,
Она безымянна, ведь имя есть лишь у ее берегов —
Забудь свое имя и стань рекой», — поет Гребенщиков, следуя мудрости Лао-цзы, учившего: «Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя».

Электричество именуется светом, создавая видимость брэнной власти над безграничным. По преданию свет — потомок бесформенного, его можно видеть, но нельзя осязать. Для Гребенщикова электричество символизирует ложность, бесплодный суррогат. Из вечности течет река дао, нескончаемый поток Гераклита и святые воды первохристиан. Электричество же освещает, но не о с в я щ а е т, оно способно лепить форму, но лишь удаляет от сущности.

Причастие воды или электричества — генеральный императив поэтики Гребенщикова и шире — центральная коллизия всякого осмысленного поэтического рок-творчества, осуществляющего выбор между истиной и иллюзией.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИЛЛЮЗИЙ. . .

«Кто оператор, кинемеханик, контролер, распределитель, директор кинотеатра, кто смотрит за тем, чтобы все шло своим чередом? Кто свободен выходить на середине, в любое время, в любое время изменять сюжет, кто свободен смотреть фильм снова и снова? —

— Дай-ка сообразить, — сказал я. — Тот, кто этого хочет? —

— Это для тебя достаточная свобода, — сказал он».

(Ричард Бах. «Иллюзии, или Исповедь сопротивляющегося Мессии».)

«Все мы в одном кинотеатре,
Мы были здесь всегда.
Все мы в одном кинофильме,
И каждый из нас звезда».

И все мы свободны делать
То, что мы делать хотим.
Все остальное — иллюзии,
Все остальное — дым».

(Михаил Науменко и группа «Зоопарк»)

В поэтическом мире Гребенщикова романтик стал демиургом, нигилист превратился в мудреца. Гребенщиков создал макрокосмос рок-поэзии, ее духовный стержень.

Впрочем, я думаю, сегодня рок только начинает говорить собственным слогом, приняв мучительный гамлетовский вопрос: какие сны приснились в спасительном до поры сне. Былая форма агрессивного суверенитета обратилась явью новой реальности.

Какова она?

Сегодняшний рок-герой еще на полпути от голубя Петра Мамонова и «Звуков Му» к чайке, названной Ричардом Бахом Джонатан Ливингстон. Герой уже умеет летать, но еще не понял: «чайки, которые отвергают совершенство во имя путешествия, не улетают никуда. А те, кто отказываются от путешествий во имя совершенства, летают по всей Вселенной, как метеоры».

Року еще привычнее путешествовать утопанными дорогами, ему милей теснота коридора и переулка. Он ссорится с родителями и облачает обиды роста в пышные одежды вселенской катастрофы

(не отсюда ли мотив Апокалипсиса в самом инфантильном рок-стиле «хэви метал»?).

Но вот уже Кинчев, вырастивший бодлеровские «цветы зла» на городском асфальте, поднимает голову к осеннему солнцу. Виктор Цой снабжает свой текст загадочным рефреном «бошетунмай». И даже Андрей «Свинья» Панов и его панк-группа «АУ» сообщают: «Пусть в милиции узнают, что сейчас их не боюсь».

Рок становится интровертом, избавляется от синонимов, учится называть вещи сущими именами. «Красивый холм», «белая полоса», «шестой этаж» — высоты субъективного ландшафта, вписанного в рельеф Вселенной. Отсюда столбы вновь выглядят деревьями. Здесь садовник не властен над дикорастущим садом.

И это важно, потому что...

«... мне стало ясно, что мы являемся поэтами, но не в обычном смысле этого слова, а народными поэтами, ибо рок-н-ролл по сути является народной поэзией, я всегда был в этом уверен...»

Джон Леннон. Из интервью, данного в июне 1975 года и озаглавленного «Ночное путешествие до станции «День».

ПРОХОДНОЙ ДВОР

Слова и музыка ЮРИЯ НАУМОВА

ДЕПРЕССИЯ-2

Моя депрессия меня гнетет не первый год.
Я к ней привык и мне уже не тяжек ее гнет
Любимый мой металл — свинец, а музыка — рок.
И есть хорошие друзья, но все же я одинок.

Я не был тихим мальчиком, но рос под колпаком.
Я глупости творил не раз, но не был дураком.
Осколки самых разных лиц составили меня,
Но не поймет меня никто до судного дня.

И мало тех, кто обижен мной, но многими обижен я.
И слишком часто мои враги были сильнее, чем мои друзья.
И слишком рано в сказки добрые я верить перестал.
Но, слава Богу, что я стал таким, каким я стал.

Я ненавижу музыку, что льется в эфир.
И бесталанного певца, что для толпы кумир.
Слащавых чувств и громких слов безбрежный океан,
Которыми наполнен до предела экран.

Я не пойду смотреть футбол — на кой он сдался мне,
Когда забитый лишний гол — почти победа на войне.
Я потушу в квартире свет, останусь я один
И буду в грезы уходить под грохот ЗЕППЕЛИН.

Моя депрессия меня гнетет не первый год,
Я к ней привык и мне уже не тяжек ее гнет.
Любимый мой металл — свинец, а музыка — рок.
И есть хорошие друзья, но все ж я одинок.

Мне не нужны ни слава, ни ажиотаж,
Ни толпы истеричек, что сдуру входят в раж.
Мне не нужна, поверьте, вся эта возня.
Лишь было б десять человек, что поняли меня.

Март 1982.

ГОРОД

Музыка и слова Н. КОРЗИНИНА

ДРЕВНЯЯ ДОРОГА

Двери скорей открой ранним утром,
земля проснулась и ночь туманом стала,
горсть жаркой пыли в ладонях сожми,
к солнцу стань лицом на своем пороге
на древней дороге, где свет, пыль и мир.

Жизнь без конца суждена человеку,
как птицам небеса, как движенье воде,
идти да идти без конца суждено человеку
с верой простой, что нет смерти здесь для нас с тобой
на древней дороге, где свет, пыль и мир.

Смотри, наши души цветут,
в крови закипает стебель юной крови.
Смотри, наши души, как Боги плывут,
облаками касаясь земли.

МОДЕЛЬ

Слова А. БЕЛЯЕВА

Могу я в волосы вплетать серебряную нить
Могу я губы красить и серьги носить
Могу я научиться манерно говорить

Но разве стану лучше я?

Могу я одеваться как Кристиан Диор
Могу употреблять одеколон «Ван мэн шоу»
Могу я ездить в «Жигулях» и в золоте тонуть

Но разве стану лучше я?

Могу я бегать по утрам, потом контрастный душ
Могу быть ласковый отец и образцовый муж
Могу я в волосы вплетать серебряную нить

Но разве стану лучше я?

Могу играть на тубе, ходить в бобровой шубе
Могу я пить один кефир
Могу играть на шубе, ходить в бобровой тубе
Могу я есть один творог

Могу ходить я в тубе, играть в бобровой шубе
Могу кефир на тубе, могу я даже в шубе

Я...

АЛИСА

Слова К. КИНЧЕВА

ВОЗДУХ

Сегодня опять ночь,
Сегодня опять сны,
Как странно вращает мной
Движение к весне от весны.
Сеть черно-белых строк,
Телевизионная плеть.
Я так хочу быть тут,
Но не могу здесь...
Воздух...

Темно-красный мой цвет,
Но он выбран, увы, не мной.
Кто-то, очень похожий на стены,
Давит меня собой.
Я продолжаю петь
Чьи-то слова,
Но все же кто играет мной,
А?

Нелепо искать глаза
Сквозь стекла солнцезащитных очков.
Но ночь обостряет зрение
Хищников и кротов.
Это все-таки шанс
Остаться сытым или живым.
Каждому разрешено
Остаться первым или вторым.
Воздух...

Слова А. СОЛОВЬЕВА

ИГРЫ

Мечта за мечтою мысли плывут,
Мне их не сдержать, мне их не проверить.
Никто не сумеет жизнь предсказать,
Никто не откроет чудесные двери.

Связаны путами липких надежд,
Вы мудрецами назвали невежд,
Выучив в школе слово «нельзя»,
Небо забыли, забыли себя.

Строка за строкой плывут облака,
Попробуй, прочти, что написано в небе.
Я сам бы сумел тебе рассказать,
Но ты мне, брат, боюсь, не поверишь.

АУКЦИОН

Слова О. ГАРКУШИ

КНИГА УЧЕТА ЖИЗНИ

Каждый день решаю я — быть или не быть.
В суете всемирных дел подвиг совершить.
Иногда в голову лезут странные мысли.
Я веду книгу учета жизни.

Затаившись, как паук, я за всем слежу.
Может, это и грешно, смех я не люблю.
Иногда в голову лезут странные мысли.
Я веду книгу учета жизни.

Привет:

Не хочу и не умею быть таким как все.
Этот вызов я бросаю логике вещей.

Где-то я забыл вчера яму закопать,
А сегодня я успел сам в нее попасть.
Иногда в голову лезут странные мысли.
Я веду книгу учета жизни.



ИНГРИДА ЗЕМЗАРЕ

СЛОВО И МУЗЫКА В СВЕТЕ СТИЛЯ И ЖАНРА

Проблема взаимоотношений текста и легкой музыки может казаться очень частной. Наверное, поэтому она обсуждается крайне редко, и в большинстве случаев эти обсуждения носят весьма дидактический характер. Ко всей легкой музыке предъявляются некие общие абстрактные требования (называемые порой требованиями хорошего вкуса, а то и гражданственной позиции, или даже обозначаемые громким термином «контрпропаганда»). Сторонники хорошего вкуса обычно выдвигают некий абстрактный эталон высокой поэзии, по которому равняют всякую песенку. Этот воображаемый эталон всегда литературный, и вольно-невольнo мы забываем, что тексты песен хоть и являются литературой, но не только. Например, тексты так называемых авторских

песен, конечно, можно считать поэзией, но чтобы понять их прелесть, все же следует слушать их вместе с музыкой (которую, кстати, тоже не желательно слушать в отдельности от текста). Отнюдь не собираюсь выступать сторонником той халтуры, которая порой просто подбирается к очередному шлягеру, но все же нельзя не видеть различия между разными жанрами легкой музыки и соответственно между разными функциями текстов ее, ибо типологические признаки жанра во многом определяют стиль композиции. Это касается текста в такой же степени, как и музыки. В то же время исторически сложившийся стиль в свою очередь вносит коррективы в развитие того или иного жанра. Именно этот процесс взаимоотношений жанра и стиля был и остается по сей час одним из

могучих источников эволюции музыкального искусства, и сложность его все возрастает по мере того, как расширяется картина жанров современной музыки.

Не уместно здесь слишком отвлекаться от основной темы в сторону теории жанров — это особая проблема теории музыки. Но все же следует отметить главное, коренные изменения в жанровой иерархии современной музыки. Дело в том, что массово-развлекательные жанры, исторически имевшие прикладную функцию, на сегодняшний день выработали свои собственные концертные (т. е. неприкладные) жанры, и в этом смысле стали независимыми от серьезной музыки. У нас есть опера, и наряду с ней уже 15 лет в Советском Союзе существует и рок-опера, существуют рок-симфонии, рок-концерты,

кроме того, те же самые эстрадные концерты, которые тоже предназначены для слушания, а не для прикладного потребления.

Вроде бы все ясно — имеем концертную легкую музыку, к текстам которой можно предъявлять высочайшие требования, и прикладную, которая в силу своей чисто развлекательной роли не должна задавать более глубинные пласты сознания.

Но на деле это все отнюдь не так просто, ибо в обоих — как в концертных, так и прикладных жанрах легкой музыки главенствует одна и та же отличительная черта — развлекательность.

Молодое поколение наследует модель музыкальной культуры прошлого под сильнейшим воздействием средств массовой коммуникации сегодняшнего дня. Непрерывный поток самых разных моделей музыкальной культуры нивелирует принадлежность любой музыки к определенной эпохе, времени, традиции, ситуации и т. д. Бетховен и фокстрот — рядом всюду и всегда, они порой меняются местами, шкала ценностей расшатывается. Самые разные вещи, под весьма престижным знаком Гостелерадио, преподносятся с доставкой на дом, и человек сам должен осуществлять выбор, устанавливать порядок — но это порой становится культурным гнетом, ибо способность выбора не рождается сама по себе, она воспитывается.

Вследствие всего этого соотношение слова и музыки становится весьма лабильным — высочайшая поэзия может прозвучать на банальнейший мотив, или классическое сочинение может быть снабжено чудовищно глупыми словами (как, например, фортепианный концерт Грига в американском биографическом фильме). Иногда кажется, что в наши дни на любую музыку может проецироваться любое содержание словесного ряда.

Между этими двумя берегами — жанровой определенности, с одной стороны, и всеохватывающей развлекательности, с другой, барахтается словесный текст современной легкой музыки.

Обратимся вкратце к главным жанровым источникам современной легкой музыки. Таковых три (по очень крупному счету):

- 1) шансон,
- 2) блюз,
- 3) коммерческая развлекательная музыка.

Первое из этих течений так и осталось шансоном по сей день. Порожденный городской культурой средневековья шансон впитал в себя огромный потенциал народных традиций иронического плана, и осмелюсь сказать, не только сам позаимствовал многое от высокой культуры, но и передал часть своего вольномыслия некоторым литературным жанрам. Думаю, что даже такое, казалось бы, возвышенное творение, как Орлеанская дева Вальтера, носит на себе отпечаток эстетики шансона — настолько там уживаются дерзкая ирония с восхвалением и музыкальным благозвучием. (Например,¹) Тексты французских шансон до сих пор несут в себе неповторимый сплав тривиального с возвышенным, некую патетику и в то же время страстность рыцарской любви, т. е. они наделены особой искусной дистанцией, которая позволяет рассказчику говорить самые трогательные вещи, не впадая в излишнюю sentimentalность. Может быть, именно шансон в какой-то мере вдохновил или, скажем,

оказал некоторое влияние на поэзию современных бардов, на стихи Гребенщикова, в которых, кстати, проглядывает и некоторое влияние изощренно туманного стиля Анненского . . .

Другое дело блюз. Эстетика этого жанра предполагает наибольшую прямоту высказывания, и искренность переживания здесь приобретает как бы иную форму духовности — неразделимо связанную с материально телесным началом. По сути своей блюз не художественный жанр, а скорее — состояние. По выражению джазменов, «блюз можно схватить». Как насморк.

И известно, стиль *rhythm and blues* во многом определил облик рок-музыки, которая выдвинула новые претензии на духовность, отвергнув неразборчивую всеядность развлекательной индустрии. Тексты рок-музыки бывают будничными, очень простыми, неизощренными и часто этим напоминают классическую английскую поэзию. Бывает даже, что рок-группы обращаются к классической литературе. Вспомним известную песню Кэти Стивенса на слова выдающейся английской поэтессы Элинон Фарджон «Morning has Broken».

Стиль рок-музыки во многом определен особенностями английского языка, грамматические формы которого позволяют рифмовать между собой чуть ли не любые два глагола, а фонетика которого отличается особенно звучными согласными и т. д. Поэтому не приходится удивляться факту, что большинство рок-групп — будь то шведские юноши или группа экзотических островитян, поют именно по-английски. Английский язык стал поистине колониальным языком поп-музыки.

Совсем иное дело легкая развлекательная музыка, истоки которой восходят к городской культуре XIX века. Для нее очень важную роль играет компенсативная функция. Музыка со своими очень пестрыми текстами компенсирует жажду путешествий, страстей, острых ощущений и, что на мой взгляд самое главное, — создает иллюзию приобщения к культуре, т. е. якобы создает возможность обжить эту чужую, непостижимую территорию. Отсюда эклектично яркие красоты кабаре, отсюда — бессмысленные, но привлекательные сочетания чужеземных слов.

Ах, вернисаж, ах, вернисаж,
Какой портрет, какой пейзаж.
Там кто-то в профиль, кто — в анфас,
а я смотрю, смотрю на Вас.

(Р. Паулс, И. Резник)

Тексты подобных песен включают в себя пласты опыта, которые широкой части общества недоступны. Так же неудовлетворенная жажда путешествий, приключений компенсируется чтением очерков, охотой за серией «Рассказы о природе», а социологическая проза о местах заключения даст компенсацию острых ощущений. Так же коммерческая легкая музыка дает слушателю компенсацию за какую-то недостаточность в его образовании, нравственной или эстетической жизни, чаще всего иллюзорно заполняя пробелы. Эти жанры предоставляют возможность узреть и пережить себя таким, «какой я есть». Это порождает в текстах песен некоторый «эстетический фетишизм»; встречаясь с «красивостью» привычных метафор и сентиментальными интонациями, слушатель может пассивно и иллюзорно как бы переиграть свою жизнь заново.

Иногда, даже в лучших образцах подобной поэзии, этот эстетический фетишизм достигает такого накала, что оказывает на содержание стиха даже некоторое деструктивное действие. Но под звуки известной формульной музыки это, как правило, не замечается.

Вместо флейты подымаем флягу,
Чтоб веселее жилось.
Под российским крестовым флагом
Нас вывозит «Авось» . . .

(А. Рыбников, А. Вознесенский)

Какая, например, здесь связь между флейтой, флягой и флагом, к тому же еще русским крестовым флагом (кроме аллитерации на букву «ф»)? И все-таки это впечатляет: можем чувствовать себя не только учеными, культурными, но и еще патриотами.

Таким образом, коммерческая эстрадная музыка в наши дни создает иллюзию приобщения самых широких слоев общества к культуре, якобы давая возможность за самый короткий срок «обжить» эту чужую, не постигнутую доселе территорию, на время стать ее обитателем. Можно, конечно, с одной стороны, отнестись к этому явлению с радостью — как к показателю возрастающей демократизации культурной жизни. Но нельзя не заметить другую сторону этого же явления, вызывающую серьезные опасения: когда неосведомленный человек вдруг чувствует себя «при культуре», это иногда ведет к таким же последствиям, как получение комфортабельных квартир.

К этому, казалось бы, побочному явлению эклектизма и культурной всеядности следует относиться серьезно. Прежде чем заклеить так называемую музыкальную банальность, мы должны осознать, что в изменчивом мире современной культуры глубина мировосприятия в музыке уже целиком не зависит от интонационных или жанровых качеств музыки. Такая зависимость ведь образовывается в рамках конкретного времени, конкретного общества или более узкой среды. (Вне этих рамок остается лишь определенное воздействие звука и ритма на физиологическом уровне.) Значит, зависимость содержания от определенных параметров языка обусловлена исторически и действует силой традиции, которая сводится на нет в рассматриваемой выше ситуации общежития Моцарта и фокстрота.

На Всесоюзной конференции по вопросам музыкальной социологии и музыкальной культуры молодежи приводились такие цифры: количество так называемых эстрадных концертов в 7 раз превосходит количество всех других вместе взятых. Легкая музыка составляет 92% годовой продукции фирмы «Мелодия». И при этом пластинку «Битлз» эта фирма умудрилась выпустить с опозданием ровно на 20 лет! Музыка по радио звучит примерно 96 часов в сутки и т. д. Что еще говорить о доле магнитофонных записей, которые имеет каждый ученик.

Поэтому жанровая и стиливая неопределенность современной коммерческой легкой музыки становится явлением, требующим пристального внимания специалистов.

¹ Jean Montra sous féminin visage et le sorset et sous le cotiglion d'unvrai Roland est vigeur et courage.

ROCK IN THE USSR

(Продолжение. Начало см. в № 5)

ГЛАВА 2

Начало советского рока. Долгие поиски убедили меня в том, что первая настоящая рок-группа появилась в Риге, в Латвии. Здесь, в пригороде этого балтийского порта, около платформы электрички Иманта меня встретил человек и, усадив в белую спортивную машину Hansa 1937 года, привез в свой деревенского типа коттедж. Там, под навесом, стоял еще гигантский «Buick-8» 1940 года. «Моя голубая мечта — раздобыть настоящий рок-н-ролльный автомобиль, американский хромированный «крейсер» конца 50-х... Человек — это Пит Андерсон (настоящее имя Петерис Андерсонс), год рождения 1945-й, очень скромный «вечный парень» в больших очках и с прической «ежик». Он никогда не был профессиональным музыкантом, хотя уже более двадцати лет играет на гитаре и поет рок-н-ролл.

«Самой первой группой были The Revengers — хотя они сами не очень понимали, кому и за что мстили. Лидер и вокалист Валерий по кличке Saintsky, наполовину татарин, наполовину еврей. Он всегда ходил с акустической гитарой, пел в парках и подворотнях, и его коронным номером была «When the Saints go Marching in» — отсюда и прозвище. «Revengers» начали играть в конце 1961 года, в продаже уже были чешские электрогитары, а бас-гитары сделали сами, экспериментальным путем, используя струны от рояля. Струны были очень жесткие, и чтобы играть, пальцы обматывали изоляционной лентой... Выступали в школах на танцах под транспарантом «Go Revengers Go!». Пенертуар состоял из рок-н-ролловых стандартов Elvis, Haley, Little Richard и черного ритм-энд-блюза. «Информацию мы получали, в основном, с радио. Я не был членом «Revengers», но мы дружили и сотрудничали: Saintsky не знал английского языка, и моей задачей было «расшифровывать» записи и писать для него хотя бы приблизительно — оригинальные тексты песен. Когда Валерий призвали в армию, я ушел из дома, за месяц научился играть на гитаре и сам начал петь, вместо Saintsky. Эта моя первая группа называлась «The Melody Maker». Влиять было очень много, но все-таки мы склонялись к черной музыке, в большом почете у нас был Уилсон Пикетт».

Примерно в это же время, в 1963-м, зазвучал первый эстонский рок-н-ролл — группа «Juniorid» (The Juniors), состоящая из трех братьев Кырвиц. Затем она трансформировалась в «Optimistid», с которыми иногда — в качестве приглашенно-

го гитариста — играл и Пит Андерсон. Балтийская машина завелась раньше и начала работать на ритм-энд-блюзовом топливе. В России все было немного иначе.

Записи рок-н-ролла были большой сокровищницей модой, но еще не руководством к действию. Они, скорее, заканчивали «пассивную» эпопею стиляг, чем начинали новое движение. Слово Коле Васину (р. 1945 г.), большому борodatому добряку, патриарху ленинградских рок-фанов, создателю и содержателю единственного в стране музея рок-реликвий*. Романтика, неведомая поэзия из космоса обрушилась на нашу серую жизнь. Что у нас тогда было? Стерильные слащавые песенки типа «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?», или «Полюбила я такого и не надо мне другого» в исполнении пошлого оркестра лысого Эдди Рознера... Но у меня был обитый синим бархатом проигрыватель «Юбилейный», и приятель приносил в коробке из-под обуви пластинки «на костылях». Они стоили 5—10 рублей на старые деньги, и я не мог покупать их, но слушал запоем. Часто мы не знали ни исполнителей, ни названий песен — ведь «кости» шли без аннотаций — но все равно с кайфом их распевали на свой манер. Моей любимой была «Турифури, ов-рури»... Я балдел, я стал бездельником».

Александр Градский (р. 1949 г.), голосистый папа московского рока, живет недалеко от Ленинского проспекта с молодой женой и двумя малышами, и тоже ездит на огромном «Buick», разваливающейся, цвета изумруда, колымаге середины 70-х. Он признан и вполне уважаем, но по-прежнему довольно «экстравагантен». «Я находился в привилегированном положении: мой дядя, танцор в фольклорном ансамбле Моисеева, часто ездил на Запад (тогда это была редчайшая возможность) и привозил оттуда настоящие пластинки. Я начал их имитировать лет в двенадцать: ставил диски и пел вместе с Пресли и прочими. Когда мне было тринадцать, я пошел в студию «звукowych писем» на улице Горького и записал там «Tutti Frutti». До сих пор эта штука где-то у меня валяется. Но рок-н-ролл не был для меня всем. Я учился в музыкальной школе, и там мы слушали Шаляпина и Карузо, пели Шуберта и Баха. Дома я «попугайничал» не только с американскими хитами, но и подпевал Леониду Утесову и даже Клавдии Шульженко. Короче, я хотел петь, но в голове творился полный сумбур. И так было до 1963 года, когда я впервые услышал «Битлз». Со мной был шок, истерика. Пришли эти ребята и сразу

«Воткните в мое сердце
Электропровода — Да, да, да-а-а!»
[«Синеглазый демон»,
группа «Браво».]

же поставили все на место. До них была только прелюдия».

Коля Васин тоже понял, зачем живет, только услышав «Битлз»: «Ко мне пришел приятель и спросил: — Слышал про новую сенсацию, «жуков-ударников»? — и поставил ленту, записанную с радио Би-Би-Си. Это было божественно. Я почувствовал себя абсолютно счастливым и всемогущим. Исчезли подавленность и страх, воспитанные годами. Я понял, что все, кроме «Битлз», было насильем надо мной».

Градский (кажется, он не знаком с Васиним): «Мне тут же все обрыдло — кроме «Битлз»».

Алексей Козлов (более спокойным тоном): «Наша рок-музыка началась с «Битлз»».

К этим голосам может присоединиться хор миллионов. Роль «Битлз» в зарождении рока невозможно переоценить: она была главной и решающей. Я давно задавал себе вопрос — почему? — и могу поделиться некоторыми соображениями. Мне кажется, Элвис и рок-н-ролл были хороши, но слишком экзотичны для нас. Жесткий «черный» ритм, быстрый темп, кричащий или гиперсексуальный голос — колоссально, неслышанно, идеально для новых танцев — но можно ли с этим идентифицировать себя? Нет, до них далеко, как до Америки. «Битлз» были рядом, и не географически, а душевно. Счастливые и совершенно натуральные голоса «Битлз», сливавшиеся в гармоническом хоре, оказались именно тем «своим» голосом, которого так ждало наше мягущееся новое поколение, но не могло само придумать... Ответ пришел из Ливерпуля.

Затем у «Битлз» были мелодии. Для русского уха это необходимо. Хорошие ритм и саунд всегда приветствуются, но без красивых, напевных мелодических линий шансы на настоящий успех сводятся к минимуму. Поэтому «Rolling Stones» никогда не были у нас соперниками «Битлз», а «The Who» вызывали гораздо меньше интереса, чем «Hollies» или даже «Tremeloes» (И поэтому я сижу сейчас по уши в письмах от радиослушателей, возмущенных моими критическими высказываниями в передаче о жалких «Modern Talking»)... Часто и от разных людей я слышал одну и ту же фразу: «Битлз» попали в «десятку». Да, у них было все, и если вы хотите почувствовать, в чем страшно нуждались миллионы одиноких молодых сердец в России, то достаточно послушать «She loves you». Радость, ритм, красота, спонтанность. Идеалист Васин называет это одним словом

* Первые настоящие бас-гитары появились в магазинах в 1967 г.

* Музей располагается в собственной комнате Васина в коммунальной квартире.

* Так в нашей прессе поначалу перевели название «Beatles».

«Любовь». То, что, как известно, нельзя ни купить за деньги, ни получить в качестве премии за отличную работу или учебу.

Трещина между поколениями (у нас это называется «проблемой отцов и детей»), которую наметили стилияги и стимулировал молодежный фестиваль, стала стремительно разрастаться. Взлелеянная патриархальная «общность» культурных устремлений вдруг стала разваливаться. Уже не единичные хипстеры, а массы «детей» поставили жирный крест на ариях из оперетт, спортивных маршах, слезоточивых романсах и прочей казенной эстраде и отдались во власть нездешних электрических ритмов. Теперь это не было данью моде или снобизмом: за искренность «Битлз» фаны платили своей искренностью. Новый язык так манил и был так доступен, что мало было слушать, хотелось попробовать сказать самим. Наверное, хотелось просто радоваться, попугаичничать и балдеть. Но за этим стояло нечто большее, «всемирный подъем рока», по словам Коли Васина. Они впервые почувствовали свое право на независимое самовыражение. Русский рок пошел!

Продолжим монолог Градского. Итак, «... все обрыдло, кроме «Битлз». Я жил недалеко от Московского университета и часто ходил на вечера интерклуба. Там было много студенческих ансамблей — эстрадных и джазовых. Однажды, в одной из комнат, я обнаружил настоящую бит-группу польских студентов — они назывались «Тараканы». Я нагло заявил им, что хочу с ними спеть. Сначала эти ребята посмеялись, потом согласились. Первый концерт я пел вообще без микрофона, и так громко, что одна дама из зала попросила — «нельзя ли потише»... С «Тараканами» я выступил еще несколько раз, а потом познакомился с Михаилом Турковым. Типичный представитель «золотой молодежи» — кстати, внук Нобелевского лауреата Михаила Шолохова — он тоже играл на электрогитаре и пел. Мы нашли ритм-секцию, Вячеслава Донцова и Виктора Дегтярева, и так возникла моя первая группа «Славяне».

Это произошло в начале 1965 года, и «Славяне» были, по-видимому, третьей по счету «русской» рок-группой в Москве. Первые — «Братья», но они существовали очень недолго, вторые «Соколы». «Славяне» и «Соколы» конкурировали между собой: группа Градского ориентировалась на репертуар «Битлз», «Соколы» — на «Rolling Stones» и, впоследствии, «Monkees». В Ленинграде были «Странники» (начало 1964-го) затем «Лесные братья», «Авангард» и «Аргонавты». Все группы играли только на танцах — в колледжах, школах, студенческих кафе и общежитиях* — и получали за выступление по 50—100 рублей, по договоренности с организаторами. Вся аппаратура была самодельная. Например, оборудование «Славяне», сконструированное неким Сашей Королевым, состояло из трех 25-ваттных гитарных комбо и 100-ваттной Р. А. Стоил весь комплект тысячу рублей.

Постепенно создавалась рок-община (хотя слово «рок» вообще не имело хождения — вся новая музыка называлась «биг-бит» или просто «бит»). Внешне новая прослойка еще мало отличалась от окружающих и никак специально себя не

называла — разве что «битломанами» иногда. Ребята старались быть похожими на «Битлз»: соответствующие прически — «битловки» с круглым воротничком и без лацканов. (Кажется, сами ливерпульцы называли это «Китель Неру»). А также белые рубашки и галстуки.

Поклонники биг-бита мигрировали с танцплощадки на танцплощадку: разумеется, никакой рекламы не было, и вся информация о выступлениях групп передавалась из уст в уста. Там же происходил и популярнейший в то время обмен фотографиями: Джона на Пола, концертных снимков на репортажи с прессконференций... Фотографии даже давали «в аренду» — полюбоваться несколько дней. Незаметно возникла подпольная индустрия и «черный рынок»: перезаписи пластинки стоила три рубля, сама пластинка (LP) — двадцать—тридцать.

Самыми преданными фанами англо-американского рока были сами музыканты. Их священной миссией и главной заботой было спеть и сыграть как можно ближе к оригиналу, скопировать в точности каждый звук, тембр каждого голоса. И это вовсе не считалось недостойным имитированием — напротив, было очень почетным и целиком соответствовало ожиданиям публики. Записи оставались вещью не очень доступной, дискотек не было, и «живые проигрыватели» в форме местных бит-групп отчасти компенсировали музыкальный голод.

К 1966 году в больших городах были уже десятки любительских «биг-битов» и состоялись первые фестивали. В Риге во Дворце спорта «Динамо» сыграли «Melody Makers», «Atlantic» и «Eolika». Последняя группа славилась своей вокальной секцией и, по свидетельству очевидцев, они исполняли «один в один» репертуар «Beach Boys». В Ленинграде первый фестиваль произошел в двухэтажном кафе «Ровесник»: играло пять групп и присутствовало жюри из локальных комсомольских активистов. Здесь царила битломания; несколько отличался «Авангард» с певцом Вячеславом Матиевым, «ленинградским Элвисом»: у него был богатый блюзовый голос и репертуар от Бобби Дэррина до Спенсера Дейвиса.

Фактически, все концерты и даже фестивали базировались исключительно на энтузиазме, частной инициативе и финансово обеспечивались продажей билетов на «черном рынке». К счастью, конфликтов с законом не возникало — равно как не проводилось кампаний по постриганию бит-фанов. Общество стало гораздо более плюралистичным по сравнению с временами гонений на стилияг. Тотальный контроль отошел в прошлое, на смену пришло тотальное игнорирование.

Трудно себе представить, но это так: вся бит-сцена существовала абсолютно вне всяких связей с официальной культурной и общественной жизнью. Это был даже не оппозиционный и критикуемый «андерграунд», а просто нечто совершенно отдельное и независимое. О новаторском советском роке не писали в газетах и не говорили на совещаниях, им не интересовались концертные организации и Министерство культуры*, даже милиция держалась в стороне.

* В то время культурные инстанции были заняты другой проблемой: адаптацией джаза в советских условиях. Проходили шумные джаз-фестивали, и вчерашние стилияги энергично дискутировали на страницах газет и по радио с консерваторами, отстаивая право на свою музыку.

Пит Андерсон вспоминает, как в апреле 1965 года у «Melody Makers» отменился концерт в зале планетария, и огромная толпа фанов стояла у здания, в самом центре города, под транспарантами «Свободу гитаре!» целых шесть часов. Некоторые прохожие присоединялись к демонстрации, а милиция в недоумении стояла поодаль, пока с наступлением ночи все не разошлось. Возможно, что Пит с горя (или на радостях) тут же отправился за триста километров в Таллин, куда он непременно ездил каждую неделю только за тем, чтобы посмотреть поп-программу по финскому телевидению.

Обо всех приключениях наших рок-аутсайдеров первого поколения я узнал много позже. А тогда мне было десять лет: я жил с родителями в братской Чехословакии (они работали в редакции международного журнала), и только часть летних каникул проводил дома. Тогда я и получил свои первые впечатления о «надземном» советском попсе. Кстати, он был не так уж плох... во всяком случае, звучало много веселой музыки. В начале шестидесятых советская культура абсорбировала твист. Этот облегченный, «мягкий» вариант рок-н-ролла не только породил массовую молодежную танцманию, но и настроил на отрицательно миролюбивый лад некогда идеологически непримиримое руководство. Отношение чиновников к твисту было презрительно-снисходительным: то есть, конечно, это ерунда и музыка для молодых дураков, но пусть побалуется, ничего страшного. Помню карикатуру в сатирическом журнале «Крокодил»: модно одетая парочка стоит перед фишей, где написано, что сегодня в клубе «Оливер Твист», подпись: «Давай сходим — покажем им, как надо танцевать твист!» Или сцена танцевального урока в кинокомедии «Кавказская пленница» — толстый комик-учитель твиста — бросает на пол два окурка и начинает синхронно растирать их ботинками; затем берет в руки за два конца длинное полотенце и в том же ритме делает движения, как бы вытирая мокрую спину... Это твист!

Чабби Чекер с «Let's twist again» дал первый импульс, а затем появилась масса твистов собственного производства: «Лучший город Земли» (имелась в виду Москва), «Черный кот», «Последняя электричка», «Эй, моряк, ты слишком долго плавал» и сотня других. Поп-кумиры тех лет — Муслим Магомаев, азербайджанский красавец с пылким взором и оперным голосом, и Эдита Пьеха — томная шепчущая киска польского происхождения, певшая по-русски с нарочитым акцентом... Бурные события последующих лет заставили всех нарочью забыть веселую эру советского твиста, но в середине 80-х произошло настоящее возрождение духа «черных котов». «Браво», «Стандарт», «Мистер Твистер», «Ва-Банк» и некоторые другие молодые и чуждые тяжеловесной «серьезности» нашего рока ансамбли неожиданно вытащили на свет острые ботинки, платя в горошек, манеры стилияг и мелодии твиста. Смешно, но это настояло публике: издевка? подвох? пародия? «Нет, просто мы поем песни наших отцов», — заявил в телеинтервью лидер «Браво», и этот достойный комсомольца ответ всех успокоил.

Сейчас, слушая старую твистовую пластинку (они выходили в формате 7" или 10", но всегда на 33 об/мин.), мне кажется, что эти песенки были намного живее и за-

* Первый в Москве рок-концерт в зале со сценой состоялся, по воспоминаниям Градского, в 1966 году в Министерстве иностранных дел... Может быть, из-за того, что все пелось на английском языке?

бавнее, чем большая часть советского «подпольного» рока шестидесятых—семи-десятих годов. Но я могу понять, почему рок-публика тогда отвергала эту продукцию. Здесь дело не только в глупых текстах и кукольных исполнителях: главное, чего не хватало — это настоящего электрического звука. Все эти записи были сделаны в традиционной фокстротной аранжировке, с медными секциями, аккордеоном и без намека на электрогитары.

Тем временем, несмотря на obstruction со стороны прессы*, ливерпульские «жучки-ударники» настойчиво стучались в дверь, а местная электрическая самодеятельность, даже находясь в вакууме, набирала очки и разрасталась публику на танцплощадках. Шаг к официальной адаптации рока был неизбежен, и в конце 1966 года на профессиональную сцену была выпущена первая официальная бит-группа.

Здесь необходимо объяснить принципиальную и важную для понимания ситуации в нашей стране разницу между профессиональными и всеми остальными музыкантами. Любители, которых могут быть миллионы, не имеют права (формально, во всяком случае) получать деньги за свои выступления, не имеют никакой поддержки со стороны государства (в лучшем случае, их может субсидировать какой-нибудь завод или институт) и, в свою очередь, тоже ничего ему не должны. Считается, что эти люди зарабатывают себе на жизнь основной, «дневной» работой, или получают стипендию в колледже, а вечером могут заниматься чем угодно — пусть даже играть рок.

Для профессионалов музыка — основная работа. Они принадлежат какой-то государственной концертной организации (их около двух сотен — в каждой области страны) и должны регулярно, чтобы выполнять финансовый план, давать концерты. За каждый концерт музыкант получает приблизительно от шести до пятнадцати рублей — в зависимости от своей аудитории. Свою программу профессиональный ансамбль представляет на суд так называемого худсовета — комиссии культурных чиновников, оценивающих ее с точки зрения коммерческого потенциала, качества исполнения и идейных достоинств. Если программа не одобрена, ее надо сдавать повторно, с учетом высказанных замечаний. Если группа совсем не устраивает худсовет, ее выгоняют из филармонии, и она как бы перестает существовать на официальном уровне — пока не попробует снова показаться какому-нибудь худсовету... У профессионалов есть ряд преимуществ перед любителями: различные заработки, гастроли, аппаратура за государственный счет, меньше проблем со звукозаписью, ТВ и радио. Любительский статус имеет один, но немаловажный плюс: можно играть что хочешь и сколько хочешь.

Итак, первыми были «Поющие гитары» в Ленинграде, затем «Веселые ребята»

в Москве. Слова «рок» и «бит» не приветствовались, так что эти коллективы — и десятки других, хлынувших вскоре в филармонию, — получили официальное наименование ВИА — «вокально-инструментальные ансамбли». Это была дисциплинированная, или, точнее, кастрированная версия «биг-бита». В ВИА обычно было порядка десяти человек (ритм-секция, пара гитар, орган, пара медных и несколько солистов, иногда с тамбуринами) и репертуар состоял из «Shadows»-образных инструментальных пьес, вялых русскоязычных версий английских хитов и (в основном) обычных рутинных поп-песенок в умеренно электрическом звуке. Ужасно скучно, но это был этап в культурной революции — особенно сенсационный для провинции, где люди всерьез думали, что электрогитары включают в сеть, как радио, и тогда они звучат громче.

ГЛАВА 3

«Кочуймай, мать, ништяк,
Это психеделик».
(Александр Градский,
«Птицеферма»)

В 1968-м году я вернулся из Праги на родину, о которой имел не очень четкие представления. Первым, на что я обратил внимание в Москве, было обилие модных клешеных брюк; первым, что я услышал еще на вокзале, была русская версия «Suddenly you loved Me», «Tremeloes» («Песенка велосипедиста»), анс. «Поющие гитары»). Жизнь продолжалась. Товарищ по новому классу сводил меня в Студию электронной музыки, где Эдуард Артемьев и компания яйцеголовых композиторов экспериментировали с первым советским синтезатором «АНС», работавшим по оптическому принципу: на большом закопченном стекле можно было нацарапать любую загогулину, и этот рисунок издавал нелюдиные звуки. Следующим летом, когда американцы летали на Луну, я попал на первый рок-концерт, играли «Тролли» и «Оловянные солдатики» (последние, по слухам, существуют тихо до сих пор). Дело было в бит-клубе у метро «Добрынинская», бит-клубы возникли в Москве чуть ли не каждый месяц, но тут же закрывались испуганным начальством. В конце 60-х ребята в строгих костюмах было от чего прийти в ужас: города захлестнула форменная эпидемия рока. Такого не бывало ни до, ни после... Сотни дворовых групп, тысячи гитар, сотни тысяч неистовых поклонников и поклонниц. Натуральный бум, сродни стихийному бедствию.

Вот список ансамблей Москвы и области, аккуратно составленный по случаю рождения очередного битклуба... Двести шестьдесят три названия, в их числе такие замечательные, как «Волосатые стекла», «Красные дьяволята», «Замшевая мягкоуглость», «Русско-турецкая война», «Наваждение», «Изгнанники из ада», «Молодые команчи», «Фиолетовая катастрофа», «Полуночные бражники», «Муравьиный узел», «Экономист», «Злые собаки», «Тысячи звучащих ветров», «Ослиные хвосты», «Судороги», «Символ веры», «Подвиги Геракла», «Стекланные кактусы», «Плешь», «Космонавты»... Одна из групп называлась «Забывшие странички», и это именно то, что случилось и с данным обширным списком и с 95-ю процентами перечисленных в нем групп. Рок-лихорадка трясла Москву

несколько лет (1970—1972), но на этом импульсе советский рок катился еще десятилетие. Итак, веселые денечки (странно, что не было группы с таким названием... зато были «Ветры перемен» и «Лучшие годы») в деталях.

Страх прошел, десятилетия жизни в униформах казались кошмарным сном; советская молодежь почувствовала свою самостоятельность и право на собственные ценности. Однако одной лишь музыки и обмена фотографиями было явно недостаточно — требовалось нечто вроде идеологии, некая новая мощная идентификация. Градский: «Это был хиппизм».

Да, хипповая штука в мгновение ока радикально перелицевала облик наших молодых людей. Мне кажется, это было самое массовое и заметное «альтернативное» движение из всех, что я у нас когда-либо наблюдал. То есть, даже все многочисленные и шумные сегодняшние группировки выглядя довольно хило по сравнению с «совхиппи» начала семидесятых. Не думаю, что философская, «теоретическая» сторона хиппизма имела здесь большое значение — я почти не встречал людей, которым что-либо говорили имена Тимом Лири, Джона Синклера или Джерри Гарсия — но «контркультурный» стиль жизни был с энтузиазмом подхвачен миллионами. Антураж хиппи был нов, но понятен и доступен: он позволял ярко выделиться и противопоставить себя «нормальному» обществу, а также эффективно идентифицировать себя с некой «передовой» общиной. Коля Васин выразил эту сложную формулировку просто: «Когда я увидел обложку «Abbey Road», на следующий день я снял ботинки и пошел по Ленинграду босиком. Это был мой вызов, моя попытка самоутверждения».

Быт хиппи и формы их общения почти в точности повторяли практику стиляг, только масштабы были в сотни раз больше и названия появились новые. Улица Горького теперь именовалась не Бродвей, а просто Стрит, и вся она была вечером заполнена длинноволосыми ребятами и девочками в мини и максис; и те и другие носили бусы, цепочки и значки. Значки, как правило, производились самостоятельно: брался готовый фабричный продукт и сверху наклеивалась фотография любимой группы или популярный лозунг — обычно простое слово «Love» или «Make Love not War» (по-английски). Однажды на таком значке я увидел портрет Н. В. Гоголя — с волосами до плеч, как известно — и подписал «John Lennon».

Главным предметом одежды, естественно, стали джинсы, но у местных портных работа тоже кипела. Многие хиппи зарабатывали себе на жизнь пошивом брюк — из брезента, ткани для матрасов и т. п. Обязательным модным атрибутом был немислимый клеш — тридцать—сорок сантиметров. Ширина брюк как бы свидетельствовала о степени радикализма и преданности хипповой идее. Помню, когда я познакомился с Игорем Дегтярюком, «московским Джимми Хендриком», лидером группы «Второе дыхание» и одним из столпов хиппизма, он недовольно посмотрел на мои узкие джинсы, заправленные в высокие ботинки, и спросил: «Ты что, за войну?» Сам он был одет в какой-то псевдоиндийский балахон и необъятные цветастые клешы из гобеленовой ткани, поверх каждой штанины которых, как лампы, только спереди, были пристрочены огромные пацифистские знаки.

* Первая благожелательная — после длинной серии саркастических фельетонов — статья о «Битлз» (автор — джазовый критик Леонид Переверзев) была напечатана в «Музыкальной жизни» в 1968 г. Коля Васин: «Я бегал с этой статьей в руках по всему городу и кричал «Мы победили!»... Конечно, об окончательной победе говорить было рано.

У хиппи были традиционные места сбора в скверах в центре Москвы: главное из этих мест, у старого здания Университета на проспекте Маркса, называлось «Хипподром». Однако, в отличие от стайга, хиппи активно митинговали, особенно летом. Автостоп стал чем-то вроде профессионального спорта. В теплые месяцы десятки тысяч «волосатых» собирались в Крыму, своего рода советской Калифорнии. В Ялте был большой рынок, где хиппи торговали одеждой, пластинками и всяческими модными предметами, зарабатывая прожиточный минимум, а климат и обилие «коммун» позволяли не очень заботиться о крыше над головой. Я сам однажды прожил в Крыму два месяца, имея несколько рублей в кармане, иногда воруя еду в закусочных и на базарах и ночуя каждый раз в другом месте. Другим популярным географическим пунктом был Таллин. Здесь, между средневековым готическим костелом и кафе «Pegasus» находилась легендарная «Горка», где концентрировались хиппи со всей страны и где можно было встретить самые экзотические личности: буддистов, кришнаитов, прочих пророков, спонтанных философов и просто ребят, неменяемых после уколов. Впрочем, проблема наркотиков не стояла особенно остро: большинство удовлетворялось дешевым крепленным вином. Моральный кодекс наших хиппи ставил превыше всего свободную любовь, и это активно практиковалось, часто в коллективной форме.

Власти — конкретно, милиция, ибо с прочими инстанциями движение не соприкасалось, — относились к хиппи без симпатии, но достаточно терпимо. Количество этих отщепенцев было таково, что если задерживать всех за вызывающий внешний вид и аморальное поведение, то не хватило бы наличного состава и «приемников»*. В некоторых, особо «неблагополучных» случаях (в частности, в Риге) практиковались облавы на притоны хиппи с последующим обвиранием всех наголо и проверкой на венерические заболевания. Бывало, что отлавливали одиноких хиппи и пытались вправить им мозги с помощью кулаков. Лично со мной такого не было.

Пожалуй, самой забавной штукой был хипповый слэнг. Он с зеркальной точностью походил на язык героев «Clockwork Orange»: русский с массой слегка переделанных английских слов. Мужчина — «мен», девушка «герла», старый — «олдовый», новый — «брендновый» (от «brandnew»), провинциальный — «кантровый» (от «country»), сумасшедший — «крейзовый», лицо — «фейс», квартира — «флэт», ботинки — «шузы»; пять рублей — «файв», десять рублей — «тэн», и так далее.

Вообще мне кажется, наш «пипл» (так себя называли хиппи), мало отличался от западных, только в социальном отношении они были более пассивны: течений, похожих на «yirrie» и прочую «новую левую» у нас практически не было. Хиппизм был альтернативным способом получения альтернативного удовольствия. И во главе всего стояла музыка, в первую очередь, англо-американский рок. Отсюда и моды, и жаргон, и бесконечные часы балдения у стерео.

Западные «LP» были фетишем номер один. Естественно, в магазинах не было и намека на них, привоз осуществлялся моряками, спортсменами, дипломатами,

и пластиночный черный рынок бурлил. «Брендновый рекорд» популярной группы стоил 60—70 рублей, а за тридцатник шли диски, которые вообще невозможно было слушать. Из альбомов с разворотом часто вырезали середину и вешали на стену в качестве постера — после чего остатки конверта склеивали и продавали пластинку чуть дешевле. («Настоящие» постеры стоили по 10—25 рублей, в зависимости от размеров и содержания.) Двойные альбомы разрезали и продавали по отдельности. Старые диски паковали в целлофан и спекулировали ими, как «брэндом»... Варварство, коммерция и фанатичная любовь к року слились воедино.

В 1972 году мы со старым, еще пражским, приятелем Сашей Костенко начали проводить первую в Москве (по крайней мере, о других я не знал) дискотеку. За 15 рублей мы арендовали у знакомых групп их Р. А., везли в одно из кафе МГУ и там крутили пластинки. Платили нам 40 рублей, что едва покрывало расходы, считая вино, которое мы распивали за пултом. Дискотека была не совсем обычная по международным стандартам. Первый час посвящался «прослушиванию» — то есть, я заводил музыку «серьезных групп» («Tetho Tull», «Pink Floyd», «King Crimson» и т. п.) и рассказывал об их истории*, а потом уже часа три публика самовыражалась в танцах. Спустя несколько лет дискотек в Москве были десятки, причем в некоторых не плясали вообще, а только слушали и просвещались. Это и понятно: пресса хранила угрюмое молчание по поводу рока, и стражающая община кормилась, в основном, слухами. Один из этих слухов жив и лелеется до сих пор: что «Битлз» все-таки выступали в Советском Союзе, в аэропорту Москвы, когда летели из Японии, — и это стало поводом к созданию «Back in the USSR»...

После распада «Битлз» переходящий выпел фаворитов советских рок-фанов оказался в руках хард-роковых групп: «Led Zeppelin», «Deep Purple», «Black Sabbath», «Uriah Heep», «Grand Funk». Любители музыки поспокойнее и женское меньшинство предпочитали Карлоса Сантану, Кэти Стивенса, Элтона Джона, более посвященная публика — «Pink Floyd», «King Crimson», «Yes».

В начале семидесятых рок для себя открыла и часть респектабельной аудитории, так называемой творческой интеллигенции. Великим откровением для них стала рок-опера «Jesus Christ Superstar»... Они не выносили ублюдочных ритмов рока, пока их не украсило звучание симфонического оркестра и помпезные клише арий и увертюры. Впрочем, сами рокеры тоже искренне возрадовались. Они любили свою музыку, но как-то сжились с мыслью, что она находится вне «истинного искусства», и в глубине души чувствовали себя не только отверженными, но и немножко «моральными уродами»... Авторитет классики насаждался повсюду с детства, поэтому даже от самых фанатичных приверженцев рока можно было услышать признания типа «конечно, Бах и Бетховен — это высоко, это супер... Жаль, что я эту музыку почему-то не люблю»... Соответственно, одним из популярнейших

* С этого, кстати, началась моя миссия «рок-критика». Однажды вечером в дискотеку пришли люди из молодежного ежемесячника «Ровесник», послушали мою лекцию и предложили писать для них статьи. Первая, о «Deep Purple», вышла в начале 1975-го.

аргументов в поддержку и защиту убогого рока стало то, что «эта музыка готовит молодежь к пониманию великого классического наследия» — и в подтверждение «Картинки с выставки».

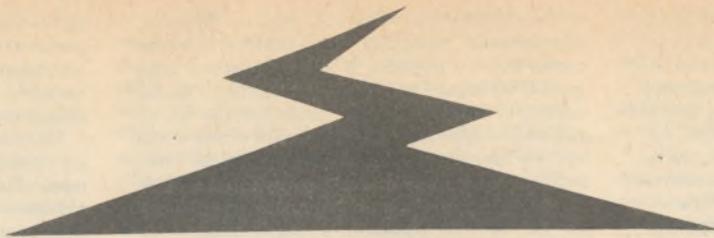
Из веселого гетто рок стал потихоньку превращаться в нечто более престижное. Первым, кто это почувствовал в Москве и нашел в себе смелость сделать шаг из относительно благополучного мира джаза в роковую резервацию, оказался Алексей Козлов. В конце 1972 года он скооперировался с компанией подпольных рокеров и основал «Арсенал» — ансамбль с духовой секцией, несколькими вокалистами и репертуаром из сочинений «Blood, Sweat & Tears», «Chicago» и почти всего «JC Superstar»... Козлов понес идею «окультуренного» рока в массы интеллектуальной публики... Характерно, что один из первых концертов состоялся в знаменитом «левом» Театре на Таганке. Один из вокалистов «Арсенала» был настоящий иранец. В отличие от большинства, он пел по-английски с хорошим произношением.

Именно на одном из ранних концертов Ансамбля Козлова — как сейчас помню, в Центре онкологии — я впервые попал в настоящую свалку у входа с риском сломать ребра. Дикий ажиотаж сопровождал почти все выступления рок-групп: залы небольшие, билетов было мало, и толпа шла напролом, ломая двери и карабкаясь в окна. Из воспоминаний А. Градского: «Это было лето 1971 года. Мы должны были играть на танцах в фойе Института народного хозяйства. Было продано 500 билетов, и кто-то напечатал еще тысячу фальшивых. Мой ударник забыл дома палочки, и я поехал за ними, а когда вернулся, толпа у входа была такой, что я не мог протиснуться к дверям. Я им говорил: «Я Градский, мне надо пройти», — но вокруг посмеивались и отвечали: «Все тут Градские, всем надо пройти». (Вот парадокс: поскольку пресса и ТВ были «вне игры», мало кто из публики знал в лицо своих кумиров! — А. Г.). Но играть надо было — мы взяли деньги вперед... Тогда мне не оставалось ничего другого, как полезть вверх по стене, цепляясь за водосток и уступы плит. Я добрался до первого подвернувшегося открытого окна на втором этаже, влез туда и оказался прямо на заседании комитета комсомола. Люди там, конечно, выкатили глаза. Ну что, я отряхнулся, говорю — извините, у нас тут танцы — и прошел в дверь. На танцах тоже было весело: человек восемь девушек в середине зала разделлись догола и плясали, размахивая балочками. Дружинники увидели это с балкона и стали пробираться к ним, но пока они протискивались, те уже успели одеться».

Не знаю, что это были за девушки, но «профессиональные подружки музыкантов» у нас тоже появились, и я думаю, без всяких подсказок с Запада. Они ходили на все «сейшенз» (еще одно популярное английское слово, означающее «рок-концерт»), носили самые отважные мини-юбки и полупрозрачные гипюровые блузки, танцевали около сцены и привлекали внимание. Никакого названия у них не было (слово «groupie» здесь не имело хождения), но все знали, что они такие, и относились к ним с уважением. Предводительницей команды московских groupies была невысокая брюнетка с прямым пробором и довольно потрепанным (или всегда слишком сильно накрашенным) лицом, по слухам, дочь полковника.

(Продолжение следует)

* Помещение, куда доставляют задержанных на улице.



ГАЛИНА БЕЛИКОВА,
АЛЕКСАНДР ШОХИН

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И В БЫТУ

ЧТО ЗА ФАСАДОМ!

Внешность, как известно, часто бывает обманчивой: за грубыми манерами может прятаться нежная, чувствительная душа, за роскошно обитой частником дверью — паутина и беспорядок, а за фасадом командной экономики всегда скрывалась совокупность неформальных — отличных от декларируемых директивно-административных — методов ведения хозяйства.

Они возникали как способ адаптации к регламентированной экономике; нередко деформировались и принимали уродливый вид; но являлись объективно той смазкой, которая позволила так долго крутиться ее проржавевшим шестеренкам.

Так, давным-давно очевидные для хозяйственников недостатки планирования «от достигнутого» — должным образом оцененная сейчас гримаса экономики, — на деле сплошь и рядом обходились и в деформированной хозяйственной жизни частными, кулуарными способами. План, например, спускался такой, чтобы приспособиться к изначально заложенной в действующую систему планирования ненормальности: в той или иной степени заниженной. С тем, чтобы его можно было выполнить, перевыполнить, и на будущий год резервы для перевыполнения оставить: т. е., план ориентировался не на фактические, оптимальные, а на искусственно

урезанные возможности предприятия.

И поскольку в прямой, открытой форме делать это все-таки было нельзя, договоренность по поводу плана осуществлялась обычно в форме негласного «джентльменского соглашения» между директорами заводов, фабрик, с одной стороны, и соответствующими работниками главков, министерств и ведомств, с другой. Практически это выглядело обычно так, что во время обязательного, жаркого, ежегодного торга насчет очередного планового задания, одна сторона изо всех сил самозамалывалась и скрывала свои резервы — в плане роста производительности труда, рационализации и интенсификации, экономии материальных ресурсов и т. п., — а другая, при полном и адекватном знании об этих резервах, делала вид, что верит.

Иначе говоря, с централизованным планированием велась игра, козыри которой, по обоюдной договоренности сторон, придерживались. Естественно, что такие «игривые» отношения базировались не на должных безупречно административно-приказных, а на личных, неформальных контактах и связях. Они-то и составляли каналы, по которым функционировала неформальная экономика.

И все это было бы где-то по-человечески понятно, — как естественный способ приспособления организма к неестествен-

ной экономической среде, — останься неформальная экономика на невинно-адаптивных рельсах. Но она на них не осталась. Возможность безнаказанных, под прикрытием вышестоящей «дружбы» и «понимания», манипуляций с планом открывала широкие асоциальные перспективы, и они, по мере их использования, все неуклонней задвигали неформальную экономику «в тень».

Так, например, соглашения насчет плана были не такими уж бескорыстными: он чаще всего занижался не из вынужденно-экономических, а практически-материальных целей: перевыполнение плана давало ряд ощутимых выгод и преимуществ — в виде премий, поощрений, славы «хорошего работника» и продвижения по служебной лестнице и т. д. Соответственно, и высшее начальство шло на это не только ради красивых директорских глаз, а в интересах отрасли: план, например, мог быть искусственно занижен в какой-то год с тем, чтобы на следующий его можно было гордо «переплюнуть», — потому, что отрасли нужны свои передовики и т. п., так появлялись дутые авторитеты и победители, и происходила подмена сущности видимостью.

Резервы развития производства при этом занижались не только на бумаге, но и искусственно сдерживались в жизни:

предприятию было невыгодно действительное — «план повысят!» — повышение производительности труда, внедрение автоматизации и рационализации, — на этой почве, в частности, развернулась многолетняя, хорошо освещенная в печати война администраторов и рационализаторов, и она же создала то двусмысленное, уже для государства в целом, положение, когда открытия советских рационализаторов с успехом использовались за границей, а в отечестве пылились — многие, наверно, и по сей день пылятся, — на ведомственных полках...

Иногда «дутый» план выбивался также не только из-за карьеристских и престижных соображений, или ввиду дозволенных материальных выгод, но и становился прикрытием всевозможных производственных махинаций: производства «левой» продукции из излишка сырья, хищения «неиспользованных» неликвидов и т. п., — ибо непроходимой границы между различными видами теневой экономики нет.

Не были полностью невинными и дружескими и «неформальные» контакты и связи: их поддержание требовало «встреч» и «проводов», с возлияниями, банкетов и пикников, с обслуживанием и прочими забавами, каменных вилок «охотничьих домиков» и т. д., — помимо той деформации, которую подобная, широко распространившаяся практика вносила в общественное сознание, она приводила еще и многих, гостеприимных «в интересах дела» хозяев, к вынужденному отдыху за казенный счет, а многих неустойчивых сановников из «верхов» — к грубой, прямой коррумпированности (странная, проявлявшаяся тут закономерность: как следует из материалов многих дел, например, «ростовского»; чиновники на местных верхах «брали» дороже и настырнее, чем московские министерские: подпись, позволяющая направить дефицит именно данному просителю, скажем, по местному стандарту стоила две тысячи, в Москве могла обойтись в ящик лива, красную рыбку, или еще какую-нибудь безделицу, что москвичей, конечно, не оправдывает, но все-таки...).

Таким образом, в чем-то конструктивные личные взаимоотношения внутри командной экономики с неизбежностью, — под влиянием всей совокупности действующих в ней факторов, — наполнялись индифферентным к интересам общества, а часто и деструктивным содержанием.

Наиболее отчетливо это проявилось в возможности выдавать узковедомственные интересы за «общенародные»: так, два взаимодействующих фактора — самодовлеющее значение «плана» в системе дореформенной экономики и иерархические критерии оценки руководителя по текущим, а не долговременным результатам его деятельности, — сделали желательным, — а личные, неформальные каналы и связи еще и реально достижимым планирование работ, выгодных не обществу, а их непосредственному производителю.

План при этом вовсе не обязательно занижался: он, наоборот, мог и повышаться до любых, удобных производителю размеров. И выполняться потом «любой ценой», — даже если для этого пришлось бы загубить окружающую среду.

Например, ведомство могло бы долго и нудно осушать какое-нибудь болото, копать в колхозе или кишлаке канавки, — что пыльно, непрестижно, плохо оплачивается, и результаты к тому же тре-

буются немедленно. И оно же могло бы осуществить «проект века» — что-то в истории человечества небывалое, и ни с чем, естественно, не сравнимое; с миллиардными капиталовложениями, и премиями, конечно, «по затратам», — так как первые мыслимые результаты обнаружатся лет этак через 20—30... Легко понять, какая перспектива ближе к сердцу ведомства.

Типично при этом, что, как только подобный ведомственный план раздуется до крупномасштабного, не «общенародного», так «общереспубликанского», «дружеские» связи неизбежны, — и тут опять-таки классический пример, дело с поворотом рек, — уже не просто «накладывались» на административные, а осуществлялись с прямыми их нарушениями: так, в обход существующих, четко и однозначно сформулированных правил, лицо, кровно заинтересованное в «проталкивании» своего проекта, было одновременно председателем Государственной экспертной комиссии по этому же проекту.

То есть, разгуливающая неформальная экономика уже не скрывалась и не пряталась, а взламывала отдельные, но беспочвенные, а нужные и разумные, административные порядки и предприятия. Толкала и без того многострадальную экономику на путь прямых административных нарушений и финансовых злоупотреблений.

Более скромной, и если смотреть «изнутри», отвечающей реальным запросам хозяйствования была суета неформальной экономики вокруг карточного снабжения.

Известно, например, что вплоть до сегодняшнего дня лишь очень немногие, в основном стратегические, отрасли народного хозяйства получали необходимые им фонды материалов полностью и требуемого качества; нужды большинства все годы обеспечивались на 50—60% (например, отраслей, выпускающих товары массового потребления), а кое-каких и того менее.

Но также известно, что предприятия в целом по стране имеют сверхнормативные запасы сырья, оборудования и прочего дефицита на сумму, приближающуюся к 200 млрд. рублей. Причем «излишек» не сам собой свалился на голову: его ожесточенно выбивали, пробивали и доставали как по «чистым», так и по незаконным (с дачей взятки) неформальным каналам бойкие снабженцы.

Часть его, конечно, хранится «на черный день», а еще часть — обменивается. Простой, как в детстве — «ты мне куклу, я тебе паровозик», — или, как на заре человечества — корову на горшок, — обмен по формуле «товар — товар» составляет значительное количество от общего объема неформально-экономических операций. В некоторых городах возникли даже определенные, территориально фиксированные «пункты обмена»: в Москве, например, в таком неофициальном «пункте» можно даже покушать, потому что он размещен в обыкновенной шашлычной, — удобное, так сказать, органично совместилось с полезным.

И неформальная экономика в этой своей части, как попытка наладить просветленный экономический товарообмен в условиях фондового голода, целесообразна и оправдана. Но требует огромных непроизводительных усилий и не оправдывающих себя материальных затрат: на командировочные, может быть, в конечном счете и зряшные — не удалось поменяться —

расходы; денег на «представительство», «угощение», и, что уже не в порядке, взятки; «придерживаемое» оборудование при этом ржавеет, портится, морально устаревает... Как адаптивный минимум, иначе говоря, она закономерна, — особенно в «аварийных» ситуациях, — но как долговременное средство неприемлемо. И вообще, смешно в развитой экономической стране пользоваться первобытной экономической формулой.

Меры по преодолению сектора неформальной экономики в целом взаимосвязаны и состоят в полной и последовательной, бескомпромиссной перестройке соответствующих основополагающих особенностей дореформенного планирования, финансирования и снабжения. Аналогично тому, как «обменные операции» станут ненужными, когда Госснаб из верховного «карточкораспределителя» превратится в систему государственных фирм, где платежеспособные предприятия смогут по реабилитированной, цивилизованной формуле «товар — деньги — товар» приобретать нужные им машины, оборудование, приспособления и сырье, при полноценном осуществлении плановой ориентации не на «галочку», а на нужды потребителя, отомрут и «личные связи» как источник преуспеяния, — за ненадобностью. Иначе говоря, в «неформальных» подпорках нуждалась больная экономика, здоровая экономика обойдется без костылей, своими силами.

КАК ВОЗНИКАЛИ МИРАЖИ!

Производиться может не только реальная, но и фиктивная стоимость — то, чего нет в природе, а есть только на бумаге, т. е. — мираж, натуральная «мертвая душа» — приписка: хлопка, кубометров древесины, кв. метров ошпаклеванной площади, и т. д. «Сверхплановая» приписка оплачивается не только через зарплату, премию, но и морально: уважением, признанием, почетными грамотами введенного в заблуждение начальства и окружающих. Возникает она отчасти по объективным причинам — более того, в отдельных случаях без нее не обойтись.

Первая из них — чрезмерная централизация планоуправленческих решений, порождавшая множественность показателей и форм статистической отчетности, доводимых до предприятий и представляемых в вышестоящие органы. Наряду с директивными показателями существовало большое количество расчетных, которые также доводились до предприятий. В условиях жесткой регламентации хозяйственной жизни реальное проявление самостоятельности зачастую вынуждало администрацию предприятий идти на нарушение отчетности (все равно невозможно соблюсти все инструкции, где-то можно и слухавить).

Другой причиной нарушения отчетности может выступать стремление к поддержанию стабильности условий жизни коллектива, и прежде всего стабильности поощрений и процента выполнения плана. «Потребность» в приписке возникала, например, в период адаптации предприятий к новым спускаемым сверху показателям; при невозможности выполнить производственную программу в рамках декады, месяца, квартала, года (при фактическом переходе производственной программы на следующий временной период, она может быть показана в отчетности выпол-

ненной, поскольку в начале следующего года... декады ее легче, спокойнее довести); в целях сокрытия резервов производственных мощностей и материальных ресурсов для формирования «нормальных» условий работы при планировании «от достигнутого» и т. п.

Приписки и другие нарушения отчетности в известной мере выступали компенсаторами недостатков в планировании и управлении, и не всегда связаны с извлечением непосредственной материальной выгоды. В криминологических исследованиях для обозначения подобных явлений было даже введено понятие «производственно-престижная мотивация» экономических преступлений. Конечно, все это не мешает перерастать этим «бескорыстным» припискам в прикрытие хищений, «черной» экономики, прочей корыстной преступности.

Недаром банальные, на первый взгляд, истории, из которых вроде бы и самого простенького детектива не состряпашь — приписки к плану, к зарплате, к объему выполненных работ и т. п., обернулись самыми громкими процессами, первенство среди которых занимает «хлопковое» дело, давшее всего за несколько лет около 10 млн. тонн фиктивной продукции (это пятая часть показанного в отчетах объема производства хлопка).

«Фиктивная экономика» производит не только «голую» фикцию: она производит и то, что как бы и есть, — его можно пощупать, но не употребляют по назначению нельзя: фиктивную потребительную стоимость. Это те сапоги, у которых подошва на ходу отваливается, платья, на которые нельзя смотреть без содрогания, мужские костюмы, незаменимые бы для пугал, — легкая промышленность, несомненно, производит самые жуткие «миражи». Ежегодно бракуется, возвращается на доделку производителям от 8 до 12 процентов обуви, шейных и трикотажных изделий, тканей. Не случайно госприемка, без привычки к кошмарам, выбраковала на первых порах своей деятельности по ряду предприятий Минлегпрома до 80% продукции.

Хотя и в более благообразных формах (в смысле внешнего вида товаров: стереорадиолы — блестящие и с ручками, холодильники не поцарапанные и т. п.) не оставали от нее и другие отрасли промышленности; так, прежде — на уровне торговой инспекции, — выбраковывалось 25% телевизоров, 25% холодильников, 15% радиоприемников, радиол, 10% стиральных машин и т. д.; госприемка увеличила это количество в 1,5—2 раза. Но все равно очень много брака доставалось и достается покупателю. Часть на «живую» нитку устранившихся магазинными мастерами дефектов обнаруживается почти сразу же, часть — глубоко заложенных в схему и замаскированных производственниками — с течением времени: телевизор, например, пофурычит месяц — другой, и только потом даст сплошные полосы; холодильник сначала добростовно морозит, и лишь потом начинает подогрывать, и т. п. Конечно, на такую прорву брака не хватает, — не могло хватить, — никаких сил сферы бытового обслуживания. Поэтому, думается, фиктивная экономика, объективно вызывая к жизни нелегальных «спеццов», косвенно производила еще один мираж — иллюзию общественного сознания о том, что для их существования у нас нет почвы, (и это сейчас, при попытке их легализовать и контролировать), проявляющуюся в бурном возмущении части граждан:

дан: мол, «никогда такого не было!» и «это шаг назад!» и т. п.

Предпосылками, обусловившими возможность многолетнего функционирования фиктивной экономики в области производства товаров массового спроса были ненормальное положение торговли бывшей — вопреки всем экономическим нормам, но равноправной производительной отрасли хозяйства, а перевалочной базой ширпотреба, — и совсем уже отчаянное, бесправное положение покупателя — который, согласно заложенной в систему идее, должен «брать, что дают»: выхода, как изначально предполагалось, у него нет: человек не Робинзон, в шкуре ходить не будет, за телевизором в Японию или в Швецию не махнет и т. п.

Но покупатель тоже был не без хитрости, и обманывал обманутую поставщиками торговлю: он предпочитал купить втридорога — но хорошую, качественную, модную и долгосрочного пользования вещь на черном рынке или обшаривал и обулавал у частника и т. п.; несмотря на регулярно проводимые уценки, количество неходововых, залежалых товаров в торговле не уменьшается: несмотря на ежегодные уценки, оно ежегодно увеличивается на сумму 1,5—2 млрд. рублей. А если присчитать еще и то, что в зломном бессилии покупается, или лежит в личных шкафах поддавшихся в какой-то миг несчастливой иллюзии, что «и это как-нибудь сносится»...

В других отраслях промышленности сплавлять некачественную продукцию помогали: жесткое прикрепление потребителя к поставщику и властные мотивации в системе управления. С прикреплением, в общем-то, все ясно, а вот властные мотивации до сих пор недооценены. Например, когда сейчас некоторые производственники сетуют: «вот, вал отменили, а «хозяин» опять требует: «вал», «вал!», — они забывают добавить, что «хозяин» не только требовал «вал», «вал!», но и помогал его пристроить, — а во многих случаях и бескорыстно помогал, ничего предвзвешенно не требуя: иначе говоря, работники различных уровней, чтобы обеспечить выполнение планово-отчетных показателей (района, города или области, отрасли или подотрасли) в отдельных случаях, по престижной или иной мотивации, — обеспечивали сбыт полновесно.

Создавать видимость все возрастающего производства товаров и услуг неуклонно, из года в год переполняемого рынка удалось с помощью самых удобных, легальных приписок к цене на те или иные виды продукции.

Эти приписки были не то, чтобы прямо зловредно ориентированы против интересов покупателей — на покупателей часто было как раз наплевать, — а на интересы выполнения и перевыполнения плановых заданий, на наращивание объемов производства. Последние зависят от двух параметров: количества и стоимостного выражения (цены) продукции.

Ясно, что при увеличении одного из параметров результат увеличится; ясно также, какой из параметров, — не натужась и не «рвя жилы» — увеличить легче всего; остальное уже — дело практики. В опыте Минлегпрома эта практика выразилась в выпуске товаров с индексом «Н» — новинки улучшенного качества. Качество увеличивалось стремительно, — список товаров группы «Н» разросся до невероятности, — но в подавляющем большинстве случаев индифферентно к моде и эстетическим

вкусам покупателя, но не к его карману: какая-нибудь, например, рубашка, с объективно существующей, но не видной глазу «строчкой» или «планочкой», подпрыгнула от пяти рублей до семнадцати; страшненькие, но из перманентно «улучшающейся» ткани или с небрежно подшитыми неуклонно дрожащими воротничками, ядовитых расцветок пальто «улучшилось» на 120 рублей и т. д. и т. п.; в совсем уже фантастическую группу — особо модных — товаров попали, удесяттерившись в цене, немодные штаны джинсы и т. д.

Как-то, наверно, по инерции цены повышались и на даже формально не улучшенные товары; повышению среднего уровня товарных цен способствовали также вымывание дешевого ассортимента, ухудшение качества товаров при сохранении прежних цен, завышение сортности, принудительно навязанные населению «прогрессивные» сдвиги в товарообороте и т. д. Немудрено, что при перевыполнении плановых объемных показателей, фактическое потребление товаров на душу населения не достигало до рекомендуемых наукой норм потребления, ситуация на рынке не улучшилась.

Вычислить таким образом произведенное фиктивной экономикой стоимости довольно легко: если, например, план по тканям в 1986 г. выполнен Минлегпромом на 110%, а потребность населения удовлетворена на 73%, — 37% — фикция; по верхнему трикотажу в том же году она составила 47%, по бельевому — 54%, по кожаной обуви в парах — 21% и т. д.

Производство фиктивных стоимостей активно велось во всех отраслях дореформенной экономики. В результате с 1970 по 1985 гг. доля ценового фактора в приросте товарооборота составила половину, а средние розничные цены выросли на 35%.

Думается, что радикальная перестройка деятельности предприятий на основе урезанного хозрасчета и самофинансирования, зависимость оплаты от конечного результата, т. е. от реального удовлетворения нужд потребителей, а также конкуренции со стороны сектора индивидуальной и кооперативной деятельности, — меры, способные очистить экономику как от бестелесных миражей, так и от химер во плоти. Хотя автоматизма здесь не следует ожидать. Могут появиться новые формы приписок: надо предприятиям платить за привлеченные ресурсы — может появиться желание уменьшить (в отчетах) их объем и качество, усилить контроль потребителей за качеством (а преодолеть диктат производителя само по себе не просто — потребуются время) — не исключена активизация деятельности предприятий по навязыванию (с помощью рекламы, например) товаров, удовлетворяющих мнимые, псевдопотребности. Что касается инфляционных тенденций в экономике, то новый хозяйственный механизм, перекрывая одни каналы, может открыть другие. Так, развитие системы договорных и свободных цен, погоня за прибылью, появление возможностей финансовой игры в условиях растущих цен, необходимость пересмотра уровней и соотношений цен могут подпитывать инфляционные тенденции. Так что нужна разработка специальных мер антиинфляционной политики, нужна и система мер, механизм социальной защиты населения от этого негативного явления. А для этого его надо «вскрыть» — только тогда и можно будет наладить действительный контроль в этой области.

ПРОКЛЯТИЕ

Увидев этот знак, невольно вздрогнешь: поток ассоциаций захлестнет твой внутренний взор и, как на экране, возникнут в мозгу страшные полузабытые картины — трубы крематориев, колочая проволока. Горы трупов в полузасыпанных ямах, грохот шагов на параде вермахта под оглушительный марш и — кадр из фильма Ромма «Обыкновенный фашизм» — несчетные колонны факелоносцев, образующие гигантскую свастикку во время манифестации в честь Гитлера, пришедшего к власти.

Начну с довольно длинной цитаты.

«Знамя и эмблемы соответствуют куда более сложным, понятным только убежденным националистам, замыслам. (...) Вписавшись в формы, позаимствованные у рабочего движения, они в некоторых случаях символизировали согласие между народом и Германией во имя высшей цели.

Если смотреть с этой точки зрения, то национал-социалистам удалось достичь своего, просто поменяв местами цвета флага Германской империи, существовавшей до 1918 года (черный-белый-красный) и сделав символом идеальных устремлений гитлеризма белый круг на красном фоне с черной свастикой в центре.

В красном мы видим социалистическую идею движения, в белом — идею неба, в свастике — миссию борьбы за победу арийцев, а также победу идеи производственного труда — она всегда была и будет антисемитской». (А. Гитлер «Майн кампф», стр. 494), цитируется по французскому изданию 1934 года, издательство «Nouvelles Editions Lafines».

Между прочим, Р. Алло (Alleau R., Hitler et les sociétés secrètes. Grasset. p. 258) убедительно доказал, что свастика по своему происхождению ближе не к восточной мифологии, а к немецкой геральдике. Этот символ, связанный с расистскими легендами и гербом Гогенцоллернов, уже использовался — на что указывает не один автор — в тайных расистских сообществах и в прибалтийских милитаристских корпорациях и стал политическим лозунгом — приглашением расистским и монархистским кругам присоединиться к гитлеровцам. (...) Роль мистического, подсознательного страха, внушаемого свастикой, хорошо охарактеризовал Р. Алло: «изображение четырех кос, вращающихся вокруг общего центра», «символика жатвы, символические смерть и возрождение к жизни скошенного колоса в совокупности немецких религиозных представлений», «этот типичный жертвенный цикл подчеркивает грозный смысл свастики (Hakenkreuz)» для врагов арийской расы, отброшенных этим неумолимым движением, этим магическим вращением во «внешний мрак». Судя по всему, именно такое содержание, динамичное и агрессивное по своей природе, пришлось ко двору в политической организации, которую Гитлер с самого начала VNSSP представлял себе как «боевое братство». (Alleau, Op. cit. p. 265). Примечание Р. Бурдерона: «Трактатка Р. Алло мне кажется более убедительной, чем версия В. Рейха (Reich W. La Psychologie de Masse du fascisme, p. 103), по которой свастика трактуется как сексуальный символ. Может быть, в известной мере это и так, но символическая абстракция, проанализированная Р. Алло, позволяет углубиться в суть вопроса» (Роже Бурдерон, «Фашизм: идеология и практика», стр. 165, М., «Прогресс», 1983, стр. 129—130).

Во фрагменте книги французского социолога-коммуниста точно объяснены различные причины выбора нацистами свастики в качестве своего главного символа. Но так же, как и авторы, на которых он ссылается, Бурдерон проявляет безграмотность, объявляя ее «знаком германских расистов». Оправдывает его единственно то, что во французском народном искусстве этот орнамент, видимо, не распространен.

«Свастика (санскр.), крест с загнутыми под прямым углом концами, один из ранних орнаментальных мотивов, встречающийся на произведениях искусства древних культур Европы, Азии (в том числе Древней Индии), реже Африки и Америки. В античный период свастика изображалась на некоторых древнегреческих вазах, греческих и сицилийских монетах, позднее — на многих памятниках европейского средневекового и народного искусства. Символика свастики неясна: в ней видят изображение

солнца, скрещенных молний, молота Тора и т. д. Иногда свастикку называют гаммированным крестом, т. к. в ней соединены четыре исходящих из одной точки буквы «Г» (греческая гамма).

В новейшее время свастика использовалась как центральный элемент композиции флага фашистской Германии и стала символом варварства и насилия». (БСЭ, т. 23, М., «Советская энциклопедия», 1976, стр. 81).

Гитлер положил в основу своей политической авантюры совершенно антинаучную и абсурдную теорию. Но мифология национал-социалистов была разработана с подлинно немецкой заботой и аккуратностью. Нацистские идеологи трудолюбиво черпали из закромов немецкого национализма шовинистические символы, идеи и теории, в которые во времена Германской империи, и особенно при Вильгельме II, переплавлялись сокровища фольклора и этнографии. Абсолютизовав одну из рабочих гипотез этнографии — о Северной Германии как возможном месте происхождения праиндоевропейских арийцев — французский писатель и социолог Жан Гобино и английский германовед, перешедший в немецкое подданство зять Вагнера Х. С. Чемберлен во второй половине прошлого века создали печально известную во всем мире теорию «арийской расы», теорию, которая провозглашала немцев наследниками древнего пранарода и «нордической элитой» индоевропейцев. Ницше в своей «Генеалогии морали» (1887) создал новую химеру национализма — «белокурую бестию», арийского сверхчеловека с ярко выраженным властолюбием. В качестве гарнира употребили сказания о Нибелунгах и саги викингов, императора Фридриха Барбароссу и древнегерманского вождя Арминия, который возглавил борьбу племен против римских легионов. Авантюра Гитлера была второй попыткой «нордическо-германского» империализма в борьбе за передел мира.

Но кем же в действительности были арии?

«Арии — племена и народы, говорившие на языках индоиранской группы. В древних памятниках письменности они называли себя «ариями» — т. е. полноправными людьми, в отличие от соседних или покоренных ими народов. От слова «Aryānām» происходит название «Иран» и другие названия. В середине XIX века в Западной Европе термином «арии» стали обозначать народы, принадлежащие к индоевропейской языковой общности. В расистской литературе, особенно в фашистской Германии, слово «арии» употреблялось тенденциозно и ненаучно. В наши дни термин «арии» в этом значении не используется». (Латвийская Советская Энциклопедия, 1981, том I, стр. 363).

«Арии» (санскр. аря — уважаемый, благородный) — название, которое раньше употреблялось учеными для обозначения всех индоевропейцев в противоположность финно-уграм, семитам и др. Тогда индоевропейские языки назывались арийскими, теперь в этом значении термин не используется и обозначает только индийцев и иранцев, которые отличаются от прочих индоевропейцев языком и культурой. Прародиной ариев, вероятно, был восток Ирана, откуда они частично перешли в Армению, на север и в особенности на юго-восток. (Латышский энциклопедический словарь в издании А. Гулбиса, 1927/1928, том I, стр. 1447).

При сравнении этих двух определений видно, что уже полвека назад ученые присвоили название «Арии» конкретному пранароду, создавшему и своеобразную скифскую культуру, и цивилизации Древнего Ирана, Средней Азии, Индии, воплотили их мифологические представления и эпос в Ведах и Авесте. (Тем, кто интересуется деталями, советуем прочитать книгу Г. М. Бонгард-Левина и Э. А. Грантовского «От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и история». М., 1983, «Мысль», а также труд С. К. Чатерджи «Балты и арии», который будет выпущен в 1988 году издательством «Зинатне»).

Интересно — «арийская теория», послужившая причиной массового геноцида, сегодня не вмешивается в работу этнографов, деятельность специалистов по «эволюции и чистоте расы» не компрометирует евгенику и генетику. Немецкий народ, организовавший и осуществивший геноцид, уже в годы войны получил возможность реабилитироваться («Гитлеры приходят и уходят, а



स्वस्तिक

Германия, немецкий народ остается»). Не повезло только свастике — выяснилось, что эффект воздействия символа на человеческое сознание многократно превышает эффект воздействия идей и лозунгов. В сознании миллионов гитлеровцы захватили все права на этот знак.

Человек, увидевший этот символ нацизма на обложке «Латышских Дайн», переживает некоторый шок. А когда этот же знак встречается на латгальских покрывалах, на лиелвардском поясе, на других произведениях народного прикладного искусства? И тогда, проявив некоторый интерес, он может узнать, что свастика, огненный крест или, как его принято называть в публикациях советского времени, ветвистый крест — очень распространенная деталь орнамента у таджиков, армян, индийцев, персов. Как рассказывает профессор факультета иностранных языков ЛГУ им. П. Стучки Виктор Ивбулис, в Индии свастика встречается чуть ли не на каждом углу — на мешках с зерном, на книгах, даже слишком часто — индийские шовинисты метят ею стены домов и мечетей в мусульманских районах — как

знак того, что они — повсюду. И здесь националисты норовят превратить древний символ в знамя ненависти, в знак арийской чистоты. Но исконное его значение у индийцев совсем другое — на санскрите «свастика» — слово мужского рода, и обозначает прежде всего древний индийский знак счастья и благополучия, а затем — скрещенные на груди руки (см. «Санскритско-русский словарь» В. А. Кочергиной). Здесь вы сможете изучить и происхождение этого слова, исследуя его составные части. Вот как оно выглядит, написанное на санскрите (см. на рисунке).

Но ареал распространения знака гораздо шире. Уже в 1923 году «художник прикладного искусства» Э. Брастиньш в своем труде «Латышская орнаментика» (издание общества исследователей латышской старины, Р., 1923, издательство «Валодзе») разъяснил общечеловеческое значение символа, одновременно отмечая, что именно культ свастики у нацистов дал импульс «возрождению» этого знака в буржуазной Латвии (выделено Э. Б.): «Теперь у латышей вошел в моду орнаментальный мотив, который называется «огненный крест». Он появился на шапочках студентов,

нагрудных значках офицеров, аэропланах и др. Несомненно, что эта мода связана с событиями в Западной Европе, где «огненный крест» попал под перекрестный огонь международных отношений и политики. Антисемитские круги более или менее открыто придают огненному кресту **арийский** смысл. Под этим знаком выходят книги и газеты, его вышивают на знаменах и прославляют в искусстве. Об огненном кресте написаны целые книги, и ему до сих пор придается большое значение, особенно в Германии. Но если проблему огненного креста (нем. Hakenkreuz) попробовать разрешить только с точки зрения германских ученых, то вряд ли это получится. Не односторонняя и узкоограниченная немецкая наука ответит на связанные с огненным крестом вопросы, а описательная и сравнительная этнография совместно с культурно-историческими и искусствоведческо-историческими изысканиями. Огненный крест не ограничивается распространением только среди германских или арийских народов, он встречается **во всем мире и в любую эпоху.**

Насколько велико количество стран, где он встречается, настолько велико и количество его названий. Чаще всего используется индийское слово «свастика», которое принято и в культурных языках.

Свастику можно причислить к древнейшим орнаментам мира, и в разных странах ее происхождение можно объяснить и символически, и конструктивно. Наиболее распространен взгляд, что изначально она происходит от орудий для добывания огня. Позднее этот знак получил различные символические значения. Кроме того, существует еще множество теорий. (...) Совершенно отрицается мысль, что свастика могла возникнуть где-то в **одном месте** и оттуда распространиться по всему миру. Если так можно было бы сказать о Европе, Азии и Африке, то все равно этому бы противоречило появление знака в Америке и Австралии (...) Он становится талисманом, его принимают буддизм и христианство. Но доказано, что почти всюду на земле он используется как символ и к тому же уже около 4,5 тысяч лет.

Как бы то ни было, немцы хотели бы быть создателями этого креста, но им неизвестно, что самые яркие декоративные его формы встречаются только в Латвии. По всей земле он встречается лишь в своей примитивной форме со слабыми ответвлениями, а у латышей на том же вышитом в Аннасмуйже покрывале видны восемнадцать вариантов. Он встречается на изделиях из металла, на тканях, в вязании, и сотни его вариантов здесь невозможно описать» (стр. 71—72).

«Насколько популярен огненный крест, настолько популярно и божество, которому его приписывают в латышской мифологии (...) В старых хрониках Перконса считают величайшим богом балтских народов (литовский Перкунас, прусский Percunis), но профессор Р. П. Шмитс выражает сомнение, действительно ли этот Перконс выше Небесного отца. Первый якобы лишь был популярнее» (Там же, стр. 72).

«В пользу принадлежности «огненного креста» Перконсу говорит народное предание, в котором Перконс мечет **крестообразные** молнии, которые самые опасные. Куда такая молния попадет, сразу же начинается пожар». (Там же, стр. 74).

Этой же точки зрения придерживается и Судмалис в своих «Латышских узорах (орнаментах)» Р., 1923, печатня Валтера и Рапы: «Самым популярным элементом узора, связывающим нас с пранарадами всего человечества, является огненный крест. Первоначально он складывался из пересекающихся молниеобразных линий, но со временем у нас образовалось редкостное количество вариантов. Самыми древними изделиями с огненным крестом считаются бронзовые сакты из Вийциемса возле Трикате и подковообразная сакта из Цесиса. На вийциемской сакте остроумно скомпонована крестообразная композиция из четырех взаимосвязанных огненных крестов и отдельных молниеобразных линий во внешних углах креста. Последние напоминают те самые линии, из которых образуются сами огненные кресты. И потому нельзя не согласиться с тезисом (...), что огненный крест следует считать крестообразной молнией сурового Перконса, которой он покарал черта и наказал деугих виноватых. Шестнадцать красивейших вариантов упомянутого узора вотканы бронзовыми колечками в покрывало, найденное при раскопках возле Аннасмуйжи в Алуksне. Художественная задача разрешена оригинально и в едином стиле. Кажется, что крючки и вилочки нарисованы с целью сделать кресты острее и более пугающими. В более развернутых композициях даже сопровождающие линии по форме и смыслу созвучны отпугивающему характеру огненного креста (стр. 10). Несовпадение количества вариантов на Аннасмуйжском покрывале объясняется или опечаткой в одном из изданий, или разницей во взглядах Брастиньша и Судмалиса.

Поэтому и нацистов так привлекал этот древний знак — пожелание добра одному, небесная кара для другого — врага, его пугающий, языческий, эфкесный вид.

Во втором томе Малой энциклопедии Латвии помещена интересная и содержательная (в отличие от Латвийской Советской энциклопедии) статья о латышских орнаментах, в которой сказано, что ветвистый крест вместе с «крышечкой» и небольшими четырехугольниками появился в латышских узорах в период раннего феодализма, еще до немецкого вторжения в Прибалтику.

Информации об этих вопросах очень мало, она труднодоступна, и, как на смех, оказалась в числе «щекотливых вопросов», на которые не отвечают, потому что их не принято задавать. Здесь виновата пограничная линия, которую проложил январь 1933 года — когда Гитлер получил возможность реализовать свои химеры. И в атмосфере «объективности» буржуазной демократии в Западной Европе неонацисты охотно используют разные эвфемические «немецкие» или «кельтские» кресты, как и всячески варьируют фашистское приветствие — ибо за первоначальное «хайль Гитлер», сказанное публично, в ФРГ можно угодить на скамью подсудимых.

В отличие от Индии и других восточных стран, которым не довелось напрямую контактировать с новыми носителями этого знака и их методами ведения военных действий и усмирения населения, в Европе мало таких, кого бы интересовала «денацификация» свастики. Одним это кажется совершенно ненужным (чем же древний знак мог провиниться?), другим — и совершенно обоснованно — кажется, что открывается возможность для легализации идей нацизма. Это откликается и на узорах наших тканей. Собирая материалы в Государственной библиотеке, я видел, что в экземплярах альбома Судмалиса старательной рукой вырваны листы с текстом и иллюстрациями, в указателях содержания выскребли любой намек на то, что здесь имелись такие образцы народного прикладного искусства, которые были бы украшены огненным крестом — а также узором «уж» и «крышечка». Я узнал, что в фондах библиотеки находятся тома Латышских Дайн, с обложек которых этот знак вырезан бритвой. Такие крайности понятны — тогда, когда все это произошло, слишком свежи были воспоминания о злодеяниях тех, кто носил этот знак. Но настоящая честность не допускает таких методов «аргументации» — излюбленных методов тех же нацистов и охраны для спора с неприемлемыми для них взглядами. К тому же, именно эти книги оспаривали «арийские» этнофальсификации.

В конце концов — не мне, журналисту, отвечать на все вопросы. Я слышал разъяснения многих знатоков — наш знак совсем не свастика, у фрицев он повернут в другую сторону. Если взглянуть на обложку Латышских Дайн и самолеты буржуазной Латвии — знаки совпадают. Но в узорах на поясах и покрывалах он повернут и «по-латышски» и «по-нацистски» — против часовой стрелки. «Огненный крест» — не менее скомпрометированное название. Так назывался еженедельник (позднее переименованный в «Крест Перконса»), бывший рупором экстремистской партии латышских националистов. Так же — «Creux de feu» — называлась и довоенная организация французских нацистов. Немецкое название (Haken — крючки, нем.) точнее других характеризует форму знака.

Слишком долго молчала Академия наук. Вышло ли в советское время доступное широким массам издание, посвященное латышскому орнаменту, происхождению и значению его знаков? Что латыш знает об узорах своего народа? В выпущенном в 1967 году сборнике «Латышское народное искусство» нет изображения лиелвардского пояса, другие материалы даны фрагментарно — «опасные» знаки выкинуты вон.

Этот знак слишком характерен для культуры нашего народа, чтобы до сих пор публично его отрицать. В «Латышских узорах», академическом издании Государственной типографии ценных бумаг буржуазной Латвии в XIII разделе первого тома, на стр. 422, изображен пояс, сотканый в Яунсаулской волости, украшенный только простыми и многозубчатыми свастиками. Нам обещано факсимильное издание Латышских Дайн — со всеми крестами. Чтобы не бояться этого, чтобы без страха публиковать эти изображения в печати и показывать по телевизору, чтобы не прозвучал недоуменный шепот: «А гансы опять за старое взялись», — необходима исчерпывающая информация о «ветвистом кресте» как знаке, принадлежащем искусству нашего народа. Интересно было бы узнать подробнее о тех тибетцах в немецкой форме, о которых мимоходом упомянул Ансис Эпнерс, о смысле знака в искусстве индуистов, буддизма, античного мира в Европе и во всем мире: значение свастики, которая повернута по часовой стрелке и против нее.

И тогда этнографам, художникам и историкам намного легче будет определить ту грань, где кончается интерес к первозданному народному искусству и начинается поп-фашизм.

Занимаясь вопросами, связанными с народными узорами, нужно действовать пинцетом и кисточкой для клея — орудия топором и бритвой, можно нанести народному искусству незаживающие раны.

ЯНИС БАЛТАУСС

6 ИЛИ 9?

Из всех арабских цифр только шестерка страдает манией величия — стоит ей перевернуться вверх ногами, как она превращается в девятку. Вообразите, что все водители рижских трамваев шестого маршрута в одно прекрасное утро предпочли девятый маршрут и от оперного театра повернули не к ВЭФу, а к Кенгарасу. Это многим пассажирам вышло бы боком. А если бы так поступили все водители транспортных средств? Как свидетельствуют публикации во всесоюзной прессе, в экономической статистике нашей страны подобные «перемены маршрута» уже давно стали одним из действеннейших маневров хозяйствования (это слово следовало бы взять в кавычки).

Статистика социального и культурного развития Латвии, о которой пойдет речь в этой статье, — продолжение темы, уже начатой «Родником». Тема эта — наука о корнях, о Родине. Об устойчивости или кризисе этой науки равно свидетельствуют и культура названий улиц, подчеркивающая нашу связь с историей народа и его самосознанием, и неповторимость — этническая, экономическая и социальная — каждого конкретного региона во временном разрезе.

Сегодняшний уровень нашей статистики лаконичнее всего характеризуется условиями существования ее прямого ответвления — социологии. Специализированный журнал «Социологические исследования» выходит в СССР с 1974 года. В США 5 таких изданий, старейшее из них выходит с 1995 года, во Франции — с 1929 года (3 журнала), в ГДР такое издание стало выходить . . . за три года до провозглашения самого государства. Случаи существенного искажения информации в нашем народном хозяйстве были отмечены уже во второй половине двадцатых годов. До 1925 года статистика прослеживала развитие промышленности примерно так же, как это по сей день делает большая часть мира, сравнивая данные о производстве натуральной продукции с прошлогодними данными. Уже в 1926 году Ф. Э. Дзержинский подчеркнул: «Я утверждаю, что цифры, которые дают нам тресты, раздуты, что они фантастичны. Та отчетность, которую мы собираем, есть фантастика, квалифицированное вранье . . . По этой системе выходит так, что ты можешь врать сколько угодно». До 1930 года еще продолжался подсчет объема натуральной продукции, но только для научных целей. С каждым годом эти расчеты все более отличались от официальной статистики, которая объем продукции считала в рублях и сообщала о неслыханных темпах прироста, обеспечивая таким образом сюжетами газетные передовицы. Настоящие цифры были куда

скромнее. И этой неудобной научной статистике пришлось исчезнуть . . . Уничтожение статистики цен оптовой торговли отняло возможность высчитывать объем выпущенной продукции в неизменных ценах (в капиталистических странах на сей предмет есть индексы цен, так же было и в буржуазной Латвии). В результате предприятия, взвинчивая цены на каждое новое изделие в своей растущей номенклатуре, получили возможность безнаказанно раздувать на бумаге объем производства. В конце двадцатых годов было фактически ликвидировано Центральное статистическое управление СССР. Результат был подчинен плану — то есть, желаемому, а не реальному положению дел. На двадцать лет замолк «Вестник статистики». Последняя попытка воспротивиться этой волонтаристской арифметике была сделана 8 января 1932 года. Новое руководство статистикой во главе с экономистом и ленинцем Валерианом Осинским издало закон об уголовной ответственности в случае сообщения неверных данных о выполнении государственного плана. К сожалению, им было отпущено мало времени. В 1935 году В. Осинский был освобожден от занимаемой должности, а еще два года спустя последовал арест всех его соратников.

Вот вкратце обзор того, как уничтожалась советская статистика, бывшая ленинской научной системой учета и контроля. А как обстояло дело со статистикой в Латвии? Растянувшийся на два послевоенных десятилетия прорыв в культуре не мог предложить почвы, на которой выросла бы культура цифр нового социалистического государства. Творчески освоив опыт латвийской статистики с ее по-немецки педантичной скрупулезностью, статистика Советской Латвии теоретически имела возможность стать одной из ведущих в этом деле лабораторий у нас в стране. На практике путь к осуществлению этой возможности пересекла трещина — планомерные репрессии 1929—1953 годов и их последствия. О том, что довольно высокий уровень латвийской статистики не был каким-то особым достижением буржуазного правительства, доказывается просто — достаточно заглянуть в некоторые книги, изданные куда ранее того времени. Вот, для примера, два учебника. Первый выпущен в 1859 году, второй — в 1982 году.

Изданная в Елгаве «Книжка для школы и дома» называлась «Описание нашего отечества и иные приложения, вкратце полученные». Автор ее — один из младолатышей Кришьянис Баронс. Он пишет: «Курземе . . . в сие время обитало там 560 тысяч жителей, из коих 1/460 тыс. латышей, 2/45 тыс. немцев, 3/22 тыс. евреев,

4/10 тыс. поляков, 5/8 тыс. литовцев, 6/12 тыс. русских, 7/2300 ливов и более чем 8/200 цыган, кои слоняются вокруг по базарам, воруя баранов и обманывая людей». Следует ряд цифр — население крупных городов: Елгава — 23 000, Бауска — 2 300, Тукумс — 3 000, Кулдига — 4 500, Вентспилс — 2 300, Пилтене — 1 100, Лиепая — 10 000, а также «в Салдусе уже около 20 домов и 100 жителей». Школьникам дана возможность ознакомиться и с числом жителей местечек, с именами и фамилиями их хозяев.

Особого лирического отступления заслуживает ироничный стиль Кришьяниса Баронса, что в сегодняшнем учебнике может быть приравнено к самому дерзкому нарушению чиновничьей субординации: «Не все эти разные люди на один лад своего Господа славят и молят, а каждый по своей особой вере, и этих вер наберется не менее шести в нашей богобоязненной Курземе».

А вот книга, изданная сто двадцать лет спустя после «учебной книжки» Баронса. Это — «География Латвийской ССР для 7-го и 8-го классов». Курземе как край со своими индивидуальными этническими особенностями остается здесь загадкой для ученика. Вместо всей процитированной и не процитированной выше информации этот ученик получает разве что справку о количестве жителей в Лиепаве. Судя по этой книге, Курземе — это экономический регион, что значит — необитаемая территория, которая все же производит продукцию. Кое-какие данные о населении этого края можно найти в 52-м томе Латвийской Советской энциклопедии. Есть в ней раздел «Латыши» — и там-то как раз следовало проанализировать статистику народной судьбы. К сожалению, на полтора страничка (скупое творение четверых авторов!) главным образом повторяются фразы во вкусе обычных школьных учебников. Кришьянис Баронс в «Описании нашего отечества . . .» так писал о латышах: «Вот каково теперь количество латышского народа: в Курземе живут 460 тысяч латышей, в Видземе 370 тысяч и в Витебске более 160 тысяч. Среди литовцев около 17 тысяч, в Петербурге тысячи три. Вместе — один миллион и 10 тысяч латышей. В Витебской губернии, как кажется, раньше было больше латышей, чем теперь, со временем они заговорили по-русски (теперь в Витебске . . . крепостное право; большая часть этих латышей не умеют читать, но хотя бы читать, как это было у нас сорок лет назад). Напрасно искать в «Географии Латвийской ССР для 7-го и 8-го классов» сведений о латышах. Нет даже информации о количестве представителей этого народа в Латвии. В свою очередь,

в Латвийской Советской энциклопедии (том 52) в разделе «Этнический состав населения» указаны «самые латышские» города с упоминанием **приблизительной** процентной доли латышей. В трехтомнике «Земля, природа и народ Латвии», изданном в 1936 году, эти данные приводятся по ВСЕМ городам Латвии. Последующие пятьдесят лет второго издания такого типа не принесли. Но вернемся к «Географии Латвийской ССР...» Вот еще один пример. Где приводить проценты невыгодно, автор пользуется абсолютными числами, которые ученики воспринимают хуже. Правда, они позволяют высчитать, что в 1940 году книг на латышском языке было выпущено 71%, а в 1981 году их количество не достигло 50%. Речь идет о годе перемены общественного строя, и выбор сравнительного индекса в учебниках и фундаментальных изданиях кажется необдуманным. В разделе «Журналы и периодические издания на латышском языке» вместо цифр — стыдливые линии диаграмм. То же самое и на 594 странице ЛСЭ, том 52. Из сравнения с 1940 годом видно, как развивалась наша полиграфия за время Советской власти, но не отражена динамика взлетов и падений этой области в Латвии. Могла ли систематичность исследований, проводившихся в двадцатые—тридцатые годы, стать созвучной мотиву исторического оптимизма, который так популяризировали в те годы?

Вот несколько цифр. В 1930 году в Риге выходило 208 разных журналов и 56 газет на латышском, русском, немецком, еврейском, польском, литовском, английском, французском языках и на эсперанто. Более подробная информация собрана в книге, изданной обществом культурного сближения Латвии и народов СССР в 1940 году «Книга в Латвии» (в 1940 году в Риге вышло 114 журналов, из них 18 еженедельников). В 1980 году в Риге выходил 31 журнал и 43 периодических издания... Издавалось ли что на иных языках, кроме русского и латышского, цифры умалчивают.

31 декабря 1922 года в статье «К вопросу о национальности или об «автономизации» Ленин, предупреждая против преувеличения значения языка «великой» нации, писал: «Нет сомнения, что под предлогом единства железнодорожной службы, под предлогом единства фискального и т. п. у нас, при современном нашем аппарате, будет проникать масса злоупотреблений истинно русского свойства». Последствия этого сознательно игнорированного десятилетиями предупреждения не обошли и Латвию. Статистика отражает этот процесс на такой картине, что ее скорее можно отнести к сюрреализму, чем к реализму. Насильно изобразили взлет ввысь, подменив народную драму трагикомедией цифр. Единственное выходящее в республике статистическое издание, в котором информация обобщается регулярно и планомерно, это «Народное хозяйство Латвийской ССР». К сожалению, оно не касается социальной и культурной сферы. С ними более или менее знакомят лишь переводы с русского языка. Эти книги хочется назвать памятниками жертвам централизации. Как, например, изданные в Латвии латышские народные сказки... переведенные с русского языка. Примеры из области статистики — листки размером с концертную программку «Рига в цифрах». Цифр — маловато. Риги — еще меньше. Случайное соединение некоторых обобщений. Внутреннее по объему выглядит статистический сборник «Рига». Практически ни одна из приводимых в нем цифр, относящихся к культуре и социальной статистике, не имеет ни пола, ни возраста, ни национальной принадлежности. Все манкуртизировано — библиотеки, школы и т. д.

Чтобы обзор сборника «Рига» был более емким, рассмотрим для сравнения «Статистический ежегодник города Риги» — издание, регулярно выпускавшееся в 1920 по 1938 год статистическим бюро города Риги. Хотя бы раздел «Население». В сбор-

нике «Рига» самым древним отправным пунктом демографической статистики решили считать 1897 год. Почему бы? Те, кто интересуется историей города, много справочного материала найдут в томах ЛСЭ. К сожалению, данные, часто уникальные, разбросаны по текстам и не выделены в таблицы. А «ежегодник» знакомит с количеством рижан, начиная с первых лет XIX века (1812 год — 36 354 рижанина, 1850 год — 61 543). Непонятно, почему составители сборника «Рига» не сочли нужным зафиксировать количество жителей Риги в первый год Советской власти. И потому — вот несколько цифр из «ежегодника» 1900 — 314 000 рижан, 1914 — 505 000, 1919 — 200 000, 1923 — 305 000, 1932 — 383 000. «Рига» информирует о заключенных и расторгнутых браках, но на том марш Мендельсона там и обрывается... Недостаёт данных о смешанных браках, нет причин разводов и учета умерших на первом году жизни, нет данных о новорожденных по количеству предыдущих родов у матери и по ее возрасту (последнее можно найти в томе 52 ЛСЭ). А на страницах «ежегодника» указаны помесячно браки и разводы. В 1930—32 годах чаще всего венчались в декабре. И количество умерших увеличилось к концу года. А любимыми месяцами новорожденных оказались март, апрель, май и июнь (наивысшие показатели в эти годы соответственно 510, 502, 510 и 521 новорожденный). Демографическая статистика показывает, что наивысший естественный прирост в начале тридцатых годов отмечался среди живущих в Риге русских семей (+313 в 1930 году и +291 в 1932 году). Количество новорожденных в 30% превысило количество умерших. В свою очередь, живущие в Риге литовцы и эстонцы не могут похвалиться тем же, там все наоборот: соответственно «—17» и «—29» у литовцев и «—14» и «—28» у эстонцев. Естественный прирост латышского населения в Риге был +219 в 1930 году, +378 в 1931 году и +272 в 1932 году. Интересно, что в браке у рижанок родилось больше мальчиков (1931 — 3114 мальчика и 2902 девочки, в 1932 — соответственно 2782 и 2684), вне брака девочки опередили мальчиков: 384 девочки на 377 мальчиков в 1930 году, 415 девочек на 403 мальчика в 1932 году. Статистика позволяет подсчитать: вне брака родились в среднем каждый седьмой мальчик и каждая восьмая девочка. А в сегодняшней Риге? Вот он, разрыв в культуре. По крайней мере, в культуре чисел. Известное представление о темпах рождаемости живущих в Латвии народов можно получить из раздела «Воспроизводство населения» тома 52 ЛСЭ, но даже в таком солидном издании цифры часто заменяются пересказом, что не свидетельствует о его высоком статистическом уровне. Например, на странице 118 этой книги читаем: «Немного выше средней рождаемость в семьях белорусов и литовцев, ниже — в еврейских семьях. В русских и латышских семьях рождаемость примерно равная». К сожалению, цифр, подтверждающих это позитивное равенство, в издании недостаёт. Как в ЛСЭ, так и в сборнике «Рига» забыты многодетные семьи. Как можно судить по публикациям в прессе, они в республике еще не перевелись окончательно. Обобщенные же данные можно найти только в таблицах «ежегодника». Они сообщают, что в 1930 году четвертый ребенок родился у 136 латышек, 55 русских женщин, 38 евреек, 13 полячек, 2 литовок, одной эстонки. Количество молодых семей с пятью детьми таково соответственно: 62, 38, 14, 6, 3, 1. Семей с шестью детьми — 28, 20, 5, 3, 1, 0. Матерями седьмого и более ребенка стали 37 латышек, 43 русские, 13 евреек, 14 полячек, 1 литовка и 1 эстонка. Своеобразный обзор взаимоотношений проживающих в Риге национальностей предлагает статистика смешанных браков. В 1930 году латышки вступили в 112 браков с русскими, 99 с поляками, 89 с немцами, 39 с литовцами, 16 с эстон-

цами. Латышские парни отнеслись к смешанным бракам сдержаннее: они выбрали 82 русских невесты, 53 полячки, 36 литовок, 12 немецких девушек. Эта статистическая картина свидетельствует, что из 2871 молодых семей каждая пятая была смешанной. Правда, и эти данные неполны, поскольку приводятся сведения лишь о тех браках, одну сторону в которых представляют латыши. В результате недостаёт данных и о взаимных контактах неосновного населения Латвии. Разводы в «ежегоднике» сгруппированы по количеству совместно прожитых лет, причинам разводов и количеству детей. Чаще всего раставались супруги со «стажем» от пяти до десяти лет, не имевшие детей. Правда, были и исключения. Например, в 1930 году, после двадцати лет совместной жизни, распалась семья с пятью детьми. Сведения об умерших рижанах классифицированы по причине смерти, возрастным классам и национальности, учитывается также пол покойных. Особо выделены данные о рижанах, умерших в больницах, и о приезжих. Список причин смерти длиною в шесть страниц замыкает статистика самоубийств: 124 в 1930 году, 143 в 1931 году, 165 в 1932 году. Если бы в теперешних статистических изданиях Латвии был настолько высок уровень обработки информации, то в разделе «Население, уничтоженное войсками противника» мы бы видели число рижан, погибших в Афганистане, и не обходились слухами, искажающими цифры.

В доступных читателю современных статистических изданиях цифры, наподобие курземской нефти, пробиваются на свет в таких ничтожных количествах и так разбросаны, что о единой социально-культурной статистике говорить нет оснований. Интересные данные, похожие на раскиданные стекла из мозаики, можно найти в книге «Рига в эпоху социализма» (1980). К сожалению, эти устаревшие на несколько лет данные — во-первых, единственные, имеющие ценность исторического справочного материала, во-вторых, отсутствует возможность детального сравнения, потому что о ежегодном повторном выходе такого издания что-то не слышно. Здесь имеются статистические систематизированные данные о национальном составе рижан (десятилетней давности), о их возрастной структуре (тоже десятилетней давности), сколько, и чем какая группа населения занята часов в неделю (сведения восьмилетней давности) и т. д. К сожалению, львиная доля фактов излагается без должного анализа, как и в этой статье, не претендующей на научность.

Несколько более детализированная информация, по сравнению с цитированным выше «ежегодником», публиковалась в первых изданиях этой серии, очевидно, подготовленных с большим энтузиазмом. Например, «Статистический ежегодник города Риги за 1923/1924 год» включает в себя раздел «Наиболее посещаемые спектакли рижских театров в 1922—1924 годах». Названия немецких пьес там приводятся по-немецки, а русских — по-русски. Вот реальный пример, как бы мы теперь сказали, высокого уровня культуры межнациональных отношений (книга вышла параллельно на латышском и немецком языках). В изданиях 30-х годов эта традиция исчезла. Театралам, видимо, было интересно взглянуть на чемпионов тогдашних «хит-парадов»: в Национальной опере — «Аида» (1922 г.), «Сказки Гофмана» (1923 г.), «Русалка» (1924 г.). В Национальном театре, соответственно, «Играл я, плясал», «Майя и Пайя», «Аспазия». В художественном театре «Чудесные приключения капельмейстера Крейсера», «Дни портных в Силмачах», «Времена землемеров». Немаловажно, что такая статистика свидетельствует об интенсивном обороте спектаклей — ни один из них не добился чемпионского титула дважды. В Театре русской драмы самым популярным спектаклем в 1922 году был «Осенние скрипки», в 1923 — «Страсть», в 1924 —

«Дама с камелиями». Администраторам, вечно изыскивающим возможность увеличить количество мест на самых ходовых спектаклях, стоило бы посмотреть, какими были рекорды посещаемости лет шестьдесят назад: в 1923 году в Национальной опере на одном спектакле — 1039 зрителей, в Национальном театре — 764, в Художественном театре (1924 год) — 623. На следующей странице — статистика посещения всех десяти рижских театров по месяцам. Кажется, уровень нашего театра и театрального рецензирования достаточно высок и заслужил соответствующего себе статистического анализа. Сборник «Рига» (1982 г.) указал количество мест и посетителей не только по Риге в целом, но и по каждому театру отдельно. Цифр вроде бы и много, но куда девалось национальное многообразие рассмотренных ранее театров? В 1930 году в трех немецких театрах Риги присутствовало 53 459 зрителей, в двух еврейских — 64 861, в польском театре — 1479, в литовском театре — 1550. Если закрытие немецких театров еще можно объяснить репатриацией, еврейских — выездом в Израиль, то глухота в отношении все возрастающего количества поляков и литовцев в Риге выворачивает наизнанку прославленный лозунг о дружбе народов. То же можно сказать и о школах. Грустно, но Райнису, в свое время пытавшемуся убедить буржуазных министров в необходимости сохранения в Латвии белорусской национальной школы, и с сегодняшними министрами пришлось бы нелегко... Райнис как министр просвещения был чиновником. Но Райнис был чиновником КУЛЬТУРЫ. Имантс Зиедонис как председатель общественного Фонда культуры — тоже чиновник Культуры. А в наших министерствах — и Культуры, и Просвещения, — царят ЧИНОВНИКИ культуры. Первые — живущие мыслью, лежащей на бумагу. Вторые — живущие фразой, взятой из бумаги. Это подтверждает и вчерашняя статистика проходящей сейчас школьной псевдореформы. Уже упоминавшийся сборник «Рига» лишил национальной принадлежности и пола не только школьников, но и младенцев, зафиксировав только количество детских садов и общее число детей в них. Выпускники вузов добились включения в ту или иную группу по специальности. Интереснейший гибрид — «специальности университетов», в котором свалили в одну кучу биологов, экономистов, журналистов и математиков. В «ежегоднике» за 1932 год детские сады рассматриваются по языкам (латышские, русские, немецкие, еврейские), не забыто и количество в них мальчиков, девочек и воспитателей. Если следовать этому принципу, то сегодня статистике стоило бы указать, сколько русских детей посещают латышские садики, чтобы речь о их более высоком уровне не истолковывалась как мания национального величия. Статистика тридцатых годов красноречивее и в аспекте анализа выпусков Латвийского университета — она указывает структуру каждого факультета по полу, латвийское гражданство, количество студентов из-за границы, количество преподавателей и учащихся. Разумеется, та же систематизация информации и в таблицах, посвященных другим высшим учебным заведениям. О научно разработанной и планомерной библиотечной статистике наивно говорить в канун пятидесятилетия обещания построить новую Государственную библиотеку. Слабый ответ тех данных, что читатель вносит в регистрационную карточку, проскальзывает в странном отборе цифр статистического сборника «Рига». В его лабиринтах пропали данные о количестве книг в отдельных библиотеках, о их делении по языковому принципу, о профессиях читателей и т. д. Но выделены библиотеки Министерства культуры и их фонды. Хотя более точных сведений об учреждениях, находящихся в подчинении у этого ведомства, нет, и в результате

цифры ничего не говорят читателю, если он только не министерский чиновник. Статистические таблицы «ежегодника» за 1932 год предлагали такую информацию: количество посетителей библиотеки им. Я. Мисиньша и ежемесячно выданных книг, аналогичные сведения о библиотеке города Риги, а также книжные фонды по языковому принципу и количество ежемесячных посещений рижских читальных залов. Больше всего посетителей в библиотеке им. Я. Мисиньша в 1930 году пришлось на май — 455 человек, в ноябре 1931 года их было 638, в ноябре 1932 года — 914. За эти три года общее число посетителей выросло с 3970 до 6868 человек. А вот сколько и каких книг было в 1933 году в маленьких библиотеках: 175 037 на латышском языке, 75 602 на русском, 29 181 на немецком, 4656 на еврейском, 1775 на литовском, 545 на французском, 377 на английском, 406 на белорусском.

На фоне современной статистики в этой важнейшей области культурной жизни кажется трагикомическим ажиотаж вокруг достоверности цифр в других областях. Сколько нервных клеток гибнет, когда доказывается, например, низкий или высокий уровень опроса передачи «Микрофон»! Обычно все это так и остается разговорами, без конкретных предложений. В то же время опрос не имеет статистического подтверждения — ни регулярных данных о количестве проданных грампластинок, ни систематизированного учета спроса на сборники стихов. Правда, уже сделаны первые шаги и в поэзии (страница самых значительных публикаций года 1 января сего года в «Цинне»), и в рок-музыке (результаты «опроса специалистов» в «Падомью Яунатне», «Советской молодежи»).

Таково в целом состояние здоровья социальной и культурной статистики до и после «культурного разрыва». Правда, у некоторых исследователей и теперь можно отыскать исчерпывающую статистику, но это плоды их частной инициативы. К тому же — разрозненные по научным трудам, а не обобщенные в статистических сборниках. Последние, в свою очередь, не внушают доверия. За несколько предыдущих лет в периодике впервые появились расчеты, цифры в которых отличаются от официальных. Фантастическая прогрессия «государственных» цифр разработана уже не раз. Например, в личных исследованиях ученого Г. Ханни и экономиста В. Селюнина. Они свидетельствуют, что за период с 1928 по 1985 год национальный доход СССР возрос в 5—7 раз, в то время как официальная статистика предпочитает предьявлять другую цифру — в 90 раз...

В статье доцента МГУ Б. Ноткина «Азбука доверия», опубликованной в «Литературной газете» 23 декабря 1987 года, прозвучала уже многими поддержанная мысль о неточном переводе понятия «гласность». Англичане используют слово «openness», что значит «откровенность», «чистосердечие». Но тут речь не о лингвистической неточности. Американский дипломат, директор музея «Метрополитен» Уильям Луэрс в упомянутой статье говорит: «Гласность не означает откровенность, искренность или самокритику, поскольку для каждого из этих слов есть точный эквивалент в английском». Б. Ноткин продолжает: «Однако главность, вбирая в себя все эти понятия, не ограничивается ими. Более того, она имеет и другие важнейшие составляющие. Одно из ее обязательных значений — право народа на доступ к информации, статистической, архивной, ведомственной».

У. Луэрс предлагает переводить понятие «гласность» словом, латышский эквивалент которого — «общественное обсуждение». Такая открытость на практике означает обсуждение каждого вопроса, затрагивающего весь регион, и участие в его решении

каждого живущего на этой территории и имеющего право голоса. Угнетенные своей социальной и политической глухонемой, мы еще не осознали, что сущность демократии — это и есть гарантированная на практике каждому гражданину возможность участвовать во всех направлениях жизни своего государства, анализируя их и участвуя в их совершенствовании регулярно, а не только тогда, когда приглашают обсуждать проект новой Конституции. Честная и всеобъемлющая статистика должна стать общедоступным словарем для разговора между «верхами» и «низами». Тем для обсуждения хватает. Хотя бы такая — нужно ли для процветания нашей республики такое сильное увлечение привозной рабочей силой из других регионов? В некоей белорусской газете было опубликовано объявление о требовании рабочих рук, «удачно» дополненное снимком, на котором вместо трех реально существующих новостроев видны шесть, построенных методом фотомонтажа. Растет количество рабочей силы — а количество жителей республики уменьшается. Прощают «глухонемые заводы» (И. Зиедонис). Та же беда и у отражающей все эти явления статистики. Низкий уровень двуязычия среди руководства республики кажется несоответствующим духу демократизации и взаимоуважения наций. В уже цитированной статье Ленин, возможно, предвидел подобную ситуацию, писал: «... интернационализм со стороны угнетающей или так называемой «великой» нации (хотя великой только своими насилиями, великой только так, как велик держиморда) должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большей, то неравенство, которое складывается в жизни фактически. Кто не понял этого, тот... не может не скатываться ежеминутно к буржуазной точке зрения».

Это сегодня, к сожалению, стало нормой на всех уровнях, начиная со съездов и интервью руководителей ведомств телевидению и кончая общественным транспортом. Статистического анализа ситуации нет, а значит, и неравноправия тоже как будто нет.

«Надо ввести строжайшие правила относительно употребления национального языка в инонациональных республиках, входящих в наш союз», — писал В. И. Ленин, — и проверить эти правила особенно тщательно. (...) Тут потребуются детальный кодекс, который могут составить сколько-нибудь успешно только националы, живущие в данной республике».

К сожалению, между зафиксированной в кодексах законной заинтересованностью нации и других наций в своем благополучии и расцветом края, в данном случае Латвии, еще нет знака равенства. Потому так невыгодна честная статистика — этот самый лаконичный учебник любви к Родине. Потому так запутана борьба за совершенно точную, правдивую и контролирующую статистику как за одно из самых действенных орудий в осуществлении процесса демократизации. А каждая искаженная или покрытая мраком цифра превращает нас, желающих слушать и говорить от имени земли, в «глухонемых от имени своей земли».

1989 год будет сложным и значительным этапом в работе Государственного комитета по статистике Латвийской ССР. Предстоит переписать население республики. Информация, полученная в результате, позволит объективнее и аргументированнее очертить круг обсуждаемых вопросов. Хочется надеяться, что доступность результатов переписи каждому читателю будет свидетельствовать о нашей готовности к труду ради демократизации во всех сферах жизни.

ЗЕМЛЯ НЕИЗВЕСТНАЯ...

Это — одна из больших проблем небольшого народа.

По данным переписи 1970 года, в Латвии живет 1.342 тысячи латышей, в РСФСР — 59,7 тысячи, в других национальных и автономных республиках страны — 28,3 тысячи, за пределами страны в различных государствах — 160 тысяч латышей. Если в 1970 году в республике проживало 56,8% коренного населения, то за пределами ее — 15,6%, то есть каждый шестой человек.

Процесс консолидации латышского народа завершился в конце XVI — начале XVII века. В условиях тяжелого гнета народ сохранил родной язык, национальную культуру, бытовые традиции. Временем завершения формирования нации принято считать вторую половину XIX века. С тех пор прошло немногим более ста лет. По мировым масштабам, это еще детство нации. Попробуем проследить за судьбами нескольких поколений, чтобы понять, что отложилось в генах каждого поколения, какие качества подавлялись, а какие культивировались.

Наши предки были беспокойными людьми. Стихийные столкновения с помещиками около 1770 года — это бурный протест крестьян, низведенных до положения бесправных рабов. Летом 1776 года, когда наследник русского престола Павел проезжал через Видземе, на почтовой станции в Ленчи крестьяне валмиерских и цесисских имений подали ему 21 июля прошение о заступничестве перед насильниками-помещиками. Это было неслыханной дерзостью. В конце концов летом 1777 года виновные были жестоко наказаны возле валмиерской и цесисской церквей, сразу после богослужения. Зрителей согнали со всей округи. Наказанные, очевидно, и были первыми высланными с родины латышскими крестьянами. В далекой и холодной «стране расплаты» — Сибири они обжились, и память о них, а также следы их пребывания там сохранились до наших дней.

Крестьяне, вооруженные косами, не могли оказать сопротивление частям регулярной русской армии. И все же в 1802 году опять вспыхнули крестьянские волнения — в Каугури. Движение было подавлено, виновных и подозреваемых выпорол и сослал. «После «освобождения» крестьян в 1817 году, — писал Фр. Розиньш в произведениях «Латышский крестьянин», — ни у одного барона не было «своих» крепостных, и личный интерес каждого юнкера требовал выжать все возможное из тех крестьян, что оказались под его властью... Закон 1817 года позаботился о том, чтобы «выжимаемых» крестьян оказалось в изобилии... ибо ни один курземский крестьянин не мог жить без господина (уйти в город, уехать в другие губернии или заняться ремеслом он не имел права). Около 1840 года распространились слухи, особенно в районе Валки и Цесиса, что нужно принять «царскую веру», тогда царь позаботится о своих собратьях и они получат наделы в южных губерниях, где тепло и плодородные земли. Но те, кто пытался перейти в православие, получили порку... Невзирая на это, по данным лютеранской церкви, в Видземе с 1841 по 1847 год принял православие 74 000 жителей.

После «картофельного бунта» в 1841 году в Яунбери военный суд признал виновными 108 человек. «Это было не наказание, а избивание, — писал Индрикс Страумите, — паренька 12—13 лет так сурово наказали, что и взрослый бы не выдержал, бессильной старушке, высохшей, как гриб-трутовик, отвесили около 100 палок, старичка, который был похож на еловую шишку, дважды прогнали сквозь строй, а он бы и одного раза пройти не смог. Солдаты положили его на тележку и волокли уже мертвого, били палками как по мешку». Всем присутствующим объявили: «Так будет наказан каждый, кто пожелает отправиться в теплые земли, кому придет на ум принять русскую веру, кто осмелится ослушаться помещиков и пасторов, а будет слушать мошенников-бунтовщиков».

Латышское крестьянство находилось под двойным гнетом. Немцы дворяне и пасторы их за людей не считали. Даже по сравнению с русским дворянством у прибалтийских помещиков-немцев было больше привилегий. Но и те и другие заботились только о своих интересах.

Волнения, наказания, голодные годы продолжались. Казалось, действительно, лучший выход — уехать в «теплые края», где все растет и зреет, где каждый — сам себе хозяин. Эта мечта — сам

себе хозяин! — легла в основу многих семейных трагедий. Андрейс Рейзникс в воспоминаниях о латышской колонии в Белоруссии Потаже описывает такое расставание: «Боль рвет душу сильнее, чем у могильного холма. Там, где прощаются с умершим, сердце болит у тех, кто покидает его. А тут сердце болит у всех одинаково: и у тех, кто уходит, и у тех, кто остается. И вот еще беда. У многих к этой мучительной боли расставания примешана горечь: уезжающим братьям кажется, что отец с матерью выделили им слишком мало; остающиеся братья, наоборот, считают, что тем отдано слишком много! Двойная ноша у матери с отцом, какой палец ни укусишь, одинаково больно, хотя все сделано, кажется, по совести. Потом случается так, что один, обливаясь потом, так и не докопав канаву в болоте, махнув в отчаянии на все рукой, отправляется искать счастья дальше — не возвращаться же домой, чтобы выслушивать слова презрения! Другой, сгибаясь под ношей долгов (уезжающим было отдано не только накопленное, но и взятое в долг) пускает отцовский дом под топор. Родители умирают, и ржавчина горечи разъедает последнее, что объединяет братьев — нить переписки.»

Кто они были — гонимые отчаянием, голодные и несчастные, мечтающие найти хотя бы кусок хлеба насущного? Стремилась ли они обзавестись землей и имуществом, стать хозяевами, чтобы получить от жизни то, что им вроде бы по справедливости полагается, и насладиться возможностью командовать другими неудачниками? Или стали искателями счастья без чувства родного дома, без чувства Родины — одним словом, без корней? До какой степени бедности и унижения нужно довести человека, чтобы он добровольно бросил родные места и близких! Надежда оказалась сильнее всего. И что говорить о крестьянах, если даже Кр. Валдемарс, увлекшись идеей получения земли, купил два имения в Новгородской губернии, решив организовать там латышскую колонию из 500—600 семей. В имениях Валдемарса управляющим работал брат Ю. Алуанса Индрикс. Сам Кр. Валдемарс верил, что улучшение материального положения тех, кто получил землю, благотворно скажется на оставшихся в Курземе и Видземе. Со временем это даже послужит основой для торговых связей — тут он возлагал надежды на развитие мореходных училищ. Несомненно, Кр. Валдемарс не мог предвидеть огромного количества претендентов на предлощенные земли. В конце концов, опять появились оторвавшиеся от корней и не нашедшие себе места на чужбине, которые в растерянности двинулись дальше: кто — в Башкирию, кто — к Омску, кто — в направлении южных степей.

В 60-х годах XIX века в Видземе и Курземе началась массовая продажа крестьянских земель. Крестьянин «мог» стать хозяином своего же участка, если бы оказался в состоянии выплатить в Видземской губернии — в среднем 61 рубль за десятину, в Курземской — 88 рублей. Для сравнения: в Уфимской губернии в 1884—1885 г. землю можно было купить по 24—30 рублей за десятину, причем крестьянский банк выдавал ссуду — 20 рублей на десятину. Разницу нужно было покрыть наличными, выплатить в четыре года из расчета 6% годовых. Большинство все же брало землю в аренду — 20 десятин на 36 лет, из которых первые два платить не надо было ничего, а в четыре последующих — 150 коп. за десятину полезной земли. Нужно было соблюдать ряд арендных требований, но вышеупомянутые условия позволяли стать хозяином и выходцу из батраков.

Откроем книгу К. Шкильтерса «История латколоний», изданную в 1928 году. Читаем: латыши поселились в 400 населенных пунктах на территории СССР, им принадлежит 11 650 хозяйств. По данным переписи 1926 года в СССР была 151 000 латышей, хотя в отдельные периоды, после революции 1905 года и первой мировой войны, их было значительно больше, по отдельным источникам — около 300 000. Когда началась эвакуация беженцев, большая часть их вернулась в Латвию, «прихватив» с собой некоторых из прежних латышских поселенцев. Прошло 70—100 лет со времени освоения латышами дальних краев, сменилось не более чем 3—4 поколения, казалось бы — что помешает вернувшимся прижиться в Латвии? Но были случаи, когда эти люди уезжали обратно. По правде говоря, их появление не вызвало дома восторга. Разоренные войной хозяйства нуждались в рабочих руках, но тех, кого



нужно было обеспечить куском хлеба и крышей над головой, было достаточно и среди своих. Стоило приезжим в разговоре сравнить свою прежнюю жизнь в ухоженных хозяйствах с теперешней, им открыто советовали возвращаться в «землю обетованную». И они снова пускались в путь, не догадываясь, какой трагедией обернется для многих дальнейшая жизнь.

Феноменальная общественная активность 20—30-х годов помогла компенсировать отсутствие отчизны латышам, живущим в СССР. Централизованно и целенаправленно действовало культурно-просветительное общество «Прометей», государственный латышский театр «Скатуве» («Сцена»), около тридцати разных клубов и секций бывших стрелков, на местах — драмкружки, хоры, оркестры. В 1936 году насчитывалось 117 латышских сельских школ, двадцать четыре из них — средние. Кадры для школ готовил латышский сектор Московского университета западных народностей. Ленинградский центральный латышский педагогический техникум, партийная школа Омского округа, латышское отделение Битцского сельхозтехникума, латышский сектор Ленинградского пединститута им. Герцена. «Прометей» издавал газету для латышских детей «Дарба берни» («Дети труда») и журнал «Мазайс коллективистс» («Маленький коллективист»). Многие латышские школы выпускали свои литературные журналы, в них работали различные кружки. Взрослые получали газету «Комунару Циня» («Борьба коммунарлов»), журнал «Целтне» («Стройка»), латгальский журнал «Цейняс каругс» («Знамя борьбы»). В Восточной Сибири выходили газеты «Сибирякс Циня» («Сибирская борьба») и «Тайснейба» («Правда»). «Прометей» выпускал и художественную литературу на латышском языке, учебники, проявлял интерес к культурной жизни латгальцев, организовал латгальскую секцию, заболтался о подготовке латгальских учителей, собрал вокруг себя молодых писателей.

Его обошел он вниманием и латышских скульпторов, живописцев, сценографов. Были разработаны проекты памятников латышским стрелкам для Перекопа и Каховки. Агитбригада «Прометей», так же, как театр «Скатуве» (директор Р. Банцанс), регулярно устраивала так называемые рейды культуры по латышским поселкам. В 1933 году состоялось 87 спектаклей в Сибири и Башкирии. Кроме того, действовал латышский коллективный театр Западного округа и Ленинградская латышская театральная студия.

И вслед за этим наступили черные годы. Укоренились слова «враг народа», «вредитель». Перегибы коллективизации, разгул культа личности. Кого не уничтожили физически, того изуродовали и сломали морально. И вновь это были самые светлые, самые мудрые, самые активные, самые талантливые... Теперь о том времени опубликовано столько, что нет необходимости еще раз перечислять имена. Но за каждым именем — жизнь, судьба...

И грянула война...

Еще далеко было передовым частям Советской Армии до Латвии, а в тылу началась комплектация кадров из молодежи латышского происхождения, владеющей русским и латышским языками. Они должны были восстанавливать Советскую власть в Латвии и руководить работой ее органов после войны. Многие приехали сюда просто так — по приглашению родственников, наслушавшись рассказов фронтовиков, как члены семей тех, кто приехал раньше. Почему произошло новое прощание со второй Родиной?

Его причиной был, прежде всего, служебный долг. Но нельзя не принимать во внимание и других причин: утрату возделанных участков и имущества, закрытие латышских школ, уничтожение литературы, изданной на латышском языке, компрометацию ведущих партийных, советских, общественных деятелей латышского происхождения, репрессии культа личности, что, в свою очередь, породило инерцию в общественном мышлении по отношению к этим вопросам, и преодолеть ее пришлось впоследствии долгие годы.

Было ли это расставание менее болезненно, чем самое первое, когда переселенцы покидали Латвию? Сравнить трудно, и все же, кажется, что да. Люди, с которыми я беседовала на эту тему, говорили: «Да, мы ехали в незнакомый край — в Латвию, но знали, что там жили наши предки, и что там мы будем говорить на родном языке». Но, опережая события, надо заметить, что процесс раскола сознания уже начался, потому что часть приезжих впоследствии не раз меняла место жительства, не в силах сделать окончательный выбор, например, между Латвией и Башкирией. Кроме того, башкирские латыши создали некую традицию, которую условно можно назвать моделированием бывшей родины, а именно — ежегодно в первое воскресенье июня все проживающие в Латвии выходили из Башкирии вместе с семьями встречаются в одном из уголков Межапарка. Что за ностальгия мучит их?

В Башкирии есть район, который считается одним из самых густонаселенных латышских поселений в СССР. В 1991 году испол-

нится сто лет архангельской латышской колонии, в которой в 1926 году было 432 хозяйства. На десять лет моложе село Бакалдинское, хотя трудно решить вопрос об историческом первородстве — оно возникло, когда архангельская колония настолько разрослась, что стало трудно вести административно-хозяйственную работу. Теперь в Архангельском районе живет около четырехсот латышей. Это главным образом пожилые люди. Молодежь в результате смешанных браков и возможности получить образование лишь на русском языке, его и выбрала в качестве родного, а в следующем поколении обычно меняет и национальность. Но в быту латышский язык еще функционирует, старики читают и пишут по-латышски. В 1985 году Академия наук Латвийской ССР организовала экспедицию в эти края под руководством доктора филологических наук Айны Блинкены для изучения языка, фольклора, материальной и духовной культуры выходцев из Латвии. Экспедиция собрала много неожиданно интересных материалов: исторически сформировавшихся, но исчезнувших в Латвии говоров, мелодий народных песен и вариантов текстов, узоров тканей и рукавиц, образцов вязания, названий элементов узора, народных верований, рассказов о первых поселенцах. В селе еще поют несколько женщин, создавших латышский вокальный ансамбль. Он выступал на мероприятиях районного, а несколько лет назад — и республиканского масштаба. Экспедиция побывала у Агнесы Бранце, у которой записали больше всего песен, у сказительниц Алины Кронберги, Алвины Веце, Паулины Паспарне, Николая Озолиньша, Александра и Лидии Апансов, Яниса и Дзидры Муцениексов, Александра и Сподрите Берзиньшей и многих других. К сожалению, все эти люди старше шестидесяти. Молодежь проявляет мало интереса к духовному наследию своего народа, потому что в будничной жизни необходимости в этом не ощущается. С детского сада они воспитывались в контексте иной культуры. Даже в семье их сознательно готовили

к учению на русском языке. И дело не в преимуществах или недостатках культуры одной нации перед другой. То, что для одного органично, другому грозит отклонениями или уродством. В результате возникает странное смещение сознания, не ощущающего своей принадлежности ни к одному из народов и неспособного воспринять богатства духовной культуры ни одного из них. Не чувствуя связи ни с одной традицией, такая личность может понемногу утратить моральные ценности. А если в ней вдруг заговорят гены и сознание получит сигнал «SOS», большая часть ищет спасение в алкоголе. Это — несчастные люди, не осознающие своего несчастья.

Село Нижняя Буланка Каратузского района Красноярского края. Еще в 1977 году разговорным языком здесь был латышский, хотя село основано в 1854 году и его население первоначально составляли осужденные на вечную ссылку. Позднее появились переселенцы-добровольцы. В 1928 году количество хозяйств достигло 253. К селу было приписано более 3000 жителей, часть из которых жила поблизости на таежных заимках в горах. В селе имелись латышская школа, лютеранская церковь, хор, драмкружок, свои музыканты, библиотека. Церковь была закрыта в двадцатые годы, в ней организован до сих пор действующий клуб. Латышская школа закрыта в 1936 году, тогда же в Новосибирске перестала выходить латышская газета «Сибиряк Циня». Книги, бывшие в библиотеке, в том числе и латышские дайны, сожжены и разорваны. Все мужчины в селе, занимавшие ответственные должности, и учителя арестованы при культе личности за принадлежность к контрреволюционной организации, о существовании которой даже сорок лет спустя никто в селе ничего толком не знал. Иные считали, что речь идет о «Прометее», хотя никто не мог понять, как, не выезжая из села, находящегося в шести

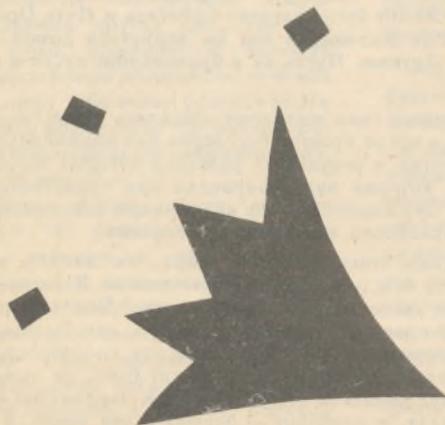




ФОТО АВТОРА

тысячах километров от Москвы и Ленинграда, учителя умудрились вступить в какой-то заговор. Но до сих пор к приезжим из Латвии относятся с подозрением, как к возможным агентам западной разведки, хотя попадают они сюда или случайно, или исследуя судьбы своего народа.

Село могло бы представить интерес для ученых — здесь многое, унаследованное от предков, сохранилось как бы законсервированным. И странное дело — хотя заметно несомненное сходство в обычаях, в планировке зданий и села в целом, с Архлатышским сельсоветом в Башкирии, даже в бытовых деталях, даже в окружающем пейзаже, у жителей Нижней Буланки ощущается более высокая степень духовности, не утратившей связи с родиной предков.

Понемногу забывается веками создававшаяся в латышском сознании культура захоронений. Может, потому, что нет ни в одном селе такого хранителя традиций, какой обычно бывает в Латвии. Рождаются дети, им нужно дать имя, женятся молодежь, нужно справить свадьбу. В этой сфере тоже проявляются народные таланты — такие, как Паулина Цине в Нижней Буланке. Но кто заменит ее? И не исчезнет ли вместе с традицией этика человеческих отношений?

В конце 1987 года редакция газеты «Ленинец» Башкирского обкома комсомола получила письмо от краеведов Бакалдинской средней школы с просьбой рассказать, когда и почему в Башкирии появились латыши. Редакция ввела новую рубрику «Мы живем в Башкирии» и обещала публиковать материалы о всех народностях, проживающих сегодня в Башкирии. 26 ноября газета опубликовала репортаж из Архлатышского сельсовета Архангельского района спецкора Г. Ханнановой и из колхоза им. Горького, со ссылками на публикации журнала «Звэйгзне» за 1986 год. Интересно, что именно подростки пытаются наладить связь времен. Не виден ли в этом зеленый росток надежды?

Каждый шестой латыш проживает за пределами Латвии... «Есть и у других народов земляки, живущие за пределами государства, — писал языковед Я. Эндзелинс в 1931 году о куршах, — но я не знаю, есть ли у какого-то другого народа принадлежащие к нему в других странах, которые не только не пытаются объединиться с большинством, отделенным от них государственной границей, но даже не осознают ясно свою принадлежность к этому большинству, и, в свою очередь, совершенно не знакомы своим родственникам по ту сторону рубежа. У нас, латышей, такие отчужденные родственники есть». Правда, настало другое время, и нас не разделяют непреодолимые границы, и все же — как близок к сути дела Эндзелинс!

А ведь у нас есть еще те 160 000, что разбросаны по всему свету. В Латвии существует комитет по культурной связи с соотечественниками за рубежом, выходит газета «Дзимтенес балс» («Голос Родины») с приложением «Атбалс» («Эхо»), звучит радиопередача «Дзинтаркраст» («Янтарный берег»). Все это — нужные формы контактов, но нацелены они, увы, в одном направлении — за рубеж. Если сегодня мы восстанавливаем в жизни ленинские нормы, боремся с уродствами культа личности и периода застоя, признаем и исправляем ошибки, то не настало ли время взять на себя заботу о тех почти 90 000 латышей, которые скоро перестанут понимать по-латышски и национальная принадлежность для которых станет чем-то вроде «лейбла» на штанах? По крайней мере, нужно дать тем, кто хочет знать родной язык, возможность сделать это, надо, чтобы связи носили не случайный «экскурсионный» характер, а возникло постоянное сотрудничество с районами, где проживают латыши. Необходимо централизованно обеспечить их культурными мероприятиями и курсами языка, хотя бы во время летней практики студентов нашего филфака. Если Латышский Фонд культуры наметил Янтарный путь, Путь стрелков, то, может быть, следует наметить и Путь Осознания, по которому любой желающий мог бы вернуться домой, на родину предков — в Латвию. Пусть не в буквальном, пусть в символическом смысле.

В затянувшиеся годы молчания снизилась общественная активность людей, и это не прошло бесследно для национального характера. Те качества, в результате развития которых человек выжил, та селекция, которая культивировала как единственно нужные, послушание, сдержанность и так называемую исполнительность, — не база для развития завтрашнего человека.

Мы — частица этого сложного мира, мы заняли в нем свое законное место между предками и потомками. И разве не достоин презрения тот, кто не сознает этого родства? Человек, венец творения, не имеет права отречься от памяти, как бы болезненно ни было прикосновение к ней. Пока есть эта способность ощущать боль — еще не все потеряно! Так, может быть, не нужно отмахиваться и отгораживаться от того, что нам неприятно? И не будем закрывать глаза, а наоборот — раскроем все двери, и впустим в свой дом людей, и поделимся с ними теми духовными сокровищами, которые нам принадлежат? ..

МЯТЕЖНЫЙ РОД БАЛЛОДОВ

(Окончание)

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ЖИЗНЬ В СИБИРИ

В КАТОРЖНОЙ ТЮРЬМЕ И НА ПОСЕЛЕНИИ (1865—1873)

В Ленинграде, в рукописном фонде Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, мне в руки попал неопубликованный документ — письмо Петра Баллода. Целый трактат на двадцати страницах. Написано оно весной 1870 года, тотчас по освобождении из знаменитой Нерчинской каторжной тюрьмы, в приграничье с Китаем.

В ожидании парохода отбывавший через Байкал в Иркутск больной и усталый с дороги Баллод все писал и писал, а душа болела, и отчетливым было сознание, что он человек подневольный и никогда не будет свободным, и родины ему не видать. Навечно в Сибири. В письме, искреннем и сентиментальном, он действительно изливал душу. Профессору музыки и эстетики Александру Фаминцину.

«Наконец-то, любезнейший Александр Сергеевич, я сажусь писать к Вам как человек свободный. Я все это время совершенно отвык писать, так как письма, по правилам, должны были быть написаны как можно короче и содержимого в них не должно было быть никакого. Очевидно, что при таких обстоятельствах немудрено забыть писать все, кроме чепухи. Да и почти все время своего пятилетнего странствования у меня не было времени заниматься чем-нибудь, кроме счетов и разных других дел, так как половину этого времени я занимал разные общественные должности. — И как подумаешь, черт тебе велел браться за эти общественные должности! От них-то, разумеется, я нажил больше неприятностей, чем от самой каторги».

Так начинает Баллод свое «покаяние». Затем в деталях описывается интересное событие в его жизни — выборы старосты заключенных в забайкальском селении Сиваково, верстах в 30 от Читы. Было это, очевидно, летом 1865 года, после подавления польского восстания, когда тысячи ссыльных поляков прибыли в Сибирь. Великолепная массовка для будущего фильма о Баллоде — посреди голой сибирской степи возбужденно митингующие пань

никак не могут выбрать из своей среды наиболее уважаемого соотечественника.

«Например, хоть в Сиваковой — взбунтовались пань — говорят, нечего рассчитывать на своих, надо выбрать распорядителем Баллода; это, разумеется, говорили ярые демократы, к которым причислял себя и я; хотя в ярость мою, стало быть, и не верили. Другая половина, т. е. аристократия, запротестовала, что стыдно полякам выбирать своим представителем «москаля», и что скажет Европа на это, если 600 поляков выбирают своим представителем единственного «москаля». — Не знаю, какие размеры принимали по этому поводу волнения в Европе, только у нас в Сиваковой 600 панов кричали на всю степь и обе партии сделали до того непримиримыми, что каждая из них хотела просить у начальства автономии, т. е. права иметь своих представителей (...). По прошествии некоторого времени моего представительства, когда большинство убедилось, что я вовсе не такой страшный революционер, как это казалось сначала, то многие из аристократов со мной примирились и только изредка мне приходилось вести полемику эпистолярно — через газеты, которых в Сиваковой издавалось четыре, или прибавить на столбах свои ответы».

Так Баллод еще раз нашел применение своим организаторским способностям. На целый год. Потом его перевели в Акатуйскую каторжную тюрьму. Там, пишет он, было несладко: находило отчаяние, да не на миг — днями, месяцами длилось. А поначалу и здесь засучил рукава и взялся за полезные дела.

«Человека, выдающегося по своему развитию, не было, да сомневаюсь, чтобы он принес существенную пользу; народ все едва-едва посредственный и каждый из них считает себя выше всех остальных (...). Затеяли было публичные лекции, чтобы развлечь общество. Затеяли их люди добрые и с хорошими намерениями, хотели хоть несколько развить своих убогих развитием товарищей, — но возможны ли были лекции там, где каждый считал себя способным читать лекции по всем отраслям наук? Разумеется, они скоро исчезли».

Заключение в Петропавловской крепости одиночное, и вы там можете заниматься чтением, писать и вообще там вы

привыкаете и чувствуете себя сравнительно свободным (...). Здесь вы сидите в обществе пяти или восьми человек, смотря по величине камеры, и решительно не располагаете собой, потому начинаете свирепеть (...). Начинаете ненавидеть всех (...). Вы делаетесь раздражительны до крайности... У меня было случая два таких в Акатуе (...). Вы, разумеется, не удивитесь, что я в это ужасное время думал о побеге, хотя мысль о голодной смерти в здешних пустынях и лесах никогда не покидала меня (...).»

Баллоду можно верить. В каторжной тюрьме человек против своей воли теряет человеческий облик, утрачивает индивидуальность. В прошлом веке об этом оставил свои «Записки из мертвого дома» Достоевский:

«Весь этот народ, за некоторыми немногими исключениями неистощимо-веселых людей, пользовавшихся за это всеобщим презрением, — был народ угрюмый, завистливый, страшно тщеславный, хвастливый, обидчивый и в высшей степени формалист (...). Вообще тщеславие, наружность были на первом плане. Большинство было развращено и страшно исподлилось. Сплетни и пересуды были бесперывные: это был ад, тьма крошечная».

И неудивительно, что деятельный дух Баллода не выдерживал этого ада. Минуты слабости, о которых пишет Баллод, не были присущи его характеру, а неизбежно рождались в той специфической среде.

В более светлых тонах описывает Баллод время, проведенное в тюрьме «Александровский Завод». Там он сидел вместе с Н. Г. Чернышевским, другими интеллигентами. Может быть, оттого и полегче было. Но и тут случалось всякое. Общая жизнь в камере и вынужденное безделье портили людей. Баллод, старший тюрьмы, вошел в конфликт с товарищами по несчастью. Может, причиной была его сдержанность, а вернее, северная замкнутость характера, отчужденность, индивидуализм — нередко их путают с высокомерием. По крайней мере, таким предстает Баллод в старости, по воспоминаниям современников.

В своем письме Баллод подробно описывает, как он организовал в тюрьме мыловарение, изготовление сальных свечей, как устроил огород и держал скотину. В мыловарении была и заслуга

Фаминцына, приславшего книги по химии.

В воспоминаниях о Баллоде приводится чей-то стишок по случаю успешного мыловарения — большого события в монотонной тюремной жизни: «Мудрость, богиня, воспой Петра, Давыдова сына, мыло который сварив, соль в челуку не презрел, но извлек, выпарив всю».

В письме Баллод повествует о ссорах и спорах между каторжанами: «Не могло тут впрочем и влияние такого человека, как Чернышевский, который говорил мне тогда: «А чтобы вы хоть побили кого-нибудь из них. Может быть, лучше бы стало».

Концовка письма звучит оптимистично. В то время Баллоду было 35 лет, он был полон сил и энергии. Планы роились у него в голове:

«Вы спрашиваете, чем я буду заниматься на поселении. У меня, разумеется, планы обширные. Хочется мне заняться какой-нибудь торговлей и засеять несколько десятин хлеба, и откармливать свиней и, нахожу, самое главное, завести свечную и мыловаренную фабрику. Это последнее предпринятие, с которым я ближе всего знаком и которое, как мне кажется, должно было дать наибольший барыш, менее всего осуществимо, так как на него осенью в октябре месяце мне нужно сделать затрату по крайней мере руб. 300». (Насколько известно, Баллод мыловаренную фабрику не открыл. Значит, его друг — профессор консерватории — был менее отзывчив, чем рассчитывал Баллод.)

Еще Баллод благодарит за присылку журналов «Земледельческая газета» и «Сельское хозяйство» и возмущается примечанием Черкесова ко второму изданию перевода анатомии Гиртля, где будто бы сказано, что Баллод и Фаминцын к исправлениям непричастны. (В экземплярах книги, доступных в Ленинской библиотеке, такого примечания я не нашел.)

В заключение он приводит адрес своего поселения. Это место с латышским на слух названием Илга. Баллод пишет его и по-латышски. Понял ли композитор игру слов? (Игас — тоска.) Знал ли он латышский? (Фаминцын многое сделал для собирания латышских народных мелодий.) Из этого поселка Илгинской волости Верхоленинского округа начинался путь многих поселенцев, искателей счастья, вниз по Лене, к золотым приискам. Баллод работал в волостной управе писарем и тосковал по настоящей жизни. Коллеги упрекали его в том, что он не берет с туземцев «благодарностей» за составление прошений. Разве такая жизнь была по нем?

В 1873 году (или годом позже) он отправляется на золотые прииски. Один, в уютной веселой лодчонке, в более чем тысячекилометровый путь по Лене. Однажды, вспоминал Баллод, его хотели потопить — приглянулась лодка. Спасли туман и прочные весла. Он благополучно добрался до Олекминска и окунулся в старательский водоворот во владениях Ленского золотопромышленного товарищества.

В ПОИСКАХ АЛДАНСКОГО ЗОЛОТА (1874—1886)

Его Императорское Величество Александр II трижды собственноручно решал судьбу Петра Баллода. В первый раз — летом 1862 года, когда выразил свою «непреклонную волю», «чтобы комиссия обратила преимущественно и безотлагательно внимание на действия арестованного при полиции студента Баллода». Вторично — в 1864 году, когда более чем вдвое скостил ему срок каторги — с 15 до 7 лет. Третье вмешательство царя имело место много позже, уже после отбытия Баллодом каторжного срока.

В 1876 году «государственный преступник» Петр Баллод обращается к начальнику Третьего отделения с просьбой снять с него политический надзор, так как иначе он не может стать уполномоченным. Прощение, естественно, было отвергнуто. Баллод так бы и прозябал рабочим поисковой партии, без всяких прав на самостоятельную деятельность, не протяни ему руку помощи Ал. С. Фаминцын.

Как свидетельствуют неиспользованные прежде архивные материалы, 28 апреля 1877 года проф. Фаминцын отправил личное письмо петербургскому генерал-губернатору. Тот в свою очередь обратился к министру внутренних дел. 17 мая министр написал Третьему отделению, и 31 мая последовало высочайшее разрешение: «Баллод имеет право всех состояний и на переселение из Сибири в Европейскую Россию на жительство под надзором полиции».

6 июня министерству внутренних дел было сообщено: «Государь Император на освобождение Баллода от надзора полиции с предоставлением ему права разъездов лишь по Восточной Сибири Высочайше соизволил». Так Петр Баллод получил право быть начальником золотоискательской партии. Впоследствии он дослужился до главноуправляющего наиболее крупными золотыми приисками на Лене, но полностью в гражданских правах восстановлен не был. Например, в мемуарах Л. Г. Дейча сказано, что Баллоду вернули все права и разрешили приехать в столицу. В начале века он действительно побывал в Петербурге, но находился под надзором полиции. В первый же вечер к нему на квартиру явились жандармы, сделали обыск и... украли золотые запонки.

С годами имя Петра Баллода стало популярным в Якутии и не только там, но и в Петербурге тоже, поскольку владельцы приисков жили, разумеется, в столице.

Приятно читать воспоминания В. Г. Короленко (1853—1921). В своей «Истории моего современника», навеянной якутской ссылкой писателя (1881—1884), Баллоду он посвящает отдельную главу. И пишет о нем с нескрываемым восхищением:

«Именем Петра Давыдовича Баллода была полна Амга, хотя он в ней тогда и не жил (...) Вообще это был настоящий богатырь, и это подало повод к рассказам,

что именно он послужил Чернышевскому прототипом к его Рахметову (...) Рассказы о его силе, выносливости и чутье местности бывали прямо изумительны (...) Порой он оставлял партию с проводниками-тунгусами и по какому-то инстинкту отправлялся через горные кряжи напрямик, набивая себе карманы только шоколадом.

— Порою думаешь, пропал наш Петр Давыдович. Даже тунгусы качают головами... А глядишь, через несколько дней подходим к берегу какой-нибудь речушки... Глядь, — горит огонек, а у огонька сидит наш Петр Давыдович и дожидается».

В другом месте Короленко делится личными воспоминаниями:

«Я с удовольствием вспоминаю о многих вечерах, проведенных мною за разговорами с Баллодом во время его приездов в Амгу (...)»

Было какое-то соответствие между его богатырской силой и тем спокойствием, с которым он встречал наши порой страстные возражения на свои взгляды. Я был тогда еще страстный народник, и рассказы Баллода о его жизни среди сибирской общины, проникнутые взглядами индивидуалиста-латыша, часто встречали во мне горячий отпор. При этом мне всегда вспоминается спокойное достоинство, с которым Баллод парировал мои возражения».

Биограф Баллода П. И. Валескалн насчет «индивидуалиста-латыша» с писателем спорил: «Дело тут, конечно, не в личном индивидуализме Баллода — индивидуалистом он не был. Дело в том, что, выросши в Латвии, в условиях индивидуального крестьянского землепользования, Баллод не соглашался с тогда еще «страстным народником» Короленко, отстаивавшим иллюзорные народнические теории о крестьянской общине».

Можно проще сказать. Петр Баллод любил работать. А работающий человек в массе неработающих неизбежно выглядит индивидуалистом, если же этот самый прилежный труженик еще и пытается «качать права» при распределении заработанного, пусть даже тише и скромнее прочих, тут и обрушиваются на его голову обвинения в индивидуализме. «Семеро с ложкой» против «одного с сошкой» всегда коллективисты.

Короленко придал черты Баллода образу Сокольского из рассказа «Мороз». Это повествование о судьбе одного несчастного ссыльного поляка устами Сокольского, спутника писателя: «Это был человек крупный, с обветренным лицом, седоющей гривой волос и как бы застывшими чертами, нелегко выдававшими душевные движения».

Мне посчастливилось обнаружить некое фундаментальное геологическое исследование, которое подтверждает приоритет Баллода в открытии алданского золота. Имеется в виду Алданский район, где позднее, уже при Советской власти, были открыты богатейшие золотоносные месторождения. Успеха Баллода-золотоискателя достаточно, чтобы статья о нем

появилась в Горной энциклопедии (или Геологическом словаре), чтобы сам этот факт был специально отмечен в любой его биографии.

Геолог Л. Л. Тове в составленном им обзоре золотопромышленности Приамурья так описывает старательский поиск, которым руководил Баллод:

«Одной из крупных заслуг Ниманской компании, а в особенности инициатора и организатора дальних поисков П. Д. Баллода, следует признать открытие целой системы по р. Делинге, притоку Сутама, впадающего в Гонам, приток Учур, являющегося в свою очередь одним из главных притоков Лены... Одиннадцать интереснейших отводов Ниманской компании оплатились уже податью в 1899 году... Площади, открытые партией ниманской компании, явились первым опорным пунктом золотопромышленной системы Алдана».

В другом месте мы читаем у Тове: «Из всех попыток разведки золотосодержащих кварцевых жил, производящихся в Амурской области за все время ее существования, наиболее интересной, бесспорно, является производившаяся в 1898 году разведка ниманских жил... Инициатива разведки принадлежала Баллоду».

Как он всего этого добился? Улыбка фортуны, слепое счастье? Отнюдь нет. Плоды двадцатилетнего труда. Геологии сибирских золотых приисков Баллод посвятил целую жизнь. Только изучению Алданского бассейна — восемь лет. Проводил планомерную геологическую работу на колоссальной территории Якутии — от реки Алдан до Охотского моря на востоке и отрогов Станового хребта на юге.

Труды Баллода-геолога еще требуют изучения; мне не удалось раскопать архивы золотопромышленных компаний, найти отчеты Баллода о проведенных поисках. Говорят, архивы Ленского товарищества утрачены. Все ли? Не сохранилось ли что-нибудь в Иркутске, среди бумаг Географического общества, или в Томске — в архивах геологического факультета университета?

Баллод оставил воспоминания о своих золотоискательских трудах и днях, охватывающие восьмилетний период. Начинает он с рассказа об изучении западной части бассейна реки Май. Упомянуты Большая и Малый Аим — притоки Май и Омня (см. карту). На Омне он едва не погиб с голоду, так как при организации поисков ошибся: на карте Омня значилась длиной 60 верст, а оказалась — около 400. Поиски были безуспешными, пришлось перейти в следующий район — на Маю, ее притоки Маймакан, Одолу, Ватом и Евикан до вершин Станового хребта, откуда видны уже Охотское море и Шантарские острова. Здесь поиски тоже не привели к успеху.

На следующий сезон Баллод с партией перебрался на Учур и его притоки Тырган, Удюм, Альгому и Гонам. И только там напал на след «настоящего» золота. После восьми лет неотступных поисков. Но для

установления золотоносных жил понадобилось еще десять лет.

Поисковая партия обычно состояла из десяти человек. Отправлялись в дорогу в мае, с вешними водами, брали пробы песка в реках и ручьях, искали следы золота.

Придет время — и о Баллоде напишут книги, романы. Немало страниц в них будет отведено золотоискательству в Якутии. Это и приключения в духе Джека Лондона, и жизнь коренного тунгусского и пришлого якутского населения с их своеобразной первобытной культурой, и нелегкие судьбы политических ссыльных.

НИМАНСКИЙ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИК [1887—1897]

Более десяти лет, проведенных в тайге, даровали Баллоду бесценный опыт. Он составил себе научное представление о геологической структуре золотоносных жил Якутии и приобрел репутацию дельного работника. И вот в 1887 году Баллода — бывшего политкаторжанина, ущемленного в гражданских правах, приглашают занять respectable, более того, доходную должность главноуправляющего акционерной Ниманской золотопромышленной компании. Весьма высокий пост, и для многих предмет вожделений и зависти к человеку, его занявшему. Правление НЗК^о находилось в Петербурге, директором был В. И. Базилевский — сын владельца контрольного пакета акций, приятель Баллода по университету. Последнее, по-видимому, предопределило назначение Баллода — как тогда говорили, «политика», то есть человека неблагонадежного.

Богатейшие Ниманские прииски находились на южных отрогах Станового хребта. Места глухие, таежные, попасть туда нелегко (см. карту): от Благовещенска на пароходе 500 км вниз по Амуру и вверх по Бурее, потом еще 130 км по уже несудоходной Бурее — на берестяных лодочках оморочах, с помощью шестов, и наконец 100 км пешком или верхом. Прииски в самых верховьях Буреи и Нимана восемь месяцев в году были полностью отрезаны от Благовещенска, да и вообще от внешнего мира.

Баллод принял дела в возрасте 50 лет. Впервые в жизни он твердо стоял на ногах. Женился (в 1889 г.) на 20-летней девушке — Елене Константиновне Иордан, отец которой тоже был из «политических». Родились сын Владимир и дочери Вера и Елена.

О порядках, заведенных им на приисках, вскорости заговорила вся округа. Про Баллода рассказывали легенды.

«Во время работы главноуправляющим на приисках, — делится своими воспоминаниями дочь Баллода Вера Петровна, — к нему очень часто приезжали иностранцы, как, напр., англичане, французы, немцы, поучиться у него, как надо работать на приисках, чтобы столько намывать золота». Манила сказочная прибыль, кото-



рую Баллод обеспечивал владельцам НЗК°.

Высоко оценивал административные способности Баллода и Тове:

«Попасть на эти прииски было заветной мечтой каждого рабочего (...) Приисковый клуб, в котором устраивались чтения, вечера, любительские спектакли, много способствовал оживлению местной жизни. Всем служащим отпускались также, сверх столовых, хлеб, соль и спирт по надобности, а семейным, кроме того, — и молоко для детей. Квартира с обстановкой и отоплением предоставлялась от компании бесплатно».

Анализируя забастовочное движение в золотопромышленности, Тове подчеркивал, что при Баллоде забастовок на приисках вообще не было.

Главноуправляющий Баллод продолжает поиски золота, раз за разом снаряжая дорогостоящие экспедиции. И вот результат — алданское золото!

Напомним, что честь первооткрывателя алданского золота сегодня официально принадлежит другому человеку — тоже латышу — В. Бертиньшу (1888—1964). Его артель обнаружила богатые месторождения на ручье Незаметном. Эта артель была организована в 1923 году правительством Якутской АССР. Бертиньш стал первым управляющим треста «Алданзолото». Общая добыча треста на 1 апреля 1927 года составила 13 тонн. По случаю 50-летия «золотого» Алдана в городе был открыт скульптурный памятник Бертиньшу и его помощнику, якуту Тарабухину.

Крупномасштабные работы, предпринятые Баллодом, требовали значительных дополнительных затрат. Это пришлось не по вкусу хозяевам НЗК°. Упали и доходы акционеров, что в какой-то мере было игрой случая; директором-распорядителем вместо Базилевского стал реакционнейший сенатор В. А. Ратьков-Рожнов. И в 1898 году Баллод был уволен с должности.

При отстранении Баллода ревизоры составили крайне суровый акт. Каких только нарушений они не обнаружили! И как уменьшили доходы акционеров! При доме главноуправляющего, оказываема, была молочная ферма на 15 коров. На визиты посетителей, главным образом иностранцев, охочих до сибирского золота, было истрчено 800 рублей. Баллоду припомнили связи с политическими ссыльными. Снова всплыло происшествие лета 1892 года, когда в глухой тайге был ограблен караван с золотом, направлявшийся из Нимана в Благовещенск. Украли 16 пудов золота, и подозрение пало на Баллода. Пока полиция разыскивала его сообщников, настоящие преступники успели переправить золото через границу в Китай.

Немыслимым расточительством была объявлена покупка двух пианино, по цене свыше тысячи рублей каждое. Да, у Баллода было увлечение: он любил слушать музыку. В диком краю вечной мерзлоты и снежных бурь мерещились ему фортепьянные концерты...

НА СКЛОНЕ ЛЕТ (1898—1918)

С холмов родины
Прилетит ко мне иволга:
Возвращайся домой,
Перекасти-поле.

П. Юрциньш

В 1898 году Баллод с семьей переезжает в Благовещенск. Возраст солидный, пенсионный, но на здоровье он не жалуется. Изрядный капитал в банке позволяет стать купцом второй гильдии. Ему суждено прожить еще 20 лет. Чем бы заняться?

В Благовещенске Баллод реализует наконец мечту своей молодости: становится владельцем небольшой типографии и газеты «Амурский край». Первый номер выходит 31 октября 1899 года. Единственный штатный сотрудник редакции — Л. Г. Дейч (1855—1941), сподвижник Г. В. Плеханова.

На страницах «Амурского края» Баллод с невозмутимостью патриарха вспоминает былое. В девяти номерах 1900 года помещает статьи о жизни в Нерчинских рудниках в 60-е годы. За плечами у бывшего каторжанина тридцать нелегких, но удачных лет. Поэтому в мемуарах нет ни грана нетерпимости и усталости, что сквозили когда-то в «покаянии на берегу Байкала».

В 1899 году минуло десять лет со дня смерти Н. Г. Чернышевского. И Баллод с теплотой вспоминает выдающегося мыслителя. Описывая раздоры между заключенными, мемуарист уже не вкладывает в уста Чернышевского пожелание физически воздействовать на противников (как в том давнем исповедальном письме), а приписывает ему куда более благостный совет:

«Когда иногда выходили между ссыльными какие-нибудь недоразумения, совершенно естественные при тех условиях, в каких мы находились, Николай Гаврилович говорил мне, как старосте: «Да вы бы устроили маленькую пирушку, пригласили бы на нее оппозицию, и поверьте, все бы шло как по маслу. Ведь у нас, на Руси, все так делается, как при начале, так и при конце всяких дел».

Баллод меценатствовал, поощряя местную культурную жизнь. Помимо газеты организовал народный дом, библиотеку, попечительствовал школам. Обзавелся и превосходной домашней библиотекой, без малого в три тысячи томов. Держал он не только беллетристику, но и литературу по философии, истории, географии, геологии, биологии, химии и другим наукам. Особенно широко в его книжном собрании был представлен геологический раздел. Имелась и марксистская литература, в том числе «Манифест Коммунистической партии» и «Капитал» Маркса.

Баллод не отошел и от приисковых дел. Правда, защищал он в основном интересы не капиталистов, а рабочих: в 1898 году внес в бюро съезда золотопромышленников письменное предложение «в интересах рабочих образовать особый фонд для вспомоществования пострадавшим от несчастных случаев».

Увлекался науками. Переписывался, например, с Марией Склодовской-Кюри. Письма эти не найдены. Единственная точка опоры для поисков в этом направлении — письмо Баллода издателю Лонгину Федоровичу Пантелееву, отправленное 23 февраля 1907 года. С просьбой прислать из Чехии кусок урановой руды в обмен на обещание поискать в тайге радий.

Вера Петровна вспоминала, что ее отец, странствуя по Якутии в поисках золота, натолкнулся на залежи алмазов, но ничего не сообщил об этом ни предпринимателям, ни правительству.

В Благовещенске Баллод основал не только легальную типографию, но и нелегальную: в подполе под кухней печатались на гектографе прокламации и литографировались открытки антиправительственного содержания.

Участвовал Баллод и в международных антиправительственных изданиях. С 1901 по 1904 год в Благовещенске жил латышский марксист Роберт Андреевич Пельше (1880—1955), бежавший из Курляндской губернии с началом арестов среди новотеченцев. Пельше обратился к Баллоду за материальной помощью «Социал-демократу» — журналу, который издавался в Берне (Швейцария) Фр. Розиньшем-Азисом и другими латышскими социал-демократами. (Это издание во многом способствовало идейному сплочению марксистов Латвии.) Баллод не однажды давал Пельше значительные суммы. Пельше, вероятнее всего, был автором публикававшихся в то время в «Амурском крае» статей и заметок о жизни в Прибалтийских губерниях.

Несколько лет жил Баллод в Благовещенске на широкую ногу. В 1902—1903 годах совершил зарубежную поездку. В сопровождении собственного повара-китайца. Побывал в Японии, Китае, Египте. Снял на фоне пирамиды Хеопса.

Но роскошной жизни купца второй гильдии и благовещенского мецената вскоре пришел конец. Некто Ицкович, управляющий по прииску в организованной Баллодом золотопромышленной компании на паях «Надежда», обокрал его и компаньонов и удрал с капиталом в Америку. Снова пришлось Баллоду искать средства к существованию.

В дом пришла бедность. Тут Баллод вспомнил, что НЗК° осталась должна ему так называемые «полудные» за открытые им месторождения алданского золота. Долг был внушительный, и «должник» отбивался от истца как мог.

В архиве я натолкнулся на прелюбопытный документ, относящийся к тяжбе, затеянной Баллодом:

«Свидетельство о бедности.

Выдано 15 декабря 1909. «-го отделения Санкт-Петербургского окружного суда.

Мещанину П. Д. Баллоду признано право бедности на ведение дела с Ниманской золотопромышленной компанией в сумме 14 920 руб. сер.».

Как видим, Баллод уже не приписан к купеческому сословию, у него даже нет

денег, чтобы тягаться с правлением компании. Судебное дело тянулось долго, свыше трех лет.

Указанная в документе сумма причиталась Баллоду как первооткрывателю золотых месторождений. Однако окружной суд Баллоду отказал, пришлось ехать в Петербург подавать апелляцию. В 1909 году мы видим Баллода в столице в дешевой, студенческого вида комнате. В день приезда нагрелась с обыском полиция — по закону ему полагалось жить под неусыпным полицейским надзором.

В Петербурге Баллод встречался с приятелями студенческих лет и товарищами по ссылке — С. Г. Стахевичем, В. Г. Короленко, Л. Ф. Пантелеевым, с горным инженером А. П. Карпинским. Виделся и с латышскими (когда и где — неизвестно).

Дочь его, Елена Петровна Кротова-Баллод вспоминала про петербургское житье отца:

«Однажды, придя к отцу, я увидела на лице его, как всегда, ласковую улыбку, но такую, будто он хочет что-то сообщить мне. Оказалось, что он получил приглашение от своих соотечественников-латышей посетить не то вечер, не то концерт».

Л. Г. Дейч попытался ответить на вопрос: почему Баллод не вернулся в Латвию? Стремился уяснить отношение Баллода к Латвии и его связи с латышскими революционерами.

Попытка Дейча крайне заинтересовала меня. Материалам, собранным этим человеком, посвящено несколько страниц в книге П. И. Валескална. Дейч намеревался не ограничиться воспоминаниями, а написать обширную работу о Баллоде, в которой, судя по составленному им краткому плану, он хотел осветить ряд интересных вопросов, основываясь как на личных беседах с Петром Давыдовичем, так и на других материалах.

Личный архив Дейча хранится в Плехановском доме в Ленинграде. Туда я и отправился. Оказывается, 24 марта 1928 года Эдгарс Шиллер, латыш, бывший секретарь Плеханова (об этом факте я узнал гораздо позже), а, значит, добрый знакомый Дейча, обратился к нему с просьбой написать статью или книгу о Петре Баллоде. Работа предназначалась для серии сборников, посвященных истории революционной борьбы латышского народа, и особенно Пятому году; издателем выступало Рижское общество «1905-й год».

Как раз в 1928 году Дейч вышел на пенсию. Может быть, поэтому он ответил согласием. И Шиллер послал ему 3 мая следующую деловое письмо с вопросами от имени издательства:

«Хотелось бы Вам предложить... вопросы о Баллоде:

1) Рассказывал ли он когда-нибудь о том, как и почему он стал революционером?

2) Рассказывал ли он что-нибудь о своем отце или своем отношении к нему?... По своему темпераменту и он был бунтарем своего рода и в связи с этим подвергался немалым гонениям (со стороны помещиков и официальной, лютеранской церкви).

3) Рассказывал ли когда-нибудь Б. о своем отношении к той социально-полити-

ческой борьбе, которая в 70—80-е годы велась в Латвии?

4) Почему он не примкнул к местному социал-национальному движению, а бросился всецело в русское революционное движение?

5) Говорил ли Б. вообще о латышских делах и о возможности поднять латышей на борьбу с помещиками и самодержавным режимом?

6) Не поднимался ли среди революционеров Вашего поколения национальный вопрос вообще и как он тогда решался?».

Вопросы, которые задавал Шиллер, относились к событиям 50-летней давности и более ранним. Ныне со времени этих событий минуло 100 лет. Но они по-прежнему актуальны.

Дейч энергично взялся за дело. Он пишет:

«Я стал впоследствии расспрашивать о нем находившихся в живых его близких и знакомых. С этой же целью, между прочим, осенью 1928 г. отправился в Ленинград, где жила его меньшая дочь Елена, которую я видел в Благоещенске крошечным ребенком».

Затем Дейч телеграммой вызвал из Сибири вдову Баллода Елену Константиновну с другой дочерью.

В результате Дейч написал 25 страниц текста, они приведены в приложении к книге П. Валескална.

В предисловии Л. Г. Дейч пояснял о Баллоде:

«При моем с ним знакомстве в 1898 г. в Благоещенске ему было уже за 60 лет, но он и тогда еще производил сильное впечатление как внушительной своей внешностью, так и в особенности складом ума и характера. Баллод сразу очень заинтересовал меня, я видел, что передо мной недюжинный, чрезвычайно крупный человек, какого я до того не встречал не только среди русских, но и между известными мне западноевропейскими вождями».

Когда Дейч писал эти строки, ему было 73 года и у него за плечами были 40 лет революционной работы, четыре успешных побега из тюрьм и ссылки, долгие годы эмиграции в Америке и Европе. Он лично знал многих революционеров той поры.

В устах Дейча такая похвала дорого стоит. Мы можем гордиться, что латышский народ выдвинул из своей среды деятеля такого масштаба.

Между тем Дейч встретился в своей работе с колоссальными трудностями. Он чувствовал, что ему не хватает материала и вопросы Шиллера остаются без ответа. В этом, по-видимому, основная причина, почему Дейч не дописал свою работу о Баллоде.

Те же вопросы волновали П. И. Валескална — следующего (после Дейча) и гораздо более удачливого биографа Баллода. Но до прямого ответа на них не доискался и он. Вот отрывок из письма Веры Петровны Валескалну:

«На Ваш вопрос об отношении отца к прогрессивной латышской общественности могу только сказать, что ни в воспоминаниях, ни в разговоре об этом ничего не слышала».

Отец очень тяжело переживал отречение от него всех родных и близких ему лиц после его ареста и не любил говорить на эту тему».

Сходного мнения держится Елена Петровна:

«Об отце своем и других родных он говорил редко. Что родные отвернулись от него, лишь он попал в крепость, это подтверждалось и тем, что ни с сестрой, ни с братом Иваном (Янисом. — М. Ш.) он не переписывался. Позднее в нашем доме появились племянники отца. Первой появилась в 1899—1900 г. Магдалина Ивановна (Магдалена Яновна — М. Ш.), дочь брата Ивана, по мужу Моно (ее муж — французский врач, прекрасный человек, погиб в Охотском море). После его смерти она уехала в Америку... Позднее — в год окончания войны с Японией проездом с фронта заехал в Благоещенск племянник отца, Юлий Иванович Баллод...»

Петр Баллод не оставил своей автобиографии, не пытался философствовать и подводить итоги. Осталось несколько тетрадей с выписками и заметками о прочитанных книгах и статей о танцах. В ней автор, между прочим, писал:

«... передовые люди всегда считались и будут считаться нарушителями порядка, нравственности и безбожниками. А так как толпа всегда идет рука об руку со своим обманщиком, грабителем и убийцей, который всегда видит опасность для себя в уме с честностью, то получается всегда благословение толпы для обманщика, а голгофа для честного».

Горькие слова. Адресованы ли они самому себе? Последние годы жизни Баллод провел в Благоещенске. Получил похоронную на сына, погибшего на фронте мировой войны.

Умер он 23 января 1918 года. Общественных похорон не было — в те дни в город входили японские интервенты.

ОКОНЧАНИЕ. ИСТОРИЯ РОДА БАЛЛОДОВ ЖДЕТ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Лев Николаевич Толстой в конце романа «Война и мир» рассуждает о законах, определяющих ход истории.

Почему происходят те, а не другие явления? Историки говорят: «Случай сделал положение, гений воспользовался им». По мнению Толстого, слова «случай» и «гений» не обозначают ничего действительно существующего, и в доказательство своей правоты он приводит такое сравнение:

«Для стада баранов тот баран, который каждый вечер отгоняется овчаром в особый денник к корму и становится вдвое толще других, должен казаться гением. И то обстоятельство, что каждый вечер, именно этот самый баран попадает не в общую овчарню, а в особый денник к овсу, и что этот, именно этот самый баран, облитый жиром, убивается на мясо, должно представляться поразительным соединением гениальности с целым рядом необычайных случайностей».

Баранам следует отказаться от мысли, что все, что с ними делают, происходит лишь ради их бараньего блага. Допустить,

что происходящие с ними события имеют другие, непонятные для них цели. Тогда не понадобятся такие понятия, как «случай» и «гений».

Мы попытались проследить судьбы трех представителей рода Баллодов — Андрея, Давыда и Петра. Все они оставили заметный след в истории латышского народа. Вернее сказать, их биографии нерасторжимо связаны с этой историей. Связаны, начиная с исключительно важного и еще недостаточно исследованного периода в летописи нашего народа — с XIX века, с того времени, когда складывалась латышская нация.

В чем была миссия рода Баллодов? Что тут от гения, а что от случайности? Может быть, тот факт, что Давыд Баллод стал родоначальником грандиозного движения за переход в православие, позволяет считать его гением. Но как же тогда он, убегая от волка, угодил в лапы медведя? Как, вырываясь из-под ига немецких баронов и пасторов, он и его последователи очутились в объятиях царизма и в результате, раздираемые на части, познали беду и вражду? Было ли это простой случайностью?

Аналогичный вопрос можно задать и о Петре Баллоде — первом революционере латышского происхождения. Он первым из латышей упоминается в истории КПСС наряду с Тарасом Шевченко, Кастусем Калиновским, Антанасом Мацявичюсом, Нико Николадзе и другими революционерами периода падения крепостничества.

Многие важные и противоречивые страницы нашей истории, на которых расписались представители мятежного рода Баллодов, покрыты «белыми пятнами». Ждут исследователей вопросы о братских общинах, об Андрее из Крестиней — видном проповеднике в Мадлиенской округе и т. п. Братские общины «прививали» дух смирения, подобающий крепостным, но они же учили высказываться, собираться для обсуждения мирских дел, как надлежит в трудовом коллективе.

А переход крестьян во главе с Давыдом Баллодом в «русскую» веру? Весь этот тернистый путь народного духа — от восторга неофитов через отвержение и гнев к революции Пятого года! Работы здесь непочтительный край. Советские историки обратились к движению за переход в православие только в самое последнее время.

Больше повезло революционным событиям, связанным с Петром Баллодом. Если принять толстовскую концепцию истории и учесть, что жизнь П. Баллода вызвала отклик в трудах виднейших представителей русской культуры Н. С. Лескова, И. С. Тургенева (?), В. Г. Короленко и других, что о нем сегодня спорят историки в связи с жизнью и деятельностью Н. Г. Чернышевского, что о нем еще предстоит дискутировать тем, кто будет оценивать его место в истории отечественной геологии и золотопромышленности, — то не гений ли перед нами?

Для будущих историков я хотел бы сформулировать три вопроса, на которые сегодня нет окончательного ответа.

ВОПРОС ПЕРВЫЙ. ПЕТР БАЛЛОД — ПРОТОТИП БАЗАРОВА!

Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» — одно из самых заметных произведений русской литературы, а главный герой романа Базаров — один из самых ярких ее образов. И вот версия — прототипом Базарова послужил Петр Баллод.

Версия надежная отнюдь не на все сто процентов, да и писатель, как правило, не списывает своего героя с одного персонажа, а синтезирует его из наблюдений над многими людьми, при этом вкладывая в образ частичку самого себя.

Гипотезу о прототипе Базарова высказал рижский литератор В. Д. Свирский. В 1972 году он по-новому истолковал слова, сказанные Тургеневым сто лет назад и записанные мемуаристкой Н. Островской. Дело было в саду одного из карлсбадских кафе. Тургенев рассказывал, что в Базарова он соединил черты двух людей: внешность одного медика и характер человека, теперь сосланного в Сибирь. С этим человеком Тургенев как-то раз встретился в поезде. Из-за снежных заносов поезд целые сутки простоял на каком-то полустанке. Случайные попутчики проговорили всю ночь. Новый знакомый произвел на писателя большое впечатление своей простотой, решительностью, умением владеть собой. Островской и ее мужу Тургенев сообщил, что, по слухам, этот человек в Сибири пользуется большим влиянием на окружающих.

Кто бы это мог быть? В. Свирский анализирует биографии революционеров-шестидесятников и приходит к заключению, что этим человеком был Петр Баллод. Другое дело — как объяснить встречу студента Баллода с писателем Тургеневым в железнодорожном вагоне. Неопровержимого обоснования нет. Одни догадки. Из биографии писателя мы знаем, что роман «Отцы и дети» он начал летом 1860 года за границей. Встреча с Баллодом, надо полагать, произошла до того. Известно, что 14 января 1860 года Тургенев выезжал из Петербурга, вернулся в столицу 9 февраля. Остается выяснить, покидал ли в это время Петербург Баллод. Несомненно, что в это время он переводил с немецкого гиртлеву «Анатомию», первый том перевода вышел в свет в 1860 году. Баллод мог ездить в Москву на поиски издателя или для консультации с И. М. Сеченовым, который до того пытался перевести и издать труд венского профессора, но неудачно.

Дальше в мемуарах Островской описан в высшей степени интригующий обмен репликами. Она спросила Тургенева, не тот ли это господин (имея в виду ссыльного), которого Чернышевский хотел изобразить в «Что делать?», на что писатель ответил — да, Чернышевский думал воспользоваться им в Рахметове.

Так возникает основание для другой гипотезы: прототипом двух популярнейших литературных героев второй половины прошлого века — Базарова и Рахметова — мог быть один и тот же человек, а именно, Петр Баллод. Эта мысль приближает к нам людей и события того далекого времени,

поиски, борения, первые шаги на том пути, по которому впоследствии с пламенной верой в победу пойдут когорты революционеров. В романе Чернышевского — ключ к нравственному идеалу и программа действий мятежного поколения шестидесятников.

Чтобы понять значение этой гипотезы, процитируем данную А. И. Герценом характеристику русских юношей, навещавших его в Лондоне:

«Русские люди, приезжавшие после 1862 года, почти все были из «Что делать?», с прибавлением нескольких базаровских черт».

ВОПРОС ВТОРОЙ. БЫЛ ЛИ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ АВТОРОМ «ВЕЛИКОРУССА»!

Осенью 1861 года в Петербурге и Москве были разбросаны и разосланы по почте три номера газеты-прокламации «Великорусс».

Вплоть до сегодняшнего дня нет ответа на вопросы, кто был автором этой прокламации, где она издана? Историки продолжают поиск. И неудивительно — «Великорусс» был зеркалом политической платформы тех сил, что создали первую революционную ситуацию в России. Больше всего спорят о высказывании Петра Баллода, содержащемся в письме издателю Л. Ф. Пантелееву, товарищу Баллода по университету. Письмо написано 15 ноября 1903 г. — споры о том, «кто был кем» в 60-е годы, начались уже тогда. Полный текст этого письма приведен в книге П. Валескална. Цитирую отрывок:

«В «Великоруссе», я думаю, Чернышевский не принимал никакого участия (...). «Великорусс», если я не ошибаюсь, был делом гг. Л[угинины]х. В нем принимали участие некоторые сотрудники «Отч. записок». Меня очень удивило, когда я узнал от Л[угинина], что «Великорусс» думает выставить на своем знамени Суворова (кн. А. А. Суворов, петербургский генерал-губернатор. — М. Ш.). Я стал смеяться над таким выбором, и мне пресерьезно сказали: «Да больше нет выбора». О Черн[ышевском], конечно, и не заикались».

Многие историки уже в начале столетия, да и в наши дни, сомневались в словах Баллода и пытались утверждать, что автором «Великорусса» был Н. Г. Чернышевский.

Кто стоит за «Великоруссом», этим первыми заинтересовались агенты III отделения. Когда отставного поручика В. А. Обручева уличили в распространении «Великорусса», правительство пришло в смятение, переполох достиг самых «верхов». Что же это за могущественная организация такая, где курьерами подвизаются выпускники Николаевской академии генерального штаба Недаром после того, как жандармы и следственная комиссия не сумели выудить у Обручева признание, в Петропавловскую крепость был послан с той же целью принц Ольденбургский. Но и принц вернулся ни с чем: Обручев никого не назвал; он прервал молчание только 45 лет спустя, из-за историка М. К. Лемке. Да и тут авторов прокламации не выдал, лишь

категорически отрицал какое-либо участие Чернышевского. А ведь Обручев знал, пожалуй, и организаторов «Великорусса», и Чернышевского (поручик сотрудничал с «Современником» и по окончании академии прервал военную карьеру ради литературных занятий).

В 1906 году Лемке, используя открытые незадолго перед тем архивы 60-х годов, выпустил книгу «Политические процессы М. Михайлова, Д. Писарева и Н. Чернышевского», а генерал-майор В. Обручев именно в это время вышел в отставку (как видим, он успел и каторгу отбыть, и до генерала дослужиться). И только теперь бывший курьер «Великорусса» позволил себе высказаться, категорически отрицая участие Чернышевского в деле: «Даже следственная и сенатская прокуратуры не нашли возможным вести атаку с этой стороны (. . .) А теперь, когда все это умерло, не оставив следа ни в одной бумажонке, добрые люди считают удобным предаваться произвольным и ни на чем не основанным догадкам (. . .) Я не позволю себе судить о том, имел ли Николай Гаврилович вообще какие-либо нелегальные связи и отношения (. . .) Но я считаю своею обязанностью энергически возразить против намеков на что-либо подобное, насколько это касается меня».

Сходное мнение об отношении Чернышевского к подпольной работе выразил и А. А. Слепцов (1835—1906) — руководитель «Земли и воли». В 1906 году он писал о том, как Чернышевский отказался войти в подпольную организацию:

«За меня дело должны решать болезни Николая Александровича (Добролюбова) и неспособность Некрасова вести теперешний журнал одному. Работать же, как сейчас в «Современнике» и у вас, — извините, с вами, — я не вижу физической возможности. Обождемте, что окажется с нашим больным. Когда я вижу, что он в состоянии работать по-прежнему, то через месяц, другой я с вами, но все-таки и с «Современником»; он мне дорог как кафедра, которой не должно лишиться ни для меня, ни для вас, поскольку вы разделяете его общий тон».

Смерть Добролюбова так и не позволила Чернышевскому сложить с себя хотя бы частично груз ежемесячной работы по выпуску толстого литературно-политического журнала «Современник».

Чем объяснить настойчивость, даже своего рода упрямство некоторых современников Чернышевского, а также сегодняшних исследователей в освещении его отношения к «Великоруссу»?

Уже в начале нашего века, а тем более сегодня, историки сошлись на том, что буржуазно-демократическая программа «Великорусса» была очень прогрессивной и практически, в исторических условиях 60-х годов, наиболее реальной. Эти историки, а движут ими самые лучшие побуждения, хотели бы, чтобы образованнейший человек того времени, Чернышевский, размышляя о путях общественного развития России, осознал это и выбрал единственно верный, с их точки зрения, путь. Историкам крайне неприятна мысль, что Чернышевский мог принимать близко к

сердцу левацкие настроения в духе «Молодой России», которые, как известно, привели к «Катехизису революционера» Сергея Нечаева и убийству им (по подозрению в предательстве) студента Иванова. В 1976 году вышла книга под красноречивым названием «Чернышевский или Нечаев?» (авторы А. Водин и др.).

Новейшие изыскания по вопросу об участии Чернышевского в «Великоруссе» предприняли Н. Новикова и Б. Клос. По моему мнению, в их исследованиях есть ряд слабых мест.

Прежде всего нам пытаются доказать, что словам Баллода нельзя верить, что он не свидетель. Новикова, обсуждая список возможных «свидетелей», по поводу Баллода говорит следующее: «Менее точными представляются нам воспоминания Баллода, который не принимал личного участия в издании «Великорусса» и не знал из первых рук истории его издания».

Сказано чересчур категорично. Если взять «дело Баллода», особенно выпущенные им прокламации, то его непосредственный контакт с издателями «Великорусса» устанавливается документально. У Новиковой нет убедительных аргументов, чтобы «преодолеть» разницу двух политических программ — «Великорусса» и Чернышевского.

Но главное даже не в этом, а в тенденциозном, на мой взгляд, отборе потенциальных авторов «Великорусса». На каком основании исключены из этого списка офицеры генерального штаба братья Лугинины?

Возможный кандидат — и автор политических обзоров в журнале «Отечественные записки» Н. В. Альбертини (1826—1890). Его участие в студенческом революционном движении 60-х годов общеизвестно. Сам журнал менее радикален, чем «Современник», — значит, больше соответствует духу «Великорусса».

Баллод был хорошо знаком с Альбертини, поэтому его свидетельством о нем заслуживает доверия. Вот отрывок из следственного «дела Баллода»:

«С какого времени знакомы и в каких отношениях находились с литератором Альбертини? — Я виделся с Альбертини несколько раз у студента Кучулкова, потом Альбертини был два раза у меня. Я был у Альбертини только раз перед самым его отъездом в Лондон». (Это было в феврале 1862 г.)

В общем, и новейшие исследования не поколебали слов Баллода о возможных авторах «Великорусса». Сегодня стоит повторить мнение В. Чехихина-Ветринского, высказанное им в 1923 году: «Защитники прямого участия и руководства Чернышевского в конспиративной работе опираются преимущественно на чисто психологические соображения».

ТРЕТИЙ ВОПРОС. КАКОВА СВЯЗЬ МЕЖДУ СОБЫТИЯМИ ПЯТОГО ГОДА В ЛАТВИИ И МАССОВЫМ ПЕРЕХОДОМ В ПРАВОСЛАВИЕ В 1845 ГОДУ!

Что можно сказать нового о Пятом годе, исходя из материалов о новообращенцах?

По истории мы учили, что революция 1905 года в Латвии была составной частью буржуазно-демократической революции в России. Но вместе с тем имела свои особенности: митинги в церквях, крестьянские распорядительные комитеты, партизанское движение. К этому хочется отметить еще одну особенность. Вернее, не особенность — это было бы преувеличением, — но высказать одну гипотезу. А именно, если сравнить число жертв Пятого года по видземским приходам и число православных в них, то напрашивается предположение: в тех приходах, где было больше православных, было и больше жертв. Достаточно перечислить видземские приходы, где доля православных составляла 20—25%: это нынешние Кокнесе, Нитауре, Мадлиена, Сунтажи, Яунпилс, Салаца, Берзоне, Калснава, Лаздона, Ляудона, Цесвайне, Скуене, Эргли. Здесь и жертв было больше. Это очевидным образом вытекает из «Книги памяти павших в революционной борьбе» издательства «Прометейс» (1933—1936) или недавней «Книги памяти революционных борцов Латвии».

Есть, правда, исключения — например, Ропаж, Валмиера, где весьма активно проявляли себя боевики, а 1845 год заметных следов не оставил, но исключения только подтверждают правило. Конечно, для проверки гипотезы нужны статистические исследования.

Почему Баллод не вернулся в Латвию? Кровавые события Пятого года в окрестностях Мадлиены начались с убийства 74-летнего священника Яниса Лициса. Будь Петр Баллод в это время в Латвии, может быть, и его постигла бы та же трагическая судьба, которая выпала на долю его однокашника по Рижской православной духовной семинарии. Утонул бы он или нет в той буре гнева, которая в душе народа бушевала столетиями и девятый вал которой пришелся на роковой 1845-й? Почему бы не допустить, что Петр Баллод знал и ощущал этот гнев, чувствовал ответственность за необдуманный поступок своего отца? И это чувство, боязнь осуждения народа, его проклятия держали его вдалеке от родины.

. . . .

И последнее. Что является связующей нитью в летописи рода Баллодов? Думается, для любого человека самый главный вопрос — это вопрос о жизни и смерти, о выживании. И для народа тоже. Мятежный род Баллодов жил в XIX веке в эпоху пробуждения национального самосознания латышей, становления латышского языка, в пору, когда латыши впервые выдвинули из своей среды людей, страстным словом отстаивающих и выражающих дух, характер, склад души и ума своего народа. Призывы, звучавшие из их уст на латышском языке, вели соотечественников на бой.

Сегодняшний бой — это бой и за память народную. Райнис говорил: забыть предков — значит забыть себя. Будем же помнить своих отцов, чтобы помнить себя.

УЛЫБКА КЛОУНА

У поэта кроме голоса — ничего. У нас у всех голоса разные, у поэтов — особый тон. Есть скрипки, виолончели, литавры. Этот голос — дудочка, даже свирель. Правда, дудочка эпохи джаза, влюбленная в джаз. Тонкая, пронзительная и нежная, а иногда — надтреснутая, чего не встретишь у металлических духовых.

Дудка в руках у клоуна. Не пастуха и не музыканта. Клоун — дудочка Бога. Играя на ней, он вспоминает детство земли. Век подарил нам пляяду блистательных Клоунов: Шагал в живописи, М. Чехов в театре, в танце — Нижинский, в кино — Феллини. Сквозь разлад и смятение эпохи, благодаря ему и вопреки ему, они увидели в мире — цирк, а в этом — столько радости и простоты, столько невероятной сложности, боли и печали. Великое искусство клоунады, проклятое и светоносное, требует мужества, наготы и невинности.

Своими Клоунами от Бога осчастливилось и искусство Америки. Их звали Чарльз Спенсер Чаплин и Эдвард Эстлин Каммингс.

Породненные призванием и ярмом циркового шатра, они сделали мотивы арены и маски бытийно-сущностными мотивами своих творений. У них общее одиночество и незащищенность. Мрачноватый юмор, обращенный и на себя. Упоение провинциального трюкача из прохуdivшегося шапито огнями и ритмами большого города. Саркастический, чуть не исступленный отказ от его

безликого лица. И парадоксальная клоунская интонация — первооткрытие мира, слитого с горьким опытом, бесшабашного веселья и обреченности, неподдельных слез, проглатываемых в тот миг, когда из глаз брызжут слезы искусственные.

Но Каммингс имел дело со словом — у его игры были другие пределы.

И Каммингс начинал позднее, а значит, и корни его игры были другие.

«Модернизм» для кого-то звучит, как сенсационная вывеска, для кого-то, как заклинание. На самом деле это ни то, ни другое. Модернизм, как, впрочем, и романтизм, не нужно понимать только как художественные направления. Это «направления» духовные, внеисторические постольку, поскольку вечна в человеке страсть к очищению — души, бытия, культуры — через память об идеале и сдирание шелухи.

Наступает момент, когда прошлое начинает напоминать скисшие консервы. Тогда дело только за тем, кто первый крикнет «долой!». Вашу любовь, а следом и ваши стихи о любви. Или наоборот. Эксгумация чучела — девиз модернизма. Прошлое — к стенке — его главная цель. Но главный пафос в другом: вернуть всему его изначальный, естественный и забытый смысл. Искусству, в частности. В музыке — звуку, в театре — жесту, в литературе — слову.

ЭДВАРД ЭСТЛИН КАММИНГС (1894—1961)

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ В ПЕРЕВОДЕ МИХАИЛА БРАШИНСКОГО

Из сборника «Тюльпаны и дымоходы» (1923)

Баффало Билл —
покойничек

обычно
разъезжавший на какнадводнаягладьсеребристом
жеребчике
и дубасивший раздватричетырепять простаковнучтотвой Иисус

он был статный мужик

вот бы только узнать
как тебе твой голубоглазый мальчонка
Мистер Смерть

так быть не может вечно, и завет
мой: если губ возлюбленных другой
коснется, если сердце под рукой
другое дрогнет моему вослед,
и на лицо другое ляжет свет
твоих волос в тиши моей родной,
и съезжившийся слов высоких строй
в тупик души забьется безответ-

но, — если будет так, да, будет так,
любимая, лишь знак, не нужно слов,
и я пойду к нему, отбросив хмель,
Прими, скажу, свой дар, как я свой знак.
И обернусь, услышав птичий зов
в чужой дали потерянных земель

вся в зеленом была любовь моя пускаясь
вскачь на чюдном коне золотистом
в серебряный рассвет.

четыре жилистых пса стлались низом и улыбаясь
веселый олень бежал впереди.

Быстрее они пестротканых грез
редкий резвый олень
алый шалый олень.

Четыре алых косули у белой воды
безжалостный горн пел впереди.

С рожком на бедре была любовь моя пускаясь
вскачь эху вослед
в серебряный рассвет.

четыре жилистых пса стлались низом и улыбаясь
ровный луг бежал впереди.

Плавней они несношенных снов
звонкий вольный олень
летучий литой олень.

Четыре летучих оленяхи у золотой долины
голодный стон стрел пел впереди.

С луком в ремне была любовь моя пускаясь
вскачь склону вослед
в серебряный рассвет.

четыре жилистых пса стлались низом и улыбаясь
отвесный пик бежал впереди.

Бледней они усмиряющей смерти
быстрый буйный олень
спорый скорый олень.

Четыре спорых оленя у зеленого склона
счастливый охотник пел впереди.

Вся в зеленом была любовь моя пускаясь
вскачь на чюдном коне золотистом
в серебряный рассвет.

четыре жилистых пса стлались низом и улыбаясь
мое сердце упало замертво впереди.

Вера в простейшие художественные или еще даже не-художественные элементы приобретает языческий характер: они одухотворяются и обожествляются. Так древние могли поклоняться камням, из которых строили пирамиды.

Случай из ряда вон, но тем более показательный: в письмах некоего добровольца с фронтов Первой мировой армейской цензуры привиделся умысел. Солдат был обвинен в шпионаже, и запахи казарменных вшей и окопного чада сменила сырая тюремная вонь. Виною тому было... отсутствие знаков препинания; обвиняемый — правильно, Каммингс. У искусства и такие начала случаются.

Возьмись Гамлет за перо, он непременно стал бы модернистом. Не до «слов» (слова — не Слово), когда чувство так непредсказуемо и стремительно, что рвется из хомута привычных фраз, из логики правильной мысли. Реальность не знает запятых и не имеет точек. Объявив себя вне закона, новое искусство, а с ним и поэт, мучалось рбдами новой реальности — Новой Речи, «речи-до-слов». Этот путь драматичен. Иных честное следование ему ведет за грани реализации, к до-искусству, к пустоте, к немоте. Но есть и другой маршрут — через игру.

Поэт ли выбрал его, он ли выбрал поэта, но вот оно, перед нами — таинство, празднество, чудо.

Те, кто забыл, что такое бывает (а не забыли лишь те, кто не знал обратного), все эти одинаковые человечки в одинаковых шляпах, уныло жующие свои «не-дни» и «не-сны», стали мишенями в тире, в лучшем случае — пациентами в оздоровителе. Учтем, что это и мы с вами — как правило.

ИЗ СБОРНИКА «И» (1925)

представь

Жизнь — это старик на голове несущий цветы.

юноша-смерть сидит в кафе
улыбаясь, монетку зажав между
большим и указательным пальцем

(я говорю «купит ли он цветы» тебе
и еще «Смерть юна
жизнь носит велюровые штаны
жизнь ковыляет, жизнь с бородой» я

говорю тебе молчащей. — «Ты видишь
Жизнь? она тут и там,
то или это
или ничто или старик проспавший
сорок сороков, с цветами
на голове, вечно орущий
чего-то там попусту о les
roses les bluets

ну,

так купит?

Les belles bottes — слышишь
,pas cheres»)

и отвечала любимая медленно купит пожалуй.
Только, пожалуй, я вижу кого-то еще

это дама по имени После
сидящая рядышком с юной смертью, изящная,
как цветы.

Весна это как возможно рука
(что берется любовно
из Ниоткуда) образуя
окно в которое люди смотрят (пока
люди глазект
образуя и перемещая
любовно туда незнакомую
вещь знакомую вещь сюда) и
все меняя любовно

весна это как возможно
Рука в окне
(любовно вперед
и взад перемещая Новые
и Старые вещи пока
люди глазект любовно
перемещая возможно
дольку цветка сюда помещая
туда кусочек воздуха) и

ничего не ломая

ИЗ СБОРНИКА «РАВНО 5» (1926)

забыв про все,
что дышит если Рок
(длиннейшей белою рукой
сметя и тень)
сравниет нам умы,

— не преступив порог
я обернусь и
(наклонясь сквозь день)
подушка поцелую, где до пыли
две головы, родная, жили-были.

ИЗ СБОРНИКА «50 СТИХОТВОРЕНИЙ» (1940)

эти дети поющие в камне
молчание камня эти
малютки с ранами от цветов
камня открытых на

вечно эти молчащие ма
лютки они лепестки
их песнь в цветке из
всегда их цветы

из камня
молча поющие
песнь молчаливей
молчанья эти всегда

шние дети навечно
поющие в гуще поющих
цветений дети из
камня с очами

цветущими
знали б что
слышат деревья
ма лютки

навечно всегдашних детей поющих вечно
песнь из
молчащего камнем молчания
песни

Те, кто хронически не забыл, для кого игра — способ жизни и способ протеста, стали друзьями и двойниками. Циркачи и шарманщики, чудаки и невежи, не подозревающие о наличии земного притяжения, дети. Они-то знали, что луна похожа на воздушный шар, а слово ОКОЛО — круглое. Они вручили поэту волшебный калейдоскоп, где узоры меняются от одного поворота, и он пригодился как инструмент стихотворчества.

Взамен они получили целый мир, и это был их мир.

Еще — Любимая, ей — больше, чем все. Кажется, он всю жизнь ВЫЛЮБИЛ — одной — до доньшка, без остатка. Сколько у Каммингса любви! Это и вопрос: никто еще не придумал подходящей единицы измерения. Поэтому скажем: море любви, сад любви, небо любви. Это из любимых Каммингсом слов.

По-английски «я» — большая буква. Каммингс первым стал писать себя с маленькой — ведь вокруг были Жизнь, Весна, Ты. Смерть, Судьба, После тоже были рядом и, включенные в игру, даже, бывало, что побеждали. Но разве в цирке, который никогда не имитирует жизнь, но никогда не имитирует и смерть, — смерть не отвечает в зрачках канатоходца?

Не забудем, впрочем, что Природа не ставит точек (а значит, и нас, и здесь освобождает от этой суровой повинности?)...

Мы многое, увь, узнаем с опозданием. Возвращение вспять дарит радость неожиданных узнаваний. В прошлом иногда больше будущего, чем мы себе представляем. Улыбки клоунов, к счастью, не стареют.

МИХАИЛ БРАШИНСКИЙ

ИЗ СБОРНИКА «ХАИРЕ» (1950)

никогда-то
или когда
брел я впотьмах
повстречал Христа

исуса (сердце
мое как плюх
так и лежит
а он мимо) так

близко как я к тебе
ближе еще
весь из одиночества
и больше из ничего

у пальцев дерева (любимая) теперь
есть руки, и у рук есть ты и я
и все, и здесь любой из нас (поверь)
живей, чем может выдумать земля

и ты теперь и я теперь и мы —
загадка, свет не видывал ни тот
ни этот, чудо чудное — до тьмы,
пока теперь в потом не перейдет,

оно пребудет темнотою, в ней
и рук у пальцев нет, и у меня
тебя нет: и деревья (в вечном сне)
безлиственно тихи под снегом сна

— но ты не бойся (мой цветок, мой дол
цветущий мой) ведь и потом лишь до

ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ

СКОТНЫЙ ДВОР

Перевел с английского Илан Полоцк

(Окончание)

Животные молча сгрудились вокруг Кловер. С холма, на котором они лежали, открывался широкий вид на округу. Перед их глазами был почти весь Скотный Двор — обширные пастбища, тянущиеся почти до большой дороги, хлеба, роши, яруд, пашни, на которых уже густо пошла в рост молодая зеленая поросль, красные крыши фермы и курящийся над ними дымок из камина. Был ясный весенний вечер. И трава, и живые ограды были освещены лучами заходящего солнца. И никогда ранее ферма — с легким удивлением они осознали, что это их собственная ферма, каждый дюйм которой принадлежит им — не казалась им столь родной. Глазами, полными слез, Кловер смотрела пред собой. И если бы она могла выразить свои мысли, то она сказала бы, что не об этом они мечтали, когда в те далекие годы начали готовиться к свержению человеческого ига. Не эти сны, полные ужаса и крови, стояли пред их глазами в ту ночь, когда старый Майор впервые призвал их к восстанию. И если бы она могла отчетливо представить себе будущее, то это было бы сообщество животных, навсегда освободившихся от голода и побоев, общество равных, в котором каждый трудится по способностям и сильный защищает слабого, подобно тому, как она оберегала заблудившийся выводок утят в ту ночь, когда говорил Майор. А вместо этого — она не знала, почему так случилось — настало время, когда никто не может говорить то, что у него на уме, когда вокруг рыщут злобные псы и когда ты должен смотреть, как твоих товарищей рвут на куски, после того как они признались в ужасающих преступлениях. У нее не было никаких крамольных мыслей — ни о восстании, ни о сопротивлении. Она знала, что, несмотря на все происшедшее, им все же живется лучше, чем во времена Джона, и что прежде всего надо сделать невозможным возвращение прежних хозяев. И что бы ни было, она останется столь же преданной и трудолюбивой, так же будет признавать авторитет Наполеона. И все же это было не то, о чем мечтала она и все прочие, не то, ради чего они трудились. Не ради этого они возводили мельницу и груду встречали пули Джона. Именно об этом она думала, хотя у нее не хватало слов, чтобы высказать свои мысли.

Наконец, чувствуя, что ей надо как-то выразить эмоции, переполнявшие ее, она затянула «Скоты Англии». Остальные, расположившиеся вокруг, подхватили песню и спели ее три раза — очень слаженно, но тихо и печально, так, как никогда не пели ее раньше.

Когда они исполнили ее в третий раз, в сопровождении двух псов появился Визгун и дал понять, что хочет сообщить нечто важное. Он объявил, что в соответствии со специальным распоряжением Товарища Наполеона, «Скоты Англии» отменяются. Исполнять гимн отныне запрещается.

Животные были ошеломлены.

— Почему? — изумилась Мюриель.

— В этом нет больше необходимости, товарищи, — твердо сказал Визгун. — «Скоты Англии» — это была песня времен Восстания. Но Восстание успешно завершено. Последним действием ее было состоявшееся сегодня наказание предателей. Враги внутренние и внешние окончательно повержены. В «Скотах Англии» мы выражали свое стремление к лучшему обществу, которое грядет. Но мы уже построили его. И, следовательно, ныне эта песня не отвечает своему назначению.

Несмотря на охвативший их страх, некоторые животные пробовали, было, протестовать, но овцы затянули свое обычное «Четыре ноги — хорошо, две ноги — плохо!», которое продолжалось несколько минут и положило конец всем спорам.

Отныне «Скоты Англии» исчезли. Вместо этого поэт Минимум сочинил другую песню, которая начиналась словами:

Скотный Двор, Скотный Двор,
Его счастье и веселье воспевает дружный хор!

Именно ее теперь пели каждое воскресенье при поднятии флага. Но ни слова ее, ни мелодия ничем не напоминали животным их былую песню «Скоты Англии».

Глава VIII

Через несколько дней, когда улегся страх, вызванный жестокой расправой, кое-кто из животных вспомнил — или решил, что помнит — Шестую Заповедь, которая гласила: «Животное не может убить другое животное». И хотя никто не рискнул упомянуть о ней в присутствии собак, все же чувствовалось, что эти убийства как-то не согласовывались с духом Заповеди. Кловер попросила Бенджамин прочесть ей Шестую Заповедь, но когда Бенджамин, как обычно, отказался, сказав, что не хочет вмешиваться в эти дела, Кловер обратилась к Мюриель. Та прочитала ей Заповедь. Она гласила: «Животное не может убить другое животное без причины». Так или иначе, но два последних слова как-то выпали из памяти всех, кто вспоминал Заповедь. Но теперь они убедились, что Заповедь не была нарушена: стало ясно, что теперь есть все основания уничтожать предателей, подручных Сноуболла.

В этом году пришлось работать еще тяжелее, чем в прошлом. Поднять мельницу, стены которой стали вдвое толще и пустить ее в ход в намеченное время, не оставляя в то же время постоянную работу на ферме, было исключительно тяжело. Были времена, когда животным начинало казаться, что они и работают дольше, и питаются хуже, чем во времена Джона. Но в одно воскресное утро перед ними появился Визгун, держа зажатый в копытцах длинный бумажный свиток и зачитал им, что производство продукции всех видов выросло за это время на 200, 300 и даже 500 процентов по сравнению с предыдущим временем. У животных не было никаких оснований не верить ему, тем более, что они уже очень смутно помнили, каковы были условия жизни до Восстания. К тому же, надо добавить, случались дни, когда они чувствовали, что скоро работы станет меньше, а еды прибавится.

Все приказы исходили теперь от Визгуна или от другой свиньи. Наполеон показывался перед обществом не чаще, чем раз в две недели. Когда он выходил, его сопровождал не только привычный эскорт из собак, но и шествовавший впереди черный петух, который играл роль герольда, громко трубя «ку-ка-ре-ку!» перед тем, как Наполеон собирался что-то сказать. Даже на ферме, как говорилось, Наполеон занимал теперь отдельные апартаменты. Пищу он принимал в одиночестве, лишь в присутствии сидевших рядом двух собак, и ел он с посуды фирмы «Кроун Дерби», которая обычно хранилась в стеклянном буфете в гостиной. Было торжественно оповещено, что теперь, кроме дней традиционных празднеств, револьвер будет салютовать и в день рождения Наполеона.

Теперь о нем никогда не говорилось как просто о «Наполеоне». При обращении к нему надо было употреблять официальный титул «наш Вождь, Товарищ Наполеон», и свиньи настаивали, чтобы к этому титулу добавлялись и другие — «Отец Всех Животных, Ужас Человечества, Покровитель Овец, Защитник Утят» и тому подобное. В своих речах Визгун, не утирая катящихся по щекам слез, говорил о мудрости Наполеона, о глубокой любви, которую он испытывает ко всем животным, особенно к несчастным, которые все еще томятся в рабстве и в унижении на других фермах. Стало привычным благодарить Наполеона за каждую удачу, за каждое достижение. Можно было услышать, как одна курица говорила другой: «Под руководством нашего Вождя Товарища Наполеона я отложила шесть яиц за пять дней»; или как две коровы, стоя у водооя, восклицали: «Спасибо Товарищу Наполеону за то, что под его руководством вода стала такой вкусной!» Обуревавшие всех чувства нашли выражение в песне, сочиненной Минимумом. Она называлась «Товарищ Наполеон» и звучала следующим образом:

Отец всех обездоленных!
Источник счастья!
Повелитель колод с помоями! О, как пылает
Моя душа, когда я смотрю в твои
Спокойные и властные глаза,
Подобные солнцу в небе,
Товарищ Наполеон!

Ты овладел искусством дарить
Все, что нужно твоим детям —
Дважды в день полное брюхо, чистую солому, чтобы валяться;
Каждое животное, большое или малое,
Спокойно спит в своем стойле,
Пока ты бдишь над всеми,
Товарищ Наполеон!
И будь я хоть сосунок,
Или будь я уже большим,
Пустой бутылкой будь я или пробкой —
Все мы должны учиться
Верности и преданности тебе
И приветствовать мир первым криком:
«Товарищ Наполеон!»

Наполеон одобрил песню и приказал написать ее большими буквами на другой стене амбара, напротив Семи Заповедей. Она была увенчана портретом Наполеона в профиль, который белой краской исполнил Визгун.

Тем временем с помощью Умпера Наполеон вступил в сложные торговые отношения с Фредериком и Пилкингтоном. Штабель бревен все еще оставался непроданным. Фредерик рвался приобрести его, но не мог предложить подходящую сумму. Как раз в это время снова разнесся слух, что Фредерик со своими подручными готовит новое нападение на Скотный Двор и собирается разрушить мельницу, строительство которой вызывало у него жгучую ревность. Доподлинно было известно, что Сноуболл скрывается в Пинчфилде. В середине лета животные были встревожены известием, что три курицы пришли к Наполеону и признались, что Сноуболл вовлек их в заговор с целью убить Наполеона. Они были немедленно казнены. Пришлось принять новые меры безопасности для спасения жизни Наполеона. По ночам у каждой ножки его кровати находились четверо собак, а поросенок по имени Пинки должен пробовать каждое блюдо, перед тем как к нему приступал сам Наполеон, что должно было предотвратить опасность отравления.

Примерно в это время стало известно, что Наполеон решил продать штабель мистеру Пилкингтону; кроме того, он заключил соглашение о регулярном товарообмене между Скотным Двором и Фоксвудом. Отношения между Наполеоном и Пилкингтоном, несмотря на то что они поддерживались исключительно через Умпера, стали почти дружескими. Животные не доверяли Пилкингтону, поскольку он был родом из людей, но все же предпочитали его Фредерику, которого боялись и ненавидели. По мере того как лето шло к концу и мельница близилась к своему завершению, начали усиливаться слухи о надвигающемся предательском нападении. Говорилось, что Фредерик нанял не менее двадцати человек, вооруженных огнестрельным оружием, что он подкупил полицию и магистрат, и что, если ему удастся захватить Скотный Двор и объявить себя его владельцем, это будет принято без возражений. Кроме того, из Пинчфилда доходили ужасные истории о жестокости, с которой Фредерик обращается со своими животными. Он засек до смерти старую лошадь, он морит коров голодом, он убил собаку, швырнув ее в печь, а по вечерам он развлекается петушиными боями, предварительно привязывая к ногам несчастных птиц острые бритвы. Кровь кипела от ярости, когда животные слушали об издевательствах над их товарищами; порой даже раздавались призывы собраться и напасть на Пинчфилд, чтобы изгнать людей и дать свободу животным. Но Визгун советовал им избегать необдуманных действий и всецело положиться на мудрую стратегию Товарища Наполеона.

Тем не менее, антифредериковские чувства продолжали расти. В одно воскресное утро Наполеон появился в амбаре и сообщил, что он никогда не вступал в переговоры о продаже бревен Фредерику; он объявил, что считает ниже своего достоинства иметь дело с таким подонком. Голубям, которых по-прежнему посылали во все стороны для распространения новостей о Восстании, было запрещено вести эту работу в Фоксвуде; кроме того, им было приказано сменить прежний лозунг «Смерть Человечеству» на «Смерть Фредерику». В конце лета была разоблачена еще одна подлость Сноуболла. Поля оказались забитыми сорняками. Выяснилось, что это работа Сноуболла — во время одного из своих ночных визитов он смешал посевной фонд с сорняками. Гусак, который был уличен в заговоре, признал перед Визгуном свою вину и сразу покончил жизнь

самоубийством, съев ягоды паслена. Теперь животные окончательно убедились, что Сноуболл — хотя до настоящего времени многие продолжали верить в это — никогда не получал ордена «Животное — Герой Первого класса». Это было просто легендой, которую после Битвы у Коровника пустил в ход сам Сноуболл. Он не только не был награжден, но, наоборот, подвергнут всеобщему осуждению за проявленную в сражении трусость. Порой кое-кто из животных еще сомневался в этом, но Визгун быстро убедил их, что им просто изменяет память.

Осенью, которая запомнилась тяжелейшим изнурительным трудом — потому что одновременно шла и уборка урожая — мельница, наконец, была завершена. Надо было еще приобрести оборудование, и Умпер вел об этом переговоры, но само здание было закончено. Несмотря на все трудности, на отсутствие опыта, на примитивное оборудование, на предательство Сноуболла, несмотря на ошибки, — мельница была закончена точно в намеченный день! Изнемогая от гордости, животные гуляли вокруг этого творения, которое в их глазах выглядело еще более прекрасным, чем когда они только приступали к строительству. Тем более, что стены стали вдвое толще, чем раньше. Теперь их не могло обрушить ничто, кроме взрывчатки! И когда они думали, сколько было вложено труда в эту работу, какие они преодолели трудности и как изменится их жизнь, когда завертятся крылья и по проводам потечет электричество — когда они думали об этом, их покидала усталость, и они с восторженными криками начинали носиться вокруг мельницы. В сопровождении собак и петуха Наполеон сам лично явился осмотреть работу; он поблагодарил животных за их достижения, и объявил, что строение будет называться Мельница имени Наполеона.

Через два дня животные были приглашены на специальное собрание в амбар. Они онемели от изумления, когда Наполеон объявил, что продал штабель Фредерику. Завтра придет грузовик от Фредерика и увезет бревна. Это значило, что все то время, пока Наполеон поддерживал вроде бы дружеские отношения с Пилкингтоном, он действовал по тайному соглашению с Фредериком.

Все отношения с Фоксвудом были прерваны; Пилкингтону было отправлено оскорбительное послание. Голубям было приказано избегать Пинчфилд и сменить свой лозунг «Смерть Фредерику» на «Смерть Пилкингтону». Затем Наполеон заверил животных, что слухи о готовящемся нападении на Скотный Двор не имели под собой никаких реальных оснований и что истории о жестоком обращении Фредерика с животными значительно преувеличены. Все эти слухи скорее всего распухли Сноуболлом и его агентами. Кроме того, выяснилось, что Сноуболл не только никогда не скрывался в Пинчфилде, но и вообще не был там никогда в жизни: он жил — и, как говорили, в исключительной роскоши — в Фоксвуде и на самом деле в течение долгих лет получал подачки от Пилкингтона.

Хитрость Наполеона привела свиней в восторг. Демонстрируя дружбу с Пилкингтоном, он заставил Фредерика поднять цену до двенадцати фунтов. Но глубокая мудрость Наполеона, сказал Визгун, выражается в том, что на самом деле он не верит никому, даже Фредерику. Фредерик хотел заплатить за бревна какой-то бумажкой, называвшейся чеком, за которую потом можно было получить деньги. Но Наполеона на кривой не обведешь. Он настоял на платеже подлинными пятифунтовыми бумажками, перед тем, как Фредерик решит отвозить бревна, те должны быть переданы ему лично. Фредерик уже расплатился и теперь денег хватает, чтобы купить оборудование для мельницы.

Бревна тем временем исчезли с молниеносной быстротой. Когда с ними было покончено, в амбаре снова было созвано всеобщее собрание, чтобы осмотреть полученные от Фредерика банкноты. Украшенный всеми своими наградами Наполеон, блаженно улыбаясь, расположился на соломенной подстилке на возвышении; рядом с ним в коробочке из-под китайского чая, взятой на кухне, стопкой были сложены деньги. Животные гуськом медленно проходили мимо и каждый глазел на богатства. Боксер засунул в коробку нос; тонкие белые бумажные деньги вздрогнули и зашевелились от его дыхания.

Но через три дня на ферме поднялась страшная суматоха. На мотоцикле примчался бледный Умпер, бросил его во дворе и кинулся прямо в дом. В следующую минуту из апартаментов Наполеона раздался ужасный рев. Новость о случившемся облетела ферму подобно пожару. Банкноты были фальшивыми! Фредерик не заплатил за бревна ни шиллинга!

Наполеон немедленно созвал всех животных и громовым голосом объявил смертный приговор Фредерику. После поимки, сказал он, Фредерик будет сварен живо. Затем он предупредил, что после такого предательства можно ожидать самого худшего. Фредерик и его наемники каждую минуту могут напасть на ферму — они давно уже готовились к этому. Часовые должны неусыпно бдить на своих постах. В Фоксвуд от-

правились четверо голубей с миролюбивым посланием, в котором содержалась надежда на восстановление добрых отношений с Пилкингтоном.

Нападение состоялось на следующее утро. Животные завтракали, когда примчался дозорный с известием, что Фредерик во главе своего войства уже прошел ворота. Животные смело бросились им навстречу, но на этот раз им не удалось одержать столь легкую победу, как в Битве у Коровника. Их встретило пятнадцать человек, добрая половина из которых были вооружены револьверами, и они открыли огонь с пятидесяти метров. Животные не могли вынести ужасающего грохота и жалающих пуль; несмотря на все усилия Наполеона и Боксера, старавшихся подбодрить их, они бросились в бегство. Часть уже была ранена. Забравшись в дом, они судорожно припали к щелям и дыркам от выпавших сучков в стенах. Все пастбище, включая и мельницу, было в руках врагов. В эти минуты растерялся, кажется, даже Наполеон. Он молча ходил из угла в угол, подрагивая вытянутым хвостиком. Все взоры с тоской были обращены в сторону Фоксвуда. Если Пилкингтон решит прийти к ним на помощь, день поражения может еще обернуться победой. И в эту минуту вернулись четверо отосланных вчера голубей; один из них нес записку от Пилкингтона. В ней были нацарапаны слова: «Так вам и надо!»

Тем временем Фредерик и его люди остановились около мельницы. Животные наблюдали за ними, не в силах скрыть своих опасений. Двое мужчин, вооружившись ломом и кувалдой, стали ломать стену мельницы.

— Бесполезно! — кричал Наполеон. — Мы возвели такие толстые стены, что они устоят. Они не справятся с ними и за неделю. Не падайте духом, товарищи!

Но Бенджамин продолжал неотрывно следить за тем, что делалось около мельницы. Двое с ломом и кувалдой пробили дыру у основания здания. Медленно и разочарованно Бенджамин кивнул своей длинной мордой.

— Так я и думал, — сказал он. — Разве вы не видите, что они делают? А сейчас они будут засыпать порох в эту дыру.

Пораженные ужасом, животные застыли в ожидании. Было бы слишком рискованно выбраться из-под укрытия. Затем раздался ужасающий грохот. Голуби взвились в воздух, а все остальные, кроме Наполеона, ничком распластались на полу. Когда они поднялись, на том месте, где была мельница, колыхалась лишь огромное облако черного дыма. Ветерок медленно унес его. Мельница исчезла!

Это зрелище заставило животных почувствовать прилив отчаяния. Страх и отчаяние, которое они испытывали минутой раньше, испарились в порыве ярости, когда они увидели эти подлые низкие действия. Всеобщий крик мести потряс воздух и, не ожидая приказов, в едином порыве они бросились прямо на врага. Они не склонялись перед горячими пулями, которые, как гвозди, вонзались в их тела. Это была яростная и жестокая битва. Люди не перестали вести огонь, а когда животные вплотную сблизились с ними, пустили в ход колья и тяжелые подкованные сапоги. Смертью храбрых пали корова, три гуся и две овцы; почти все остальные были ранены. Даже Наполеон, который руководил операцией с тыла, потерял кончик хвоста, оторванный пулей. Но и нападавшие понесли серьезный урон. Троице из них Боксер копытами проломил голову; другой получил удар рогами в живот; кое-кто подерживал штаны, разорванные в клочья зубами Джесси и Блюбелл. А когда девять собак из личной охраны Наполеона, которых он под прикрытием изгороди направил в обход, со свирепым лаем появились в тылу нападавших, их охватила паника. Они увидели, что им грозит опасность окружения. Фредерик заорал им, что надо, пока еще не поздно, уносить ноги, и в следующий момент трусливый враг бросился в позорное бегство, спасая свои драгоценные жизни. Животные гнали их до края поля, успев нанести несколько последних ударов тем, кто перелезал через изгородь.

Они победили, но какой ценой! Все были измучены и залиты кровью. Медленно они побрели обратно на ферму. Вид мертвых товарищей, чьи тела распростерлись на траве, вызвал у многих слезы. А затем в печальном молчании они застыли там, где еще недавно высились мельница. Да, с ней все было кончено; не осталось и следа их трудов! Была разрушена даже часть фундамента. И для восстановления мельницы они не могли, как раньше, использовать обрушившиеся камни. Теперь камней тоже не было. Силой взрыва они были раздроблены и раскиданы на сотни метров. Мельницы словно и не было.

Когда они пришли на ферму, перед ними вынырнул неизвестно почему отсутствовавший во время битвы Визгун, сияющий и радостный. И животные услышали, как со стороны главного строения раздавались торжественные звуки салюта из револьвера.

— Почему стреляет револьвер? — спросил Боксер.

— В честь нашей победы! — кричал Визгун.

— Какой победы? — сказал Боксер. Бабки его были в крови, он потерял подкову и расцепил копыто; не менее дюжины пуль засели у него в мышцах задней ноги.

— Как что за победа, товарищи! Разве мы не изгнали врагов нашей идеи — священной идеи Скотного Двора?

— Но они разрушили мельницу! А мы строили ее два года!

— Ну и что? Мы построим другую мельницу. Мы выстроим десяток мельниц, если надо будет. Вы не цените, товарищи, величие того, что нам удалось совершить. Враг занял почти всю нашу землю. А теперь — благодаря руководству товарища Наполеона — мы отвоевали каждый ее дюйм!

— Мы отвоевали то, что у нас было раньше, — сказал Боксер.

— Зато мы победили, — сказал Визгун.

Они втянулись во двор. Раны от пуль, застрявших у Боксера под кожей, сильно болели. Он предвидел, что его ждет тяжелая работа по восстановлению мельницы, начиная с фундамента, и он уже прикидывал, как возьмется за нее. Но в первый раз он задумался над тем, что ему уже одиннадцать лет и что даже его могучие мускулы уже не те, что были когда-то.

Но когда животные увидели выходящий по ветру зеленый флаг и услышали победные залпы из револьвера — семь раз он стрелял — и услышали речь, которую произнес Наполеон, благодаря их за мужество, они наконец поверили, что одержали великую победу. Животным, павшим в сражении, были устроены торжественные похороны. Боксер и Кlover везли телегу, которая служила катафалком, и Наполеон лично возглавлял процессию. На празднования были отпущены два полных дня. Были песни, речи, стрельба из револьвера, и каждому была вручена премия — яблоко; кроме того, птицы получили по две унции зерна, а собаки — по три бисквита. Было объявлено, что это сражение впредь будет называться Битвой у Мельницы и что Наполеон награждается новым отличием, Орденом Зеленого Знамени, который он сам присудил себе. В этих всеобщих празднествах был окончательно забыт печальный эпизод с банкнотами.

А через несколько дней случилась история с виски, что хранилось в подвале. Его обнаружили еще в те дни, когда животные овладели фермой. В ту ночь, о которой идет речь, с фермы доносились звуки громкого пения, в котором, к удивлению слушателей, звучали нотки «Скотов Англии». А примерно в полдевятого Наполеон со старой шляпой на голове, в которой мистер Джонс играл в крикет, мелькнув на мгновение, стремительно выскочил из задней двери, галопом промчался по двору и снова исчез в дверях. Утром над фермой царил глубокое молчание. Свиньи не показывались из дома. Около девяти часов появился Визгун. Он шел медленно и уныло, с опухшими глазами, с безвольно болтающимся хвостиком. Было видно, что он серьезно болен. Визгун созвал всех и сказал, что должен сообщить им печальную новость. Товарищ Наполеон умирает!

Горестный плач разнесся по ферме. Перед дверями была разложена солома. Все ходили на цыпочках. Со слезами на глазах животные вопрошали друг друга, как они будут жить, если Вождь их покинет. Ходили слухи, что, несмотря на все предосторожности, Сноуболлу удалось подсыпать яд в пищу Наполеону. В одиннадцать Визгун вышел еще с одним сообщением. Уходя от нас, последним своим распоряжением на этой земле Товарищ Наполеон повелел объявить: впредь употребление алкоголя будет караться смертью.

Но, тем не менее, к вечеру Наполеону стало несколько лучше, а на следующее утро у Визгуна появилась возможность сообщить, что Товарищ Наполеон находится на пути к выздоровлению. Вечером того же дня он уже приступил к работе, а на следующий день стало известно, что он направил Уимпера в Уиллингдон с целью купить какую-нибудь литературу по пивоварению и винокурению. Через неделю он отдал распоряжение распашать небольшой лужок в саду, который давно уже был отведен для пастбы тем, кто уходит на отдых. Поступило сообщение, что пастбище истощено и нуждается в рекультивации; но скоро стало известно, что Наполеон решил засеять его ячменем.

Примерно в это время произошел странный инцидент, недоступный пониманию подавляющего большинства обитателей фермы. Как-то ночью, примерно около двенадцати, во дворе раздался грохот, и все животные высыпали наружу. Стояла лунная ночь. У подножья той стены большого амбара, на которой были написаны Семь Заповедей, лежала сломанная лестница. Рядом с ней копошился оглушенный Визгун, а неподалеку от него лежали фонарь, кисть и перевернутое ведро с белой краской. Собаки сразу же окружили его и, как только Визгун оказался в состоянии держаться на ногах, проводили его на ферму. Никто — кроме, конечно, старого Бенджамина, который

лишь кивал с многозначительным видом и делал вид, что ему все ясно,— не понял, что все это значило, но не проронил ни слова.

Но через несколько дней Мюриель, перечитывая для себя Семь Заповедей, заметила, что одну заповедь животные усвоили неправильно. Они думали, что Пятая Заповедь звучала как «Животные не пьют алкоголя», но здесь были еще два слова, которые они упустили из виду: «Животные не пьют алкоголя сверх необходимости».

Глава IX

Разбитое копыто Боксера заживало медленно. Все взялись за восстановление мельницы сразу же на другой день после празднования победы. Боксер отказался терять даже день и решил, что это дело чести — не дать никому заметить, как он страдает от боли. Вечером он по секрету признался Кловеру, что копыто серьезно беспокоит его. Кловер приложила к копыту припарку из разжеванных ею трав, и они с Бенджамином предупредили Боксера, что он не должен перенапрягаться. «Твои легкие не вечны», — сказала она ему. Но Боксер отказался ее слушать. У него осталась, сказал он, только одна цель — увидеть мельницу завершённой до того как он уйдет на отдых.

В самом начале, когда только складывались законы Скотного Двора, пенсионный возраст был определен для лошадей и свиней в двенадцать лет, для коров в четырнадцать, для собак в девять, для овец в семь, для кур и гусей в пять лет. Размер пенсии должен был быть определен попозже. И хотя пока никто из животных не претендовал на нее, разговоры шли все чаще и чаще. Поскольку небольшой загончик рядом с садом теперь был распахан под ячмень, ходили слухи, что будет отгорожен кусок большого пастбища с целью отвести его под выгон для престарелых тружеников. Говорилось, что для лошадей пенсия составит пять фунтов зерна в день, а зимой — пятнадцать фунтов сена плюс еще и морковка или, возможно, в праздничные дни — яблоки. Боксеру должно было исполниться двенадцать лет в будущем году, в конце лета.

Между тем жить было трудно. Зима оказалась такой же жестокой, как и в прошлом году, а пищи было все меньше. Нормы выдачи снова были сокращены для всех, кроме собак и свиней. Уравниловка, объяснил Визгун, противоречит принципам Анимализма. Во всяком случае, ему не доставило трудов объяснить всем, что на самом деле пищи хватает, что бы ни казалось животным. Со временем, конечно, должна была возникнуть необходимость в корректировке порций (Визгун всегда говорил о «корректировке», а не о «сокращении»), но по сравнению с временем Джонса, снабжаются они в избытке. Зачитывая сводки своим высоким захлебывающимся голосом, Визгун подробно доказывал, что теперь у них больше зерна, больше соломы, больше свеклы, чем во времена Джонса, что они меньше работают, что улучшилось качество питьевой воды, что они живут дольше, что резко упала детская смертность и что теперь в стойлах у них больше соломы и они не так страдают от оводов. Животные верили каждому слову. Откровенно говоря, и Джонс и все, что было с ним связано, уже изгладились из их памяти. Они знали, что ведут трудную жизнь, что часто страдают от голода и холода и что все время, свободное от сна, они проводят на работе. Но, без сомнения, раньше было еще хуже. Они безоговорочно верили в это. Кроме того, в старые времена они были рабами, а сейчас они свободны, и в этом суть дела, на что не забывал указывать Визгун.

Прибавилось много ртов, которые надо было кормить. Осенью почти одновременно опоросились четыре свиноматки, принеся тридцать одного поросенка. Молодое поколение сплошь было пегое, и поскольку на ферме был только один бор, Наполеон, имелись все основания предполагать его отцовство. Было объявлено, что позже, когда появятся кирпичи и строевой лес, в саду начнется строительство школы. А пока поросята получали задания на кухне непосредственно от Наполеона. Они занимались в саду, избегая игр с остальной молодежью. Со временем стало правилом, что, когда на дорожке встречались свиньи и кто-то еще, другое животное должно было уступать свинье дорогу; и кроме того, все свиньи, независимо от возраста, получили привилегию по воскресеньям украшать хвостики зелеными ленточками.

Год выдался очень удачный, но денег на ферме по-прежнему не хватало. Были закуплены кирпичи, гравий и известь для строительства школы, но надо было снова экономить на оборудовании для мельницы. Затем надо было приобретать керосин и свечи для освещения дома, сахар для личного стола Наполеона (он не давал его остальным свиньям под предлогом, что они потолстеют) и все остальное, как, например, инструменты, гвозди, бечевки, уголь, провода, кровельное железо и собачьи

бисквиты. Были проданы на сторону несколько стогов сена и часть урожая картофеля, а контракт на поставку яиц возрос до шестисот в неделю, так что куры напрасно надеялись, что вокруг них будут копошиться цыплята. После декабрьского сокращения рациона последовало новое сокращение в феврале, а для экономии керосина было ликвидировано освещение. Но, по-тоже, свиньи не страдали от этих лишений и, несмотря ни на что, прибавляли в весе. Как-то в февральский полдень из маленького домика за кухней, где стоял забытый Джонсом переносный аппарат, по двору разнесся незнакомый теплый и сытный запах. Кто-то сказал, что это запах жареного ячменя. Животные жадно вдыхали его, предполагая, что, может быть, ячмень жарят для их похлебки. Но горячей похлебки никто так и не увидел, а в следующее воскресенье было объявлено, что впрямь ячмень предназначается только и исключительно для свиней. Ячменем уже было засеяно поле за садом. А затем разнеслась новость, что теперь каждая свинья будет ежедневно получать пинту пива, а лично Наполеон — полгаллона, каковая порция, как обычно, будет подаваться ему в супнице из сервиза «Кроун Дербн».

Но эти отдельные трудности в значительной мере компенсировались сознанием того, что теперь они ни перед кем не склоняют шеи, как это было раньше. Они имели право петь, говорить, выходить на демонстрации. Наполеон распорядился, чтобы раз в неделю устраивались так называемые Стихийные Демонстрации с целью восславить достижения и победы Скотного Двора. В назначенное время животные должны были оставлять работу и, собравшись во дворе, маршировать повзводно — сначала свиньи, затем лошади, а дальше коровы, овцы и домашняя птица. Собаки сопровождали демонстрацию с флагов, а впереди маршировал черный петух Наполеона. Боксер и Кловер, как обычно, несли зеленое знамя, украшенное рогом и копытом и увенчанное призывом «Да здравствует Товарищ Наполеон!» Затем читались поэмы, сочиненные в честь Наполеона, Визгун произносил речь, как обычно, упоминая о бывших лишениях. Гремел салют из револьвера. С наибольшей охотой спешили на Стихийные Демонстрации овцы, и если кто-нибудь жаловался (порой кое-кто из животных позволял себе такие вольности, если поблизости не было свиней или собак), что они только теряют время и мерзнут на холоде, овцы сразу же заглашались его громогласным блеянием «Четыре ноги — хорошо, две ноги — плохо!» Но большинству животных нравились эти празднества. Они считали, что такие шествия напоминают им, что, как бы там ни было, над ними нет господ и что они трудятся для собственного блага. И поэтому, когда звучали песни, шла демонстрация, Визгун зачитывал список достижений, грохотал салют, развевались флаги и кричал петух, они забывали о пустых желудках.

В апреле Скотный Двор объявил себя Республикой, и посему возникла необходимость в избрании Президента. На этот пост претендовал только один кандидат, Наполеон, который был избран единогласно. В эти же дни стало известно, что обнаружены новые документы, раскрывающие детали связей Сноуболла с Джонсом. Выяснилось, что Сноуболл не только, как ранее думали, готовил поражение в Битве у Коровника, маскируя это, якобы, стратегией, но открыто сражался на стороне Джонса. На самом деле это именно он вел в бой силы людей, участвуя в сражении с кличем «Да здравствует Человечество!» А рану на спине Сноуболла, которую кое-кто еще смутно помнил, нанесли зубы Наполеона.

В середине лета на ферме после нескольких лет отсутствия неожиданно появился Мозус, ручной ворон. Он совершенно не изменился, по-прежнему отлынивал от работы и рассказывал те же сказки о Леденцовой Горе. Взгромоздившись на шест, он хлопал черными крыльями и часами рассказывал истории каждому, кто был согласен его слушать. «Там, наверху, товарищи,— торжественно говорил он, указывая в небо своим огромным клювом,— там наверху, по ту сторону темных туч, что нависли над вами,— там высится Леденцовая Гора, тот счастливый край, где все мы, бедные животные, будем вечно отдыхать от трудов наших!» Он утверждал даже, что, поднявшись в небо, побывал там лично и видел бесконечные поля клевера и заросли кустов, на которых росли пряники и колотый сахар. Многие верили ему. Жизнь наша, считали они, проходит в изнурительном труде и в постоянном голоде; так, наверно, где-то существует более справедливый и лучший мир. Единственное, что с трудом поддавалось объяснению, было отношение свиней к Мозусу. Все они безоговорочно утверждали, что рассказы о Леденцовой Горе — ложь и обман, но тем не менее, разрешали Мозусу пребывать на ферме и даже с правом выпивать в день четверть пинты пива.

После того, как копыто зажило, Боксер еще с большим пылом взялся за работу. Правда, в тот год все работали как рабы, из последних сил. Кроме обычной работы на ферме и

восстановления мельницы, в марте началось строительство школы. Порой изнурительная работа и скудный рацион становились непереносимыми, но Боксер никогда не падал духом. Ни его слова, ни действия не позволяли считать, что силы его на исходе. Несколько изменился лишь его внешний вид: шерсть не сыяла так, как раньше, а огромные мускулы стали чуть дряблыми. Кое-кто говорил, что, как только появится первая травка, Боксер воспрянет, но весна пришла, а Боксер оставался в прежнем состоянии. Порой, когда на склоне, ведущем к каменоломне, он напрягал все мускулы, пытаясь противостоять весу огромного камня, казалось, что его держит на ногах только огромная сила воли. И в эти минуты губы его складывались, чтобы произнести слова: «Я буду работать еще больше», но у него уже не было сил произнести их. Не раз Бенджамин и Кlover предупреждали его, что он должен подумать о своем здоровье, но Боксер не обращал внимания на эти слова. Настало и его двенадцатилетие. Но он решил не уходить на отдых, пока не соберет достаточно материала для восстановления мельницы.

Но как-то летним вечером по ферме разнесся слух, что с Боксером что-то случилось. Вроде бы он свалился, когда в одиночестве тащил камень к мельнице. К сожалению, слух оказался справедливым. Через несколько минут прилетели два голубя с новостью: «Боксер упал! Он лежит на боку и не может подняться!»

Чуть ли не половина животных бросилась к холмику, на котором стояла мельница. Здесь, вытянув шею и не в силах даже поднять головы, между оглобелей лежал Боксер. Глаза его остекленели, бока лоснились от пота. Из рта текла тонкая струйка крови. Кlover стала рядом с ним на колени.

— Боксер! — закричала она. — Что с тобой?

— Легкие, — сказал Боксер слабым голосом. — Но это пустяки. Думаю, вы сможете закончить мельницу и без меня. Я натаскал здоровую кучу камней. Мне не хватило одного месяца. Говоря по правде, я уже ждал отдыха. И, возможно, поскольку Бенджамин тоже в годах, ему позволят уйти на отдых вместе со мной.

— Нам нужна помощь, — сказала Кlover. — Бегите кто-нибудь к Визгуну и скажите ему, что случилось.

Все опретью бросились на ферму сообщить новость Визгуну. Остались только Кlover и Бенджамин, который молча лег рядом с Боксером, чтобы отгонять оводов своим длинным хвостом. Через пятнадцать минут появился полный сочувствия Визгун и принес свои соболезнования. Он сказал, что Товарищ Наполеон с глубоким сожалением принял известие о несчастье, постигшем одного из лучших тружеников фермы и уже отдал распоряжение поместить Боксера в лучшую лечебницу Уиллингдона. Это несколько смутило животных. Кроме Молли и Сноуболла никто из них не покидал фермы, и они не хотели думать, что их большой товарищ окажется в руках людей. Но Визгун легко объяснил им, что ветеринар в Уиллингдоне поставит Боксера на ноги быстрее и успешнее, чем это удастся сделать на ферме. Примерно через полчаса, когда Боксер чуть оправился, он с трудом встал на ноги и дополз до своего стойла, в котором Кlover и Бенджамин уже приготовили для него свежую подстилку.

Последующие два дня Боксер оставался на месте. Свиньи прислали большую бутылку с лекарством розового цвета, которую они нашли в ванной комнате, и Кlover давала его Боксеру дважды в день после еды. Вечерами, лежа в своем стойле, она беседовала с Боксером, пока Бенджамин отгонял оводов. Боксер старался убедить ее, что не надо принимать близко к сердцу все случившееся. Он как следует отдохнет, и впереди его ждут еще три года, которые он проведет в покое и довольстве на краю большого пастбища. В первый раз у него с избытком будет времени для учебы и развития своих способностей. Он решил, сказал Боксер, провеста остаток жизни, изучая остальные двадцать две буквы алфавита.

Но все же Бенджамин и Кlover проводили с Боксером время лишь после работы, и когда в середине дня за ним прибыл фургон, все были на полях, под присмотром свиней пропалывавая свеклу. Животные были очень удивлены, увидев, как со стороны фермы галопом мчится Бенджамин, крича не своим голосом. В первый раз они увидели Бенджамина взволнованным, не говоря уж о том, что его никто не видел в такой спешке. «Скорее, скорее! — кричал он. — Все сюда! Они забирают Боксера!» Не ожидая распоряжений от свиней, все бросили работу и помчались к ферме. Действительно, во дворе стоял крытый фургон, запряженный двумя лошадьми. На стенке фургона было что-то написано, а на облучке сидел жуликоватый человек в низко нахлобученной шляпе. Стоило Боксера было пусто.

Животные обступили фургон. «До свидания, Боксер! — хором кричали они. — До свиданья!»

— Дураки! Дураки! — заорал Бенджамин, расталкивая их и в отчаянии роя землю своими копытцами. — Идиоты! Разве вы не видите, что написано на фургоне?

Животные прислушались, а затем наступило молчание. Мюриель начала складывать буквы в слова. Но Бенджамин оттолкнул ее и среди мертвого молчания прочел: «Альфред Симмонс. Скотобойня и мыловарня. Торговля шкурами, костями и мясом. Корм для собак». Не понимаете, что это значит? Они продали Боксера на живодерню!

Крик ужаса вырвался у всех животных. В эту минуту мужчина на облучке хлестнул лошадей, и фургон медленно двинулся по двору. Рыдая, животные сопровождали его. Кlover приложила все силы и наступила на него. «Боксер! — закричала она. — Боксер! Боксер! Боксер!» И в эту минуту, словно слыша что-то в окружающем шуме, из заднего окошечка фургона показались физиономия Боксера с белой полосой поперек морды.

— Боксер! — закричала Кlover страшным голосом. — Боксер! Прыгай! Скорее! Они везут тебя на смерть!

Все животные подняли крик: «Прыгай, Боксер, прыгай!» Но фургон уже набрал скорость и оторвался от них. Осталось неясным, понял ли Боксер, что ему хотела сказать Кlover. Но он исчез из заднего окошечка, и внутри фургона раздался грохот копыт. Боксер пытался вырваться на свободу. Были мгновения, когда казалось — еще несколько ударов, и под копытами Боксера фургон разлетится в щепки. Но увы! — силы уже покинули его, и звук копыт с каждым мгновением становился все слабее, пока окончательно не смолк. В отчаянии животные попытались обратиться к двум лошадям, тащившим фургон. «Товарищи! Товарищи! — кричали они. — Вы же везете на смерть своего брата!» Но тупые создания, слишком равнодушные, чтобы понять происходящее, лишь прижали уши и ускорили шаг. Боксер больше не появлялся в окошечке. Слишком поздно спохватились животные, что можно было помчаться вперед и запереть ворота. Фургон уже миновал их и быстро исчез за поворотом дороги. Никто больше не видел Боксера.

Через три дня было объявлено, что он умер в госпитале Уиллингдона, несмотря на все усилия, которые прилагались для спасения его жизни. Визгун явился рассказать всем об этом. Он был, по его словам, рядом с Боксером в его последние часы.

— Это было самое волнующее зрелище, которое я когда-либо видел, — сказал Визгун, вздымая хвостик и вытирая слезы. — Я был у его ложа до последней минуты. И в конце, когда у него уже не было сил говорить, он прошептал мне на ухо, что единственное, о чем он печалится, уходя от нас, — это неоконченная мельница. «Вперед, товарищи! — прошептал он. — Вперед во имя Восстания. Да здравствует Скотный Двор! Да здравствует Товарищ Наполеон! Наполеон всегда прав». Таковы были его последние слова, товарищи.

После этого сообщения настроение Визгуна резко изменилось. Он замолчал и подозрительно огляделся, прежде чем снова начал речь.

До него дошли, сказал он, те глупые и злобные слухи, которые распространялись во время отъезда Боксера. Кое-кто обратил внимание, что на фургоне, отвозившем Боксера, было написано «Скотобойня» и с неоправданной поспешностью сделал вывод, что Боксера отправляют к живодеру. Просто невероятно, сказал Визгун, что среди нас могут быть такие легковверные паникеры. Неужели, — вскричал он, крутя хвостиком и суетясь из стороны в сторону, — неужели они разбираются в делах лучше их обожаемого Вождя, Товарища Наполеона? А на самом деле объяснение значительно проще. В свое время фургон действительно принадлежал скотобойне, а потом его купила ветеринарная больница, которая еще не успела покрасить старую надпись. Вот откуда и возникло недоразумение.

Слушая это, животные испытали огромное облегчение. А когда Визгун приступил к подробному описанию того, как на своем ложе отходил Боксер, об огромной заботе, которой он был окружен, о дорогих лекарствах, за которые Наполеон, не задумываясь, выкладывал деньги, у них исчезли последние сомнения, и печаль из-за того, что они расстались со своим товарищем, уступила место мыслям, что он умер счастливым.

Наполеон сам лично явился на встречу в следующее воскресенье и произнес краткую речь в честь Боксера. К сожалению, сказал он, невозможно захоронить на ферме останки нашего товарища, но он уже приказал сплести большой лавровый венок и возложить его на могилу Боксера. Через несколько дней свиньи предполагают устроить банкет в честь Боксера. Наполеон закончил свое выступление напоминанием о двух фразах Боксера: «Я буду работать еще больше» и «Товарищ Наполеон всегда прав». Слова эти, сказал он, каждый должен воспринять до глубины души, как свои собственные.

В день, назначенный для банкета, из Уиллингдона приехал фургон лавочника и доставил на ферму большой деревянный

ящик. Ночью с фермы раздавались звуки нестройного пения, которые перешли в нечто, напоминающее жестокую драку и около одиннадцати завершились звоном разбитого стекла. До полудня следующего дня никто не показывался во дворе фермы, и ходили упорные слухи, что свиньи откуда-то раздобыли деньги, на которые было куплено виски.

Глава X

Шли годы. Приходили и уходили весны и осени. Уходили те, кому пришел срок их короткой жизни на земле. Настало время, когда не осталось почти никого, кто помнил бы былые дни до Восстания, кроме Кловер, Бенджамина, ворона Мозуса и некоторых свиней.

Скончалась Мюриель; не было уже Блюбелл, Джесси и Пинчера. Умер и Джонс — он скончался где-то далеко, в лечебнице для алкоголиков. Был забыт Сноуболл. Был забыт и Боксер — всеми, кроме некоторых, кто еще знал его. Кловер превратилась в старую кобылу с негнущимися ногами и гноящимися глазами. Она достигла пенсионного возраста два года назад, но никто из животных так пока и не вышел на пенсию. Разговоры, что угол пастбища будет отведен для тех, кто имеет право на заслуженный отдых, давно уже кончились. Наполеон стал матерым боровом весом в полтора центнера. Визгун так растолстел, что с трудом мог открывать глаза. Не изменился только старый Бенджамин; у него только поседела морда, и после смерти Боксера он еще больше помрачнел и замкнулся.

На ферме теперь жило много животных, хотя прирост оказался не так велик, как ожидалось в свое время. Для многих появившихся на свет Восстание было далекой легендой, рассказы о котором передавались из уст в уста, а те, кто был куплен, никогда не слышали о том, что было до их появления на ферме. Кроме Кловер, на ферме теперь жили еще три лошади. Это были честные создания, добросовестные работники и хорошие товарищи, но отличались они крайней глупостью. Никто из них не освоил алфавит дальше буквы В. Они соглашались со всем, что им рассказывали о Восстании и принципах Анимализма, особенно, если это была Кловер, к которой они относились с сыновним почтением; но было весьма сомнительно, понимали ли они что-нибудь.

Ферма процветала, на ней царил строгий порядок, она даже расширилась за счет двух участков, прикупленных у мистера Пилкингтона. Наконец мельница была успешно завершена, и теперь ферме принадлежали веялка и элеватор, не говоря уж о нескольких новых зданиях. Уимпер купил себе двуколку. Правда, электричества на ферме так и не появилось. На мельнице мололи муку, что давало ферме неплохие доходы. Животным пришлось немало потрудиться не только на строительстве мельницы; было сказано, что придется еще ставить динамомашину. Но о том изобилии, о котором когда-то мечтал Сноуболл — электрический свет в стойлах, горячая и холодная вода, трехдневная рабочая неделя, — больше не говорилось. Наполеон отказался от этих идей, как противоречащих духу Анимализма. Истина, сказал он, заключается в непрестанном труде и умеренной жизни.

Порой начинало казаться, что, хотя ферма богатеет, изобилие это не имеет никакого отношения к животным — кроме, конечно, свиней и собак. Возможно, такое впечатление частично складывалось и из-за того, что на ферме было много свиней и много собак. Конечно, они не отлынивали от работы. Они были загружены, как не уставал объяснять Визгун, бесконечными обязанностями по контролю и организации работ на ферме. Многие из того, что они делали, было просто недоступно пониманию животных. Например, Визгун объяснял, что свиньи каждодневно корпят над такими таинственными вещами, как «сводки», «отчеты», «протоколы» и «памятные записки». Они представляли собой большие, густо исписанные листы бумаги, и, по мере того как они заполнялись, листы сжигались в печке. От этой работы зависит процветание фермы, объяснял Визгун. Но все же ни свиньи, ни собаки не создавали своим трудом никакой пищи; а их обширный коллектив всегда отличался отменным аппетитом.

Что же касается образа жизни остальных, насколько им было известно, они всегда жили именно так. Они испытывали постоянный голод, они спали на соломе, пили из колод и трудились на полях; зимой они страдали от холода, а летом от оводов. Порой старики, роясь в глубинах памяти, пытались разобраться, лучше или хуже им жилось в ранние дни Восстания, сразу же после изгнания Джонса. Вспомнить они не могли. Им не с чем было сравнить свою теперешнюю жизнь: единственное, что у них было, это сообщения Визгуна, который, вооружившись цифрами, убедительно доказывал им, что дела идут лучше и лучше. Животные чувствовали, что проблема неразрешима; во всяком случае, у них почти не оставалось

времени, чтобы говорить на подобные темы. Только старый Бенджамин мог вспомнить каждый штрих своей долгой жизни, и он знал, что дела всегда шли таким образом, ни лучше, ни хуже — голод, лишения, разочарования; таков, говорил он, неопровержимый закон жизни.

И все же животных не покидала надежда. Более того, они никогда ни на минуту не теряли чувства гордости за ту честь, что была им предоставлена — быть членами Скотного Двора. Они все еще продолжали оставаться единственной фермой в стране — во всей Англии! — которая принадлежала и которой руководили сами животные. Никто из них, даже самые молодые, даже новоприбывшие, которые были куплены на фермах в десяти или двадцати милях от Скотного Двора, не теряли ощущения чуда, к которому они были причастны. И когда они слышали грохот револьверного салюта, видели, как трещит на мачте зеленый флаг, их сердца трепетали от чувства непреходящей гордости, и они неизменно вспоминали далекие легендарные дни, когда был изгнан Джонс, запечатлены Семь Заповедей, великие сражения, в которых человечество потерпело решительное поражение. Никто не был забыт, и ничто не было забыто. Вера в предсказанную Майором Республику Животных, раскинувшуюся на зеленых полях Англии, на которые не ступил нога человека, продолжала жить. Когда-нибудь это время наступит: возможно, не скоро, возможно, никто из ныне живущих не увидит этих дней, но они придут. Порой тут и там тихонько звучала мелодия «Скотов Англии», во всяком случае, все обитатели фермы знали ее, хотя никто не осмелился бы исполнить ее вслух. Да, жизнь была трудна, и не все их надежды сбывались; но они понимали, что отличаются от всех прочих. Если они голодали, то не потому, что кормили тиранов-людей; если их ждал тяжелый труд, то, в конце концов, они работали для себя. Никто из них не ходил на двух ногах. Никто не знал, как звучит «Хозяин»! Все были равны.

Как-то в начале лета Визгун приказал овцам следовать за ним и увел их в отдаленный конец фермы, заросший молодым березняком. Под наблюдением Визгуна они провели здесь весь день, оцепывая молодые побеги. К вечеру они, было, двинулись на ферму, но им было сказано оставаться на месте, поскольку теплая погода не препятствовала этому. В конце концов, они провели в березняке целую неделю, в течение которой их не видел никто из животных. Визгун проводил с ними большую часть дня. Он обучал их новой песне, сказал он, для которой уединение было необходимо.

В один прекрасный вечер, как раз после возвращения овец, когда животные кончили работать и неторопливо шли на ферму, они услышали доносящееся со двора испуганное ржание. Животные остановились в удивлении. Это был голос Кловер. Она снова заржала, и тогда все галопом поскакали на ферму. Ворвавшись во двор, они увидели то, что предстало глазам Кловер.

Это была свинья, шествовавшая на задних ногах.

Да, это был Визгун. Несколько скованно, так как он не привык нести свой живот в таком положении, но довольно ловко балансируя, он пересек двор. А через минуту из дверей фермы вышла вереница свиней — все на задних ногах. У некоторых это получалось лучше, у других хуже, кое-кто был так неуверен, что, казалось, ему требуется подпорка, но все они успешно совершили круг по двору. И наконец раздался собачий лай и торжественное кукареканье черного петуха, что оповестило о появлении самого Наполеона. Надменно глядя по сторонам, он величественно прошел через двор в окружении собак.

Между копытами у него был зажат хлыст.

Наступила мертвая тишина. Смущенные и напуганные животные, сбившись в кучу, наблюдали, как по двору медленно движется вереница свиней. Казалось, что мир перевернулся вверх ногами. Но, наконец, настал момент, когда исчез порывистый шок и, когда, несмотря ни на что — ни на страх перед собаками, ни на привычку, воспитанную долгими годами, никогда не жаловаться, никогда не критиковать, что бы ни случилось — раздалось слово протеста. Но как раз в этот момент, словно по сигналу, овцы хором начали громко бляеть:

— Четыре ноги хорошо, две ноги лучше! Четыре ноги хорошо, две ноги лучше! Четыре ноги хорошо, две ноги лучше!

И так без остановки продолжалось минут пять. И когда овцы наконец смолкли, время для протестов уже было упущено, поскольку свиньи уже двигались обратно на ферму.

Бенджамин почувствовал, как кто-то ткнул носом ему в плечо. Он оглянулся. Это была Кловер. Ее старые глаза помутнели еще больше. Не говоря ни слова, она осторожно потянула его за гриву и повела к той стене большого амбара, на которой были написаны Семь Заповедей. Через пару минут они уже стояли у стены с белыми буквами на ней.

— Зрение слабеет, — сказала она наконец. — Но даже когда я была молода, то все равно не могла прочесть, что здесь написано. Но мне кажется, что стена несколько изменилась. Не изменились ли Семь Заповедей, Бенджамин?

Единственный раз Бенджамин согласился нарушить свои правила и прочел ей то, что было написано на стене. Все было по-старому — кроме одной Заповеди. Она гласила:

**ВСЕ ЖИВОТНЫЕ РАВНЫ.
НО НЕКОТОРЫЕ ЖИВОТНЫЕ
РАВНЫ БОЛЕЕ, ЧЕМ ДРУГИЕ.**

После этого уже не показалось странным, когда на следующий день свиньи, надзиравшие за работами на ферме, обзавелись хлыстами. Не показалось странным и то, что свиньи купили для себя радиоприемники, провели телефон и подписались на «Джон Буль», «Тит-Бит» и «Дейли Миррор». Не показалось странным, что теперь можно было увидеть Наполеона прогуливающимся в саду фермы с трубкой во рту — и даже то, что свиньи стали использовать по прямому назначению гардероб мистера Джонса. Наполеон облачился в черный пиджак, охотничьи бриджи и кожаные наколенники, а его любимая свиноматка одела шелковое платье, которое миссис Джонс носила по воскресеньям.

Через неделю, примерно около полудня на ферме появилось несколько дрожек. Это явилась делегация с соседних ферм, приглашенная для знакомства с фермой. Они осматривали все с начала до конца и выразили свое глубокое восхищение увиденным, особенно мельницей. Животные выпальвали сорняки на свекольном поле. Они работали с предельным старанием, почти не отрывая глаз от земли и не зная, кого надо бояться больше — то ли свиней, то ли людей-визитеров.

Вечером с фермы доносились звуки пения и громкий смех. Внезапно, слушая эту мешанину голосов, животные испытали прилив острого любопытства. Что может произойти, когда животные и люди в первый раз встретились на равных? В едином порыве все стали тихонько скапливаться в саду фермы. Миновав калитку, они было остановились в испуге, но Кlover повела их за собой. На цыпочках они подошли к дому, и те, у кого хватало роста, заглянули в окна столовой. Здесь за круглым столом сидело полдюжины фермеров и такое же количество самых именитых свиней. Наполеон занимал почетное место во главе стола. Свиньи непринужденно развалились в креслах. Компания развлекалась игрой в карты, время от времени отвлекаясь от этого занятия для очередного тоста. По кругу ходил большой кувшин, из которого кружки регулярно наполнялись пивом. Никто не обратил внимания на удивленные физиономии, прижавшиеся к стеклу.

С кружкой в руке поднялся мистер Пилкингтон из Фоксвуда. Я прошу, сказал он, почтенную компанию присоединиться к моему тосту. Но предварительно он должен сказать несколько слов, которые рвутся наружу.

С чувством большого удовлетворения надо отметить, — сказал мистер Пилкингтон, — и, он уверен, к нему присоединятся все остальные — что долгий период недоразумений и недоверия ушел в прошлое. Наступает время — и так считает не только он, но его чувства разделяют все присутствующие — когда уважаемые владельцы Скотного Двора будут относиться к своим соседям не только без враждебности, но и с определенным доверием. Все неприятные инциденты забыты, порочные идеи отвергнуты. В свое время бытовало мнение, что существование фермы, которой владеют и управляют свиньи, представляет собой ненормальное явление, оказывающее плохое влияние на соседей. Многие фермеры были безоговорочно уверены, что на ферме царит дух вседозволенности и распушенности. Они были обеспокоены тем влиянием, какое данная ферма может оказать на их собственный скот и даже на их работников. Но ныне не существует никаких сомнений и тревог. Сегодня он лично и его друзья, посетив ферму, досконально осмотрели ее собственными глазами — и что же они обнаружили? Для всех фермеров могут служить вдохновляющим примером не только современные методы хозяйствования, но и установившиеся здесь дисциплина и порядок. Он уверен, что не будет ошибкой утверждать, что здесь рабочий скот трудится больше, а потребляет пищи меньше, чем на какой-либо ферме в округе. И он, и его друзья сегодня видели на ферме много нововведений, которые они постараются незамедлительно внедрить в своих хозяйствах.

Хотелось бы закончить свое выступление, сказал он, еще раз подчеркнув те дружеские связи, которые ныне должны существовать между Скотным Двором и его соседями. Между свиньями и людьми ныне нет и не может быть коренных противоречий. У них одни и те же заботы и трудности, одни и те же проблемы, в частности, касающиеся работы. В этом месте

мистер Пилкингтон хотел бросить собравшимся тщательно подготовленную кондовку, но он слишком перенапрягся от волнения и оказался не в состоянии сделать это. Справившись с замешательством, отчего его многочисленные подбородки побарговели, он наконец произнес: «Если у вас есть рабочий скот, — сказал он, — то у нас есть рабочий класс!»

Этот каламбур вызвал за столом восторженный рев; а мистер Пилкингтон еще раз поблагодарил свиней за то, что с их помощью они смогут решить проблемы малого рациона, длинного рабочего дня и жесткой системы управления, которые они сегодня наблюдали на ферме.

А теперь, сказал он, он просит общество подняться, предварительно убедившись, что кружки наполнены. «Джентльмены, — завершая выступление, сказал он, — я предлагаю тост: за процветание Скотного Двора!»

Все дружно и весело встали на ноги. В приливе благодарности Наполеон даже покинул свое место и обошел вокруг стола, чтобы чокнуться с мистером Пилкингтоном своей кружкой, прежде чем осушить ее. Когда веселье несколько стихло, Наполеон, оставшийся стоять, заявил, что он тоже хочет сказать несколько слов.

Как и все выступления Наполеона, речь его была краткой и деловой. Он тоже, сказал Наполеон, счастлив, что период недоразумений подошел к концу. В течение долгого времени ходили слухи — распускавшиеся, как у него есть основания считать, нашими злостными врагами — что и он сам, и его коллеги притерпеваются подозрительных и даже революционных воззрений. Что они, якобы, ставят себе целью вызвать волнения среди животных на соседних фермах. Но ничего нет более далекого от правды! Их единственное желание — и сейчас и в прошлом — жить в мире и поддерживать нормальные деловые отношения со своими соседями. Ферма, которой он имеет честь руководить, представляет собой кооперативное предприятие. Находящийся в его владении документ, определяющий право собственности, закрепляет это право за свиньями сообща.

Он не считает, сказал Наполеон, что какие-то старые подозрения еще могут иметь место, но, тем не менее, на ферме будут немедленно проведены определенные изменения, которые должны укрепить намечающийся между нами процесс сближения. Так, животные на ферме имеют дурацкую привычку обращаться друг к другу «Товарищ». С этим будет покончено. Кроме того, существует очень странный обычай, истоки которого остаются неизвестными, по утрам в воскресенье маршировать мимо черепа старого хряка, прибитого гвоздями к палке. С этим тоже придется кончать, а череп, как полагается, предать погребению. Посетители также могли видеть развевающийся на мачте зеленый флаг. И они должны были обратить внимание, что, если раньше на нем красовались белые рог и копыто, то сейчас их уже нет. Отныне будет только чистое зеленое полотнище.

У него есть лишь одно замечание, сказал Наполеон, по поводу прекрасной, проникнутой духом добрососедства речи мистера Пилкингтона. Говоря о Скотном Дворе, он, конечно, не знал, — поскольку Наполеон только сейчас сообщает об этом — что название «Скотный Двор» отныне не существует. Отныне будет известна «Ферма «Усадьба»» — что, как он уверен, является ее истинным и правильным именем.

— Джентльмены, — завершил свое выступление Наполеон. — Я хочу вам предложить тот же самый тост, но несколько в иной форме. Наполните свои стаканы до краев. Джентльмены, вот мой тост — за процветание «Фермы «Усадьба»!»

Этот тост был встречен таким же, как и раньше, взрывом веселья. Кружки были осушены до последней капли. Но тем, кто снаружи наблюдал эту сцену, начало казаться, что происходят странные вещи. Что изменилось в физиономиях свиней? Старые подслеповатые глаза Кlover перебегали с одного лица на другое. Одно было украшено пятью подбородками, другое — четырьмя, у кое-кого было по три подбородка. Но почему лица эти расплывались перед ее глазами, меняя свое выражение? После того, как стихли аплодисменты и компания вернулась к картам, продолжая прерванную игру, животные тихо удалились.

Но не пройдя и двадцати метров, они остановились. С фермы до них донесся рев голосов. Кинувшись обратно, они снова приникли к окнам. Да, в гостиной разгорелась жестокая ссора. Раздавались крики, грохотали удары по столу, летели злобные взгляды, сыпались оскорбления. Источником волнения явилось то, что и Наполеон, и мистер Пилкингтон одновременно выбросили на стол по тузу пик.

Двенадцать голосов кричали одновременно, но все они были похожи. Теперь было ясно, что случилось со свиньями. Оставшиеся снаружи перевели взгляды от свиней к людям, от людей к свиньям, снова и снова всматривались они в лица тех и других, но уже было невозможно определить, кто есть кто.



РИСУНОК МАРИСА АРГАЛИСА
«РОДНИК», 1988, 1—80

I, IV ОБЛОЖКИ — ОФОРМИТЕЛИ
САРМИТЕ МАЛИНЯ И СЕРГЕЙ ДАВИДОВ

50 коп.

Индекс 77110

РОДНИК

ПРОЗА,

ПОЭЗИЯ,

ПУБЛИЦИСТИКА,

КРИТИКА

